

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1971

В. З. Панфилов (Москва). Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке.	3
С. А. Миронов (Москва). Ф. Энгельс и изучение истории нидерландского языка.	19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. И. Стеблун-Каменский (Ленинград). Называние и познание в теории грамматики.	31
В. Г. Адмони (Ленинград). Опыт классификации грамматических теорий в современном языкознании.	37
В. Б. Касевич (Ленинград). Некоторые логические аспекты понятия фонемы.	49
Э. М. Медникова (Москва). К вопросу о лексико-морфологических категориях.	57
Е. А. Земская (Москва). Русская разговорная речь.	69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. С. Ковтун (Ленинград). О неясных семантических изменениях.	81
В. Е. Ушаков (Йошкар-Ола). Древнерусские акцентуированные памятники середины XIV в.	91

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Л. М. Васильев (Уфа). Теория семантических полей.	105
А. Н. Баскаков (Москва). Синтаксические проблемы в грамматических исследованиях турецкого языка.	113
К. И. Логачев (Ленинград). О лингвистических работах М. А. Триандафиллидиса.	118

Рецензии

А. В. Федоров (Ленинград). «Вопросы социальной лингвистики».	123
С. Г. Бережан (Кишинев). «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)».	126
В. Д. Бондалетов (Пенза). С. И. Котков. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII вв.	131
С. М. Толстая (Москва). В. С. Перебийнис. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови.	134
В. И. Лыткин (Москва). «Symposion über Syntax der uralischen Sprachen»	139
С. И. Гиндин (Москва). И. П. Севбо. Структура связного текста и автоматизация реферирования.	141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. М. Мирзоев, И. Л. Николаев (Душанбе). Развитие языкознания в Таджикистане в 1965—1970 гг.	146
Хроникальные заметки.	151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая,
 Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
 В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. А. Серебренников,
 В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубачев,
 Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

В. З. ПАНФИЛОВ

КАТЕГОРИИ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА В ЯЗЫКЕ

Категории мышления, будучи наиболее общими понятиями, отражающими основные закономерности объективной действительности, представляют собой, по определению В. И. Ленина, «ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее (природу — В. И.) и овладевать ею»¹.

Категории мышления современного человека есть продукт длительно-го исторического развития. Их содержание изменяется по мере углубления познания человеком объективной действительности. «Если все развивается, — писал В. И. Ленин, — то относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления? Если нет, значит мышление не связано с бытием. Если да, значит есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение»². Ступени, этапы в развитии категорий мышления представляют собой ступени, этапы в познании человеком объективной действительности.

Категория количества является одной из наиболее абстрактных категорий мышления современного человека, и ее обусловленность объективной действительностью носит наиболее опосредованный характер. Именно поэтому в самых различных направлениях идеалистической философии она использовалась как пример и доказательство того, что категории мышления являются якобы продуктом чистого разума. Выявляя гносеологический источник идеалистической точки зрения на категории мышления и, в частности, на категорию количества, Ф. Энгельс писал: «...как и во всех других областях мышления, законы, абстрагированные из реального мира, на известной ступени развития отрываются от реального мира, противопоставляются ему как нечто самостоятельное, как явившиеся извне законы, с которыми мир должен сообразоваться»³.

Критикуя точку зрения Дюринга, объявившего, что основные формы бытия и понятия чистой математики имеют внеопытный, априорный характер, Ф. Энгельс указывал: «Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, стало быть — весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затуманивать его происхождение из внешнего мира»⁴.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 85.

² Там же, стр. 229.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 20, стр. 38.

⁴ Там же, стр. 37.

Рассматривая вопрос о происхождении таких понятий, как число и фигура, Ф. Энгельс писал: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, т. е. производить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже и способностью отвлекаться при рассмотрении этих предметов от всех прочих их свойств кроме числа, а эта способность есть результат долгого, опирающегося на опыт, исторического развития»⁵. Лингвистические данные по истории образования и развития числительных и категории грамматического числа в самых различных языках, этнографические данные по счету так называемых первобытных народов, наконец, данные по детской психологии подтверждают эти положения Ф. Энгельса и позволяют наметить те основные этапы, через которые прошла в своем развитии категория количества.

Существует точка зрения, что становление категории количества начинается с непосредственного чувственного восприятия количества того или иного конкретного множества, так что различие в количественной характеристике тех или иных конкретных множеств фиксируется в чувственно-наглядных образах этих множеств. Такого рода точка зрения развивалась, в частности, Леви-Брюлем, который находил пережитки этого состояния у так называемых первобытных народов. «Уже у некоторых животных, — пишет Леви-Брюль, — в отношении очень простых случаев отмечена способность подобного рода... Если мы вспомним, что по словам большинства наблюдателей, память первобытных людей „феноменальна“ (выражение Спенсера и Гиллена), „граничит с чудом“ (Шарльвуа), то тем больше оснований думать, что они легко могут обходиться без имен числительных. Благодаря привычке, каждая совокупность предметов, которая их интересует, сохраняется в их памяти с той же точностью, которая позволяет им безошибочно распознавать след того или иного животного, того или иного лица. Стоит появиться в данной совокупности какому-нибудь недочету, как он тотчас будет ими обнаружен. В этом столь верно сохраненном в памяти представлении число предметов или существ еще не дифференцировано: ничто не позволяет выразить его отдельно. Тем не менее, качественно оно воспринимается или, если угодно, ощущается»⁶. Аналогичным образом высказывается по этому вопросу Э. Кассирер. «Здесь это индивидуальные множества, — пишет он, — которые распознаются и отличаются один от другого по какому-либо индивидуальному признаку. „Число“ множества выступает, поскольку о нем вообще можно говорить, не в форме определенной измеренной числовой величины, но как некоего рода конкретное представление числа, как некое наглядное качество, которое связано с вначале еще полностью нерасчлененным общим впечатлением от множества»⁷. Этот этап в развитии счета, по мнению представителей этой точки зрения, пережиточно наблюдаемый у некоторых «первобытных» народов, находит свое отражение и в языках этих народов.

«То, что первобытное мышление выражает в языке, — пишет Леви-Брюль, — это — не числа в собственном смысле слова, а „совокупности — числа“, из которых оно не выделило предварительно отдельных единиц. ... оно (мышление. — В. П.) представляет себе совокупности существ или

⁵ Там же, т. 20, стр. 37.

⁶ Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, М., 1930, стр. 121.

⁷ E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I, Berlin, 1923, стр. 187. См. также E. F e t t w e i s, Das Rechnen der Naturvölker, Leipzig, Berlin, 1927,

предметов, известные ему одновременно и по своей природе и по своему числу, причем это последнее ощущается и воспринимается, но не мыслится отвлеченно»⁸ (разрядка наша. — В. П.). Эта точка зрения нашла известную поддержку и среди математиков. Так, например, И. Г. Башмакова и А. П. Юшкевич, опираясь на Леви-Брюля, полагают, что на первой стадии развития категории количества «численность воспринимается как одно из свойств совокупности предметов, характеризующее эту совокупность наряду с другими свойствами: цветом, формой, размером и т. д.»⁹.

Исследования по зоопсихологии и детской психологии показывают, что, хотя непосредственное восприятие конкретных множеств и их различия в количественной характеристике наблюдаются как у животных, так и у детей, они возможны в небольших пределах (не более, чем до пяти)¹⁰. Имеют место они и у «первобытных» народов, однако, также только в тех случаях, когда количество предметов, составляющих то или иное конкретное множество, является небольшим. Что же касается больших количеств, то «первобытные» люди не потому замечают отсутствие одной лошади в большом стаде или собаки в большой своре, что они непосредственно ощущают разницу в количестве, а потому, что хорошо знают каждую лошадь в стаде или собаку в своре¹¹.

Существенный недостаток рассматриваемой точки зрения на характер первоначального этапа развития категории количества состоит в том, что категория количества является категорией абстрактного обобщенного мышления и, следовательно, чувственно-наглядный способ отражения количественной характеристики конкретных множеств может рассматриваться лишь как историческая предпосылка для ее возникновения, но не как начальный этап в ее развитии.

Несостоятельным оказывается также и то положение сторонников этой точки зрения, что чувственно-наглядные образы тех или иных конкретных множеств якобы выражаются в языках первобытных народов, получая в них соответствующие обозначения. Язык возникает как средство осуществления и существования абстрактного обобщенного содержания мышления, но не его чувственно-наглядного содержания, и необходимой связи между чувственно-наглядными образами и словами не существует¹². Что же касается фактов существования в «первобытных» и непервобытных языках многих рядов числительных, каждый из которых употребляется при счете лишь определенных предметов, или наличия индивидуализованных названий для отдельных устойчивых совокупностей предметов типа русского *дюжина*, на которые обычно ссылаются сторонники этой точки зрения, то, как показывает анализ, они получают иное объяснение, чем это полагает Леви-Брюль, Кассирер и др. (см. стр. 13—14).

⁸ Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 129.

⁹ И. Г. Башмакова, А. П. Юшкевич, Происхождение систем счисления, «Энциклопедия элементарной математики», I, М., 1951, стр. 18.

¹⁰ Г. З. Рогинский, Навыки и зачатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе), Л., 1948, стр. 147—148; Н. Н. Ладыгина-Котс, Развитие психики в процессе эволюции организмов, М., 1958, стр. 220; Л. А. Яблоков, Восприятие множества и счет при формировании первоначальных понятий о числе. Автореф. канд. диссерт., М., 1951, стр. 3.

¹¹ См., например: Ф. Боас, Ум первобытного человека, М.—Л., 1926, стр. 84. Ср. также: «Не общее число своих собак держит в памяти эскимос, но отдельные представления о белой собаке с черными крапинками, о собаке, родившейся в голодную зиму, и т. п.» (А. В. Васильев, Целое число, Л., 1922, стр. 4—5).

¹² См. об этом: В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, сб. «Мышление и язык», М., 1957; е го ж е, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

Начальным этапом становления категории количества как категории абстрактного обобщенного мышления (он, однако, уже предполагает наличие способности выделять единичные объекты из того или иного множества и противопоставлять каждый из них множеству) является такой этап, на котором устанавливалась лишь равночисленность, или равномощность, конкретных множеств предметов, когда предметы, составляющие эти множества, приводились во взаимно-однозначное соответствие¹³. Этот этап развития категории количества засвидетельствован у «первобытных» народов. Исследователи этих народов отмечают, что многие из них имеют числительные лишь в пределах первого десятка, а некоторые лишь числительные «один», «два». Поэтому в тех случаях, когда они имеют дело с конкретными множествами, которые состоят из большего количества предметов, чем то, которое находит свое обозначение в числительных, они по существу устанавливают лишь равночисленность этих множеств. Многочисленные факты такого рода собраны в книге Леви-Брюля «Первобытное мышление».

«Гэддон, — пишет Леви-Брюль, — отлично видел, что здесь нет ни числительных, ни чисел в собственном смысле. Здесь речь идет о своего рода памятной книжке, об особом методе, позволяющем в случае надобности получить данную сумму. „Существовал, говорит он, другой способ счета: начинали с мизинца левой руки, от него переходили к безымянному пальцу, затем к среднему, к указательному, к большому, потом к кисти, к сочленениям плеча, к плечу, к левой стороне груди, к грудной кости, к правой стороне груди и кончали мизинцем правой руки (всего получалось 19). Названия для чисел являются просто названиями частей тела, а отнюдь не числительными. На мой взгляд, эта система могла употребляться лишь в качестве вспомогательного средства для счета, подобно тому, как пользуются веревочкой с узелками, но отнюдь не в качестве ряда действительных чисел. Локтевое сочленение (*куду*) может означать семь или тринадцать, и я не смог выяснить, обозначает ли *куду* действительно одно или другое из этих чисел: в деловых сношениях туземец только вспомнит, до какой части своего тела он дошел при подсчете предметов, и, воспроизведя счет начиная со своего левого мизинца, он всегда вновь найдет искомое число“»¹⁴. Следует только отметить, что в этом, как и других аналогичных случаях, о которых упоминается в книге Леви-Брюля, счет в собственном смысле этого слова не происходит, а имеет место лишь установление равноможности множеств, в силу чего словесное обозначение какого-либо члена конкретного множества и не имеет определенного числового значения. Интересные свидетельства такого же рода, касающиеся коренного населения Австралии, приводятся У. Бакли: «Перед уходом охотники, следуя обычаю, нанесли на руки штрихи, чтобы по ним определять, сколько дней они будут отсутствовать; то же самое сделал один из тех, кто оставался в лагере. Стирая каждый день штрих, он будет знать, сколько прошло времени»¹⁵.

Операции установления равночисленности, или равноможности, конкретных множеств наблюдаются также у детей младшего дошкольного возраста. Так, когда им предлагается по готовому образцу числовой фигуры «сделать такую же» (или «так же») без указания на количество предметов, которые образуют эту фигуру, ее воспроизведение «при со-

¹³ См.: С. А. Яновская, О так называемых «определениях через абстракцию», «Сборник статей по философии математики», М., 1936, стр. 110.

¹⁴ Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 124.

¹⁵ У. Бакли, Австралийский Робинзон, М., 1966, стр. 49; см. также стр. 32 и 40.

хранении пространственного расположения ее элементов во всех случаях производилось путем мозаичного дробления множества на простейшие компоненты и зрительного сопоставления вычлененных компонентов»¹⁶. Именно этим объясняется тот факт, что для детей этого возраста «счет... еще не является средством определения количества, и они не понимают, что последнее названное числительное указывает на общее количество сосчитанных предметов»¹⁷.

Установление равночисленности двух множеств, образуемых качественно отличными друг от друга предметами, предполагает способность абстрагироваться от качественных различий предметов, составляющих эти множества. Вместе с тем на этом этапе еще не производилось установление количества, числа предметов тех множеств, которые приводились во взаимно-однозначное соответствие.

Выбор того или иного множества конкретных предметов в качестве эталона, или эквивалента, по отношению к которому устанавливалась равночисленность других конкретных множеств, представлял собой дальнейший этап в становлении категории количества. В качестве такого эквивалента, или эталона, первоначально использовалось более чем одно конкретное множество. Так, в этой функции использовались пальцы рук и ног и другие части человеческого тела, а также камешки, палочки и т. п. Э. Кассирер отмечает, что «исходным пунктом для установления различий числовых, равно как и пространственных, отношений является человеческое тело, и отсюда они переносятся на весь чувственно-наглядный мир»¹⁸. Действительно, человеческое тело — и особенно — пальцы рук и ног — как эталон, в отношении которого устанавливалась равночисленность других конкретных множеств, занимает совершенно особое место среди других множеств, используемых в этом качестве. Каждая из частей человеческого тела, будучи качественно отличной от других и имея свое индивидуальное словесное обозначение, могла выступать как конечный член множества — эталона, если подсчет количества предметов, составляющих данное конкретное множество, заканчивался указанием на соответствующую часть человеческого тела. Очевидно, что в отличие от частей человеческого тела члены таких множеств, как палочки или камешки, не обладают этими свойствами.

Выделение эталонов, по отношению к которым устанавливалась равночисленность всех других множеств, привело к возникновению понятий об определенных количествах, т. е. чисел, так как «число можно определить как общее свойство всех равномоощных друг другу множеств»¹⁹.

В качестве названий возникающих понятий о тех или иных определенных количествах при этом использовались:

1. Названия множеств-эквивалентов. Установлено, что в большинстве языков числительное «пять» происходит от слов со значением «рука»²⁰, «десять» в ряде языков буквально означает «две руки»²¹, «двадцать»

¹⁶ Л. А. Яблоков, указ. соч., стр. 7.

¹⁷ Е. И. Корзакова, Усвоение операций счета детьми дошкольного возраста. Автореф. канд. диссерт. М., 1951, стр. 5.

¹⁸ E. Cassirer, указ. соч., стр. 183.

¹⁹ С. А. Яновская, указ. соч., стр. 111.

²⁰ Такова, например, этимология числительного «пять» в нивхском (см.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 208—209), в эскимосском (см.: Г. А. Меновщиков, Из истории образования числительных в эскимосском языке, ВЯ, 1956, 4, стр. 65), в чукотском (см.: П. Я. Скорики, Грамматика чукотского языка, ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 387) и многих других языках.

²¹ Так, например, этимологизируется это числительное в чукотском языке (см.: П. Я. Скорики, указ. соч., стр. 387).

в некоторых языках означает «человек; самец»²². На ту большую роль, которую играла рука при счете и образовании числовых обозначений, указывает и тот факт, что в некоторых языках слово *считать* буквально означает «пальчить»²³.

На это обстоятельство обращают внимание почти все исследователи «первобытных» народов. В частности, интересное свидетельство приводится Н. Н. Миклухо-Маклаем: «Излюбленный способ счета состоит в том, что папуас загибает один за другим пальцы рук, причем издает определенный звук, например, бе, бе, бе... Досчитав до пяти, он говорит: ибон-бе (рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяет бе, бе..., пока не дойдет до самба-бе и самба-али (одна нога, две ноги). Если нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого»²⁴.

2. Названия соответствующих членов множеств-эквивалентов, если оно состояло из неоднородных объектов и каждый из них имел свое индивидуальное обозначение; или описательные выражения, которые указывали на какие-либо члены множества-эквивалента. Так, например, в маурском диалекте нивхского языка числительное «девять» буквально означает «один находящийся», а в восточносахалинском диалекте — «один пять», что при ручном счете соответственно понималось «один не загнут», «один остался» и «один до пяти на другой руке»²⁵. В эскимосском языке числительное «четыре» буквально означает «скатывающийся (по отношению к среднему пальцу руки)», «восемь» буквально означает «третьим пару имеющий», «девять» — «четвертым пару имеющий»²⁶. В чукотском языке числительные «шесть», «семь», «восемь», «девять» соответственно означают «один + пять», «два + пять», «три + пять», «четыре + пять»²⁷.

3. Слово (словосочетание), указывавшее на то движение при счете, которое совершалось при достижении соответствующего члена данного множества-эквивалента, или которым заканчивался подсчет. Так, в эскимосском языке числительное «десять» буквально означает «верх; верхний», поскольку при окончании счета на пальцах рук считающий поднимал кисти рук вверх, ладонью правой руки покрывал поднятые вверх пальцы левой руки²⁸.

Этимологии числительных в самых различных языках показывают, что многие из них восходят к словам со значением «много». Так, например, в нивхском языке таким образом этимологизируются собственно количественные обозначения в составе числительных «два», «шесть», «десять», «сто»²⁹. Очевидно, что слова, к которым восходят такого рода числительные, первоначально представляли собой названия конкретных множеств-эквивалентов.

По-видимому, общей закономерностью является то, что числительные, обозначающие большие числа, обычно восходят к словам, являющимся названиями вещей, которые встречаются в большом количестве или представляют собой большую массу. Так, слав. *тъма* обозначает «10 000», санскр. *samudra* «океан» — «10 000 000 000», *salila* «морской поток» —

²² Указанную этимологию это числительное имеет в чукотском (см.: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 387), в эскимосском (см.: Г. А. Меновщиков, указ. соч., стр. 68) и других языках.

²³ Эту этимологию слово «считать» имеет, например, в чукотском языке (см.: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 387). В нивхском языке это слово сопоставляется со словом, означающим «следовать по чему-л.», «идти следом за кем-л. или кем-л.» (см.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 188).

²⁴ Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. III, ч. 1, М.—Л., 1951, стр. 176.

²⁵ См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 210—211.

²⁶ См.: Г. А. Меновщиков, указ. соч., стр. 64—66.

²⁷ См.: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 388.

²⁸ См.: Г. А. Меновщиков, указ. соч. стр. 66—67.

²⁹ См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I, стр. 207—213.

«100 000 000 000», в древнеегипетском числительное «миллион» обозначалось иероглифом для головастика, «тысяча» — иероглифом для лотоса³⁰, нивх. *н'эмдэ* «тысяча», по-видимому, сопоставляется со словом *н'эмх* «комар» и т. п.³¹.

Особый интерес представляет собой происхождение числительного «один». По крайней мере для некоторых языков обнаруживается связь этого числительного с местоимениями. Так, в нивхском языке собственно количественное обозначение *н'и* в составе числительных «один» всех 26 систем сопоставляется с личным местоимением *н'и* «я»³². В качинском языке числительное *langai* «один» состоит из двух компонентов *la* и *ngai*³³, причем этот последний полностью совпадает с местоимением *ngai* «я», а первый компонент, по-видимому, отождествляется со словом *la*, указывающим на мужской пол, и с некоторыми существительными употребляется в значении «один» самостоятельно. В русском языке компонент *-ин* числительного *один* также имеет местоименное происхождение³⁴, чем объясняется изменение этого числительного по родам³⁵. В эскимосском языке в числительном *атасик* «один» выделяется основа *ата* со значением «отец; глава чего-либо»³⁶.

Таким образом обнаруживается, что понятие «один» формировалось в неразрывной связи и на основе процесса выделения человека из окружающей его действительности, осознания им своего собственного «я» как нечто обособленного и противопоставляемого всем остальным предметам внешнего мира и остальным членам той человеческой общности, к которой он принадлежал.

Факт этимологической разноплановости числительных в самых различных языках и перебои в семантической линии развития числовых обозначений (например, в нивхском языке «пять» связано с понятием о руке, «шесть» с названием множества предметов, «девять» опять связано с рукой и т. д.), с одной стороны, подтверждают положение о том, что в качестве множеств-эквивалентов использовалось не только человеческое тело и его части, но и другие конкретные множества, а с другой, говорят о том, что и после возникновения тех или иных количественных понятий, рука продолжала использоваться при счете. Только в силу этого в дальнейшем при образовании понятий о больших количествах они могли обозначаться словами, связанными с ручным счетом³⁷. Именно отсут-

³⁰ P. Thiemé, Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache, Wiesbaden, 1954, стр. 18 и сл.; Т. А. Дегтерева, Формы проявления семасиологических законов, сб. «Законы семантического развития в языке», М., 1961, стр. 19—20.

³¹ В этом отношении представляет интерес также и следующий способ обозначения большого количества в нивхском языке, отмеченный нами в фольклорном тексте: *Пилкыр н'о н'адр тий н'лами сол'ти хара имыо'* «Большущий амбар один, а также половину мари (место в тайге, где пасутся олени. — В. П.) оленей (ему) отдал».

³² См. подробнее: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 204.

³³ См.: Е. В. Пузичкий, Качинский язык, М., 1968, стр. 57, ср. стр. 52.

³⁴ Ф. Буслев, Историческая грамматика русского языка. Этимология, 4-е изд., М., 1875, стр. 115, 152.

³⁵ В. В. Виноградов в связи с этим отмечал, что числительное *один* в русском языке «сохраняет морфологическую систему местоименного прилагательного» (В. В. Виноградов, Русский язык, М. — Л., 1947, стр. 292).

³⁶ См.: Г. А. Меновщикова, указ. соч., стр. 62.

³⁷ «Числительные системы всего мира, — отмечал Э. Тэйлор, — по действительным схемам своего расположения, распространяют и подкрепляют воззрение, что счет по пальцам рук и ног был первоначальным методом счисления у человека, принятым и выраженным в языке ... Теперь, хотя в большей части известных языков в самих числительных не замечается прямого обращения к ручным и ножным пальцам, к рукам и ногам, но самые схемы пятеричного, десятичного и двадцатичного счета остаются в виде свидетельства, что подобный ручной и ножной счет был их первоначальным основным методом» (Э. Б. Тэйлор, Первобытная культура, 1, 2-е изд., СПб., 1896; стр. 231; см. также стр. 216—223).

ствием единой линии в происхождении числовых обозначений объясняется та морфологическая неоднородность числительных, на которую указывают многие исследователи³⁸.

Рассматриваемый этап развития категории количества нашел свое отражение в фактах возникновения нескольких параллельных обозначений для отдельных чисел, а также в возникновении в пределах грамматической категории числа различных значений собирательного типа, учитывающих качественные особенности объектов, образующих соответствующие конкретные множества.

То или иное определенное количество могло получить больше, чем одно название, так как в качестве множеств-эквивалентов могли выступать несколько одинаковых в количественном отношении совокупностей предметов. Так, например, в нивхском языке понятие «пять» связано с **хон* «много» и *т'о* «рука», а понятие «два», выражаясь собственно количественным обозначением **ми*, связано также со словом *тонгpm'* «двойняшки»³⁹. В китайском языке понятие «два» выражается двумя числительными: *лян* и *эр*, в качинском языке — числительными *lähkwang* и *ni*⁴⁰. Несколько обозначений одного и того же количества возникали также и потому, что при возникновении соответствующего понятия в качестве исходной точки отсчета нередко использовались несколько уже существующих числовых обозначений. Так, в чукотском языке число «девять» обозначается числительными *ныргамытлынэн* буквально «четыре + пять» и *амынгытдакыльэн* буквально «не десятый»; число «четырнадцать» обозначается числительными *мынгыткэн ныраq* парол буквально «десять четыре лишних» и *акылындакыльэн* буквально «не пятнадцатый»; число «девятнадцать» обозначается числительными *кылынкэн ныраq* парол буквально «пятнадцать четыре лишних» и *эдлиqqэкылын* буквально «не двадцатый»⁴¹.

В чаплинском диалекте эскимосского языка число «пятнадцать» обозначается как словом *акимичак'*, так и сочетанием слов *к'улям тал'ымат сипнык'* буквально «десять пять слишком»; в языке гренландских эскимосов число «двадцать» обозначается двояким способом: *aftersaneq talimat* буквально «процесс перехода пяти» (что указывало на переход при счете с одной ноги на другую и на окончание счета) и *inuk navdlugo* буквально «человек целиком»⁴².

Специалисты по индоевропейским языкам из факта отсутствия общего индоевропейского архетипа числительного «один» при общности архетипов числительных от «двух» до «пяти» делают вывод, «что числительное „1“ образовалось гораздо позднее, чем числительные „2“ — „10“ и даже „100“ ... что понятие числа „1“ и его название возникли в период „распада“ (или, в крайнем случае, в начале периода „распада“) индоевропейского языкового единства...»⁴³. Здесь не учитывается, однако, что понятие

³⁸ См., например: В. А. Б р и м, Система числительных в германских языках, сб. «Языковедные проблемы по числительным», I, М., 1927, стр. 159—160; В. В. В и н о г р а д о в, указ. соч., стр. 291 и сл.

³⁹ См.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 207—211.

⁴⁰ См.: А. А. Д р а г у н о в, Исследования по грамматике современного китайского языка, М.—Л., 1951, стр. 197; Е. В. П у з и ц к и й, указ. соч., стр. 57.

⁴¹ См.: П. Я. С к о р и к, указ. соч., стр. 388—389.

⁴² См.: Г. А. М е н о в и щ и к о в, указ. соч., стр. 67, 69.

⁴³ В. П. М а ж у л и с, Индоевропейская десятичная система числительных, ВЯ, 1956, 4, стр. 54. Аналогичную точку зрения по этому поводу высказывал также С. П. Обворский (см.: С. П. О б н о р с к и й, Заметки по русским числительным, М., 1935, стр. 329). Отметим также, что вопреки утверждению В. П. Мажюлиса и Е. Фетт-вайза, на которого В. П. Мажюлис ссылается, понятие «один» возникает у детей, во всяком случае, не позднее, чем понятие «два» (см.: Л. А. Я б л о к о в, указ. соч., стр. 8).

«один» в индоевропейском праязыке могло связываться с несколькими названиями и закрепиться в дальнейшем за разными названиями в различных индоевропейских языках. Так, например, в чукотском языке понятие «один», выражаясь числительным *ыинен*, связано также с первым компонентом числительного *конъачынкэн* «девять», буквально «один рядом (отодвинут)» и повторительного числительного *кун-эче* «один раз»; в кетском языке понятие «один» выражается двумя основами — *кок* при счете одушевленных и *кус'* при счете неодушевленных предметов⁴⁴.

Очевидно, что выделение единичного объекта из какого-либо конкретного множества является необходимым условием не только для установления взаимно-однозначного соответствия каких-либо двух множеств предметов на первом этапе развития категории количества и образования понятий о количествах, больших чем «один», на дальнейшем этапе ее развития, но и условием для выделения и сравнения в качественном отношении одного предмета с другим⁴⁵.

Можно предположить, что этап установления равночисленности в истории развития счета должен был привести к возникновению многих рядов или систем последовательно возрастающих числительных, каждый из которых использовался при счете в соответствии с качественными особенностями исчисляемых предметов.

Такого рода предположение как будто подтверждается тем, что во многих языках (в ряде индейских языков, языков Океании и в одном из палеоазиатских языков — нивхском языке) действительно существует несколько систем числительных, каждая из которых употребляется при счете лишь предметов определенного рода. По мнению многих ученых, числительные этого типа возникли на том этапе развития счета, когда понятие количества еще не выделялось, а существовали лишь понятия о количествах тех или иных конкретных предметов. «На примитивных ступенях развития языка повсюду обнаруживается, что числовые обозначения непосредственно сливаются с обозначениями вещей и свойств. То же самое обозначение одновременно служит как для выражения свойств предметов, так и для выражения его числовой определенности и его числового характера...»⁴⁶.

Ссылаясь в этой связи на язык острова Фиджи, в котором существуют специальные слова для обозначения 2, 10, 100 и 1000 кокосовых орехов или 10 лодок, 10 рыб и т. п., на язык североамериканских индейцев цимшиан, в котором есть специальные числительные для счета длинных предметов, мелких предметов и т. п., Э. Кассирер далее утверждает, что «дифференциация рядов чисел (*Zahlreihen*)... практически может быть неограниченной»⁴⁷.

Леви-Брюль, используя такого рода факты для подтверждения своей теории об особом, дологическом мышлении «первобытных» народов, утверждает следующее: «Эти факты сводятся, как мы думаем, к общему

⁴⁴ А. П. Д у л ь з о н, Кетский язык, Томск, 1968, стр. 123. Сведения по чукотскому языку нами получены от Н. Я. Скорика.

⁴⁵ «Для того, чтобы могло возникнуть понятие числа, — необходимо наличие реальных вещей и их совокупностей (множеств) и действительное (практическое) отношение человека к ним, состоящее в умении комбинировать вещи в множества, различать внутри множества как целого отдельные элементы и приводить эти множества в соответствие друг с другом» (С. Я. Яновская, указ. соч., стр. 114; разрядка наша. — В. П.). Ср. противоположное утверждение Л. Леви-Брюля (указ соч., стр. 129).

⁴⁶ E. Cassirer, указ. соч., стр. 189.

⁴⁷ Там же, стр. 189. Аналогичное утверждение см. у Леви-Брюля (указ. соч., стр. 129).

предрасположению мышления низших обществ. Так как абстракции этого мышления являются всего скорее индивидуализирующими, чем обобщающими, то оно на известной ступени своего развития образует имена числительные, однако, это не числительные *in abstracto*, как те, которыми пользуемся мы. Это всегда имена числительные определенных разрядов существ и предметов»⁴⁸. Особенности мышления объясняет такого рода факты также и Б. М. Кедров⁴⁹. Эта точка зрения разделяется также некоторыми математиками⁵⁰.

Представляется, однако, что тот этап в развитии категории количества, когда лишь устанавливалась равночисленность тех или иных конкретных множеств, не мог привести к возникновению многих рядов последовательно возрастающих числовых обозначений, каждый из которых (рядов) использовался бы при счете лишь определенных предметов. В самом деле, выбор множества-эквивалента с учетом специфики предметов множества, равночисленность которого устанавливалась, мог привести к возникновению последовательно возрастающих числовых обозначений только в том случае, если каждый из членов множества-эквивалента был строго индивидуализирован по своим качествам и, следовательно, названию. Но, во-первых, практически это могло быть только в отношении единичных множеств-эквивалентов (части человеческого тела, но не камешки, палочки и т. п.). Во-вторых, при этом получилось бы, что тождественные по своим качествам члены множества, равночисленность которого устанавливалась, соотносились бы с различными по своим качествам членами множества-эквивалента. А это противоречит самой идее учета качественной специфики членов равнощного множества, так как сама операция установления равночисленности возможна лишь при отвлечении от качественных особенностей членов обоих множеств.

Тот факт, что конкретный счет и конкретные числительные, указывающие не только на количество, но и на вид исчисляемых предметов, существуют лишь в некоторых языках «первобытных» народов (из всех палеоазиатских языков — только в нивхском, но не в эскимосском, или чукотском, или кетском, или юкагирском; из многочисленных индейских языков лишь в языке цимшиан, дене и некоторых других и т. п.), также не может получить объяснения с той точки зрения, которая развивалась в этой связи Э. Кассирером и другими исследователями. Ниже будет показано также (см. стр. 13—14), что все соответствующие конкретные числительные различных рядов, или систем, т. е. все числительные со значением «один», все числительные со значением «два» и т. п., включают в свой состав общий компонент, который и передает понятие о соответствующем количестве, т. е. понятие об «одном», понятие о «двух» и т. п., и, следовательно, надо искать другие причины возникновения конкретных числительных, чем те, которые называют сторонники этой точки зрения.

Выделение эталонов, или эквивалентов, по отношению к которым устанавливалась равночисленность остальных конкретных множеств, знаменовало собой возникновение понятий об определенных количествах, что могло быть только при условии возникновения способности отвлекаться от качественных особенностей предметов, составляющих то или иное множество, и выделять их количественную характеристику. Вместе с

⁴⁸ Л. Левин-Брюль, указ. соч., стр. 130—131.

⁴⁹ Б. М. Кедров, О повторяемости особого рода в процессе развития, «Философские науки», 1959, 1, стр. 59. См. также: А. Г. Спиркин, Формирование абстрактного мышления на ранних ступенях развития человека, ВФ, 1954, 5, стр. 68—69.

⁵⁰ Р. Курант, Т. Роббинс, Что такое математика, М.—Л., 1947, стр. 20—21.

тем на этом этапе развития категории количества понятия об определенных количествах еще не мыслились в отрыве от понятий о конкретных предметах, составляющих это количество, и, следовательно, еще не существовало абстрактного счета, т. е. такого счета, при котором числовые обозначения не сопровождались бы названиями предметов счета. Так, например, исследователь корякского языка С. Н. Стебницкий отмечал, что, хотя в этом языке и существуют только такие числительные, которые употребляются при счете предметов любого рода, «коряк не мыслит понятия „три“ или какого-либо другого числа вне его отношения к какому-либо предмету, отвлеченно»⁵¹. П. Я. Скорик пишет, что в 20-х годах при обучении чукчей арифметике ему пришлось столкнуться с большими трудностями, так как «чукчи (и дети, и взрослые) совершенно не понимали арифметических действий с отвлеченными числами (*ыннэн* „один“, *нирэд* „два“ и т. д.) и хорошо их усваивали в связи с конкретными предметами или при обозначении чисел как предметов (*ыннэнычбын* „единица“, *нирэдычбын* „двойка“ и т. д.)»⁵².

Следовательно, существовал такой этап в развитии категории количества, когда уже возникшие числовые обозначения употреблялись только в сочетании с названиями тех или иных конкретных предметов счета.

Наличие во многих языках числительных, которые включают в свой состав не только собственно количественные обозначения, но и компоненты, возводимые к названиям предметов счета, а также существование так называемых суффиксов-классификаторов, обусловлены этим этапом развития категории количества. Такого типа числительные есть в некоторых индейских языках (цимшиан, дене и др.), в языках Океании и в нивхском языке. В нивхском существует 26 систем различных числительных, каждая из которых до недавнего времени употреблялась лишь при счете предметов определенного рода (см. табл.). Однако соответствующие числительные всех 26 систем (т. е. все числительные со значением «один» или все числительные со значением «два» и т. д.) имеют в своем составе общие собственно количественные обозначения, а их вторые компоненты (показатели систем), которыми они и отличаются друг от друга, являясь (или восходят) названиями предметов счета. Есть основание утверждать также, что числительные в нивхском языке возникли в результате перерастания синтаксических словосочетаний, образованных из уже существовавших общих числовых обозначений и названий предметов счета, в сложные слова в силу того, что эти числовые обозначения всегда употреблялись вместе с последними⁵³. Образование, по крайней мере, числительных некоторых систем относится к весьма раннему периоду развития нивхского языка и нивхского народа, о чем могут свидетельствовать этимологии показателей этих систем. Так, например, показатель XXIII системы *-к* сопоставляется со словом *кы* «топор», которое имеет общий корень с глаголами *хы-эд'* «рубить», *хы-эд'* «копать», *хы-мэд'* «закопать». Эти сопоставления позволяют сделать вывод, что показатель *-к* этой системы восходит к названию каменного орудия, которым рубили, копали и т. п.⁵⁴.

⁵¹ С. Н. Стебницкий, Объяснительная записка и перевод к учебнику арифметики для 1-го класса корякской школы (ч. 2), Л., 1933, стр. 4.

⁵² П. Я. Скорик, указ. соч. стр. 386, примеч. 273.

⁵³ См. подробнее: В. З. Панфилов, Нивхские количественные числительные, Автореф. канд. диссерт., Л., 1953; е го ж е, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 214—221; е го ж е, К истории счета (нивхские количественные числительные), ФН, 1959, 4.

⁵⁴ См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 199—200.

К нивхским числительным типологически близки числительные в языке цимшиан⁵⁵, где также существуют различные системы числительных для счета предметов различного рода (плоских, круглых, длинных предметов, лодок, людей, а также различных мер). Наряду с этим в языке цимшиан есть числительные «для простого счета», а числительные остальных систем образованы из основ и суффиксов — показателей систем⁵⁶.

Леви-Брюль приводит следующие числительные со значением «три» из другого индейского языка — дене: *тха* «три вещи», *тхане* «три лица», *тхат* «три раза», *тхатон* «в трех местах», *тхаух* «тремя способами», *тхайтох* «три предмета вместе», *тхоэтох* «три лица вместе», *тхаутох* «три раза вместе»⁵⁷. Все они включают общий корень *тха*, который и означает «три». Как отмечает К. К. Уленбек, по своему характеру к нивхским числительным близки также числительные в языке североамериканских индейцев вашо (*washo*) и в некоторых аустронезийских языках — чаморро (*chamorro*) и др.⁵⁸. По данным П. Гамбруха, в языке науру (Маршалские острова) существует около 25 различных систем числительных, каждая из которых употребляется лишь при счете предметов определенного рода (живых существ; растений и цветов; лодок; посуды для питья; листьев и перьев; чепей и шнурков; длинных больших предметов; частей предметов, поделенных вдоль; частей предметов, поделенных поперек; частей предметов, поломанных по-всякому; связок кокосов и бананов; ночей и дней; куч каких-либо предметов и т. п.). Все соответствующие числительные 25 систем имеют общие корни и отличаются друг от друга своими вторыми компонентами, которые П. Гамбрух называет суффиксами-классификаторами⁵⁹.

В китайском языке (*байхуа*) существуют собственно числовые обозначения (числительные), которые употребляются при счете всех предметов, а также при абстрактном счете. Однако во всех случаях, когда указывается на количество каких-либо конкретных предметов, между числительными и существительными вставляются так называемые счетные слова, или суффиксы-классификаторы (их в китайском языке более 40), которые указывают на вид исчисляемых предметов⁶⁰. Таким образом, в отличие от рассмотренных выше случаев в китайском языке собственно количественные обозначения существуют и как самостоятельные слова (числительные); иначе говоря, хотя в китайском языке, как и в указанных выше языках, собственно количественные обозначения всегда должны были сопровождаться названиями предметов счета, это не имело результатом такого их слияния с этими последними, что они перестали выделяться в качестве самостоятельных слов, как это произошло, например, в нивхском языке. То же самое, по-видимому, следует сказать о японском и дунганском языках, в которых числительные при сочетании с существительными, как и в китайском языке, сопровождаются счетными словами⁶¹.

⁵⁵ На близость нивхских числительных и числительных в языках североамериканских индейцев впервые обратил внимание Л. Я. Штернберг (см.: Л. Я. Штернберг, Образцы материалов по изучению гилацкого языка и фольклора, «Изв. имп. Акад. наук», ser. V, XIII, 4, 1900, стр. 410).

⁵⁶ F. B o a s, Handbook of American languages, pt. I, Washington, 1911, стр. 396—397.

⁵⁷ Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 130.

⁵⁸ C. C. U h l e n b e c k, Zu den einheimischen Sprachen Nord-Amerikas, «Anthropos», V, 4, 1910, стр. 784—786.

⁵⁹ P. H a m b r u c h, Die Sprache von Nauru, Hamburg, 1914, стр. 29—30.

⁶⁰ См.: Л ю й Ш у - с я н, Очерк грамматики китайского языка, II, ч. 1, М., 1965, стр. 5—10; А. А. Д р а г у н о в, указ. соч., стр. 43—57.

⁶¹ Из числа представителей других языковых семейств здесь следует упомянуть также о персидском языке, в котором насчитывается несколько десятков счетных слов

В языках «первобытных» и непервобытных народов есть также индивидуализованные названия устойчивых в количественном отношении совокупностей предметов. Таковы, например, нивх. *ap* «связка юколы обычно из 25 парных юколин», *xugi* «связка корма для собак обычно из 50 одинарных юколин (*hapq*)», **βat* «веревка саженой длины, к которой обычно привязывалось 50—60 крючков (*κ'ιmυ*)» и некоторые другие; нем. *Mandel* «копна из 15—16 снопов», *Stiege* «20 штук» (ср. англ. *score*), *Schock* «60 штук» (первоначально копна из 60 снопов), *Wall* «80 штук» (преимущественно в рыботорговле; восходит к гот. *walus* «палка», т. е. по числу рыб, носимых на одной жерди) и др.⁶²; русские *пара*, *дюжина* (ср. англ. *dozen* «дюжина») и аналогичные по своему значению слова во многих других языках⁶³. Такого типа количественные обозначения, как и рассматриваемые выше числительные, также употребляются при счете только предметов определенного рода. Однако в отличие от последних они не образуют последовательного числового ряда, и их возникновение обусловлено иными причинами. Следует прежде всего отметить, что, по-видимому, достаточно определенное количественное значение они получают только в тех языках, где уже существуют числительные как обозначения соответствующих количеств. Очевидно, что определенное числовое значение таких названий возникло на основе уже существующих числовых обозначений в связи с тем, что в торговле, обмене, производстве и т. п. фигурировали устойчивые в количественном отношении совокупности предметов. На это обстоятельство указывает Э. Тэйлор: «При счете раков и мелкой рыбы они (летты. — В. П.) бросают их по три, и потому слово *mettens* „бросание“, получило значение 3; камбала же вяжется партиями в тридцать штук, и слово *kahlis* „веревка“, получило значение этого числа»⁶⁴. Получив такое вполне определенное количественное значение, некоторые из таких индивидуализованных названий совокупностей предметов могли впоследствии даже вытеснить основное числовое обозначение. Такова, например, история возникновения в русском языке числительного *сорок*, вытеснившего первоначальное *четыредесяти*. Как отмечает Л. А. Булаховский, «нет серьезных оснований сомневаться в том, что это первоначально имя существительное с материальным значением „рубаха“: в „сорок“ или „сорочек“ вкладывалось 40 шкур соболей на полную шубу»⁶⁵.

В тех языках, где еще нет соответствующих числовых обозначений, такие индивидуализованные названия совокупностей предметов не могут иметь определенного числового значения и, по-видимому, в процессе торговли, обмена и т. п. устанавливалась лишь равночисленность ими обозначаемых совокупностей предметов с множествами-эквивалентами.

Возникновение в языке числительных, употребляющихся при абстрактном счете, переход от различных типов собирательной множественности к абстрактной дистрибутивной множественности в пределах грамматической категории числа⁶⁶ свидетельствуют о следующем этапе в

(см.: Р. Г а л у н о в, Нумеративные слова в персидском языке, «Языковедные проблемы по числительным», 1).

⁶² См.: В. А. Б р и м, указ. соч., стр. 157—158; В. Б. Ш к л о в с к и й, Числовое значение яйда в романо-германском, — «Языковедные проблемы по числительным», I, стр. 134, примеч. 1.

⁶³ Примеры такого рода слов см.: Э. Б. Т э й л о р, указ. соч., стр. 226—228.

⁶⁴ Там же, стр. 228.

⁶⁵ Л. А. Б у л а х о в с к и й, Исторический комментарий к литературному русскому языку, Харьков—Киев, 1936, стр. 136.

⁶⁶ То обстоятельство, что более ранние этапы развития языка характеризуются наличием значительного количества аффиксов со значениями различных типов собирательных множеств, учитывающих качественные особенности их составляющих объ-

Системы числительных в нивском языке

Числительные для счета	Порядковый номер системы					
	I	II	III	IV	V	VI
	Лодок (му)	Нарт (т'и)	Связок ююлы (ар)	Ручных четвертой (ма)	Ручных сажений (а)	Связок корма для собак (хуви)
«один»	н'им	н'ири	н'ар	н'ма	н'а	н'үүеи
«два»	мим	мири	мэр	мэма	мэ	миүүеи
«три»	т'эм	т'эри	т'ар	т'ма	т'а	т'эүүеи
«четыре»	ным	ныри	ныр	ныма	ны	нуүүеи
«пять»	т'ом	т'ори	т'ор	т'ома	т'о	т'оүүеи
«шесть»	нах	нах	наҕ ар	наҕ ма	аҕи, наҕ а,	на(х) хуви
«семь»	намк	намк	намк ар	намк ма	амги	нам(к) хуви
«восемь»	минр	минр	минр ар	минр ма	мины а	мин(р) хуви
«девять»	н'ын'бэн	н'ын'бэн	н'ын'бэн ар	н'ын'бэн ма	н'ын'бэн а	н'ын'бэн үүеи
«десять»	мхо	мхо	мхор	мхо ма	н'ави а мхо а	мхо үүеи
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Прутьев с нанизанной корюшкой	Прутьев с нанизанной корюшкой /дос/	Неводов	Снастей для ловли тюленей и калуги	Неводных ячей	Неводов и сеток для рыбной ловли
«один»	н'наq	н'дос	н'вор	н'фат	н'иу	н'эо
«два»	м'наq	м'дос	м'вор	м'фат	миу	мэо
«три»	т'наq	т'дос	т'фор	т'фат	т'эу	т'эо
«четыре»	нигыq	ндис	неур	нфит	нуу	ну
«пять»	т'онаq	т'одос	т'овор	т'офат	т'оу/т'ои	т'оу
«шесть»	наҕнаq	нах дос	наҕвор	наҕфат	нах	нах
«семь»	намкнаq	намк дос	намквор	намкфат	намк	намк
«восемь»	минрнаq	мин/д/р дос	минрвор	минрфат	минр	минр
«девять»	н'ын'бэннаq	н'ын'бэн дос	н'ын'бэнвор	н'ын'бэнфат	н'ын'бэн	н'ын'бэн
«десять»	мхонаq	мхо дос	мховор	мхофат	мхоу	мхоу

Числительные для счета	Порядковый номер системы							
	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII		
	Неводных полос	Прядей веревки	Количества пальцев при измерении толщины сала	Семейств (чу)	Шестов	Мест (йивф)		
«один»	н'эришдэ	н'лай	н'и/γ/ит'	н'иэчу	н'ла	н'авр		
«два»	мэришдэ	мэлай	ми/γ/ит'	миэчу	мэл	мэвр		
«три»	т'эришдэ	т'лай	т'э/γ/ит'	т'ээчу	т'ла	т'авр		
«четыре»	ныришдэ	нлай	ну/γ/ит'	ныэчу	нлы	нывр		
«пять»	т'оршдэ	т'олай	т'о/γ/ит'	т'оэчу	т'ола	т'овр		
«шесть»		наγлай		наγ су	наγла	наγ (йивф)		
«семь»		намклай		намк су	намгла	намк (йивф)		
«восемь»		минрлай		мин/δ/р чу	минрла	мин/δ/р (йивф)		
«девять»		н'ын'бэнлай		н'ын'бэн чу	н'ын'бэнла	н'ын'бэн (йивф)		
«десять»		мхотай		мхо су	мхотла	мхотвр		
	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
	Парных предметов	Кедровых и сло- вых досок	Тонких плоских предметов	Длинных предметов	Мелких округлых предметов	Людей	Животных	Предметов разно- образной формы
«один»	пасq/н'васq	н'эт'	н'рах	н'эх	н'ик	н'ин/н'эн	н'эн'	н'аqr
«два»	мэвсq	мэт'	м'рах	мэх	мик	мэн	мор	мэqr
«три»	т'фасq	т'эт'	т'рах	т'эх	т'эх	т'аqr	т'ор	т'аqr
«четыре»	нвысq	ныт'	нрых	ных	ных	ныр	нур	ныкр
«пять»	т'оваq/т'овсq	т'от'	т'орах	т'ох	т'ох	т'ор	т'ор	т'оqr
«шесть»	наγ басq	наγэт'	наγрах	наx	наx	наx	наx	наx
«семь»	намк басq	намгэт'	нам'рах	намк	намк	намк	намк	намк
«восемь»	мин/δ/р басq	минрэт'	мин'рах	минр	минр	минр	минр	минр
«девять»	н'ын'бэн басq	н'ын'бэнэт'	н'ын'бэнрах	н'ын'бэн	н'ын'бэн	н'ын'бэн	н'ын'бэн	н'ын'бэн
«десять»	мхо басq	мхотэт'	мхотрах	мхотx	мхотx	мхо	мхон, мхос	мхотqr

развитии категории количества. На этом этапе средством установления равночисленности или равномоцности, становится уже число как таковое, и, следовательно, категория количества как бы освобождается от влияния категории качества и достигает высшей степени абстрактности.

В тех языках, где было образовано несколько систем числительных, первоначально употреблявшихся при счете только предметов определенного рода, это находит свое проявление в том, что одна из систем числительных начинает вытеснять остальные системы и употребляться как при счете таких предметов, для которых в этой функции ранее использовались особые системы числительных, так и при абстрактном счете. Так, например, в нивхском языке эту роль в настоящее время приняла на себя XXVI система числительных; нивхи среднего и младшего поколений из 26 систем числительных употребляют лишь некоторые (XXVI, XVIII, XIX, XXIV, XXV)⁶⁷.

В других языках, где вследствие различия в источниках происхождения числовых обозначений числительным была свойственна различная грамматическая природа, этот этап развития категории количества вызывает выравнивание их грамматических свойств и приводит к тому, что числительные теряют признаки тех частей речи, из которых они перешли в этот разряд слов. В частности, В. В. Виноградов отмечает, что благодаря освобождению от влияния категории предметности и вследствие влияния математического мышления числительные (по крайней мере с 4) ряда западноевропейских языков (латинского, греческого, французского, немецкого и английского) в настоящее время уже лишены морфологического разнообразия, в то время как в русском языке, где прослеживаются аналогичные тенденции, они еще не достигли этой ступени развития⁶⁸. Таким образом, закономерности образования числительных как особого лексического и грамматического разряда слов получают свое объяснение в связи с намеченными здесь этапами развития категории количества как категории абстрактного обобщенного мышления.

Следует отметить также, что грамматические показатели абстрактного дистрибутивного множества первоначально выражали те или иные собирательные значения, отмечают исследователи самых различных языков. См., например: И. М. Т р о н с к и й, К семантике множественного числа в греческом и латинском языках, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия филол. наук, 10, 1946; В. И. Ц и ц и у с, Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках, там же; Д. В. Б у б р и х, Древнейшие числовые и падежные формы имени в финно-угорских языках, сб. «Язык и мышление», XI, М.— Л., 1948; В. И. Д е г т я р е в, Развитие лексико-грамматических классов собирательных и вещественных имен существительных в русском языке XI—XVII вв. Автореф. канд. диссерт., Ростов-на-Дону, 1965; Б. А. С е р е б р е н н и к о в, Существовали ли в протоуральском языке именные классы?, ВЯ, 1969, 3; Ю. К. Щ е г л о в, Очерк грамматики языка хауса, М., 1970, и др.

⁶⁷ См.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. I, стр. 220—221.

⁶⁸ В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, стр. 288—291.

С. А. МИРОНОВ

Ф. ЭНГЕЛЬС И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ НИДЕРЛАНДСКОГО
ЯЗЫКА

В труде Ф. Энгельса «Франкский диалект» поднимается целый ряд принципиально важных вопросов, связанных с изучением структуры и истории формирования нидерландского литературного языка и его диалектов. Труд этот, однако, не получил до сих пор должной оценки со стороны исследователей нидерландского языка, хотя значение его для развития нидерландистики представляется нам бесспорным.

Предлагаемая статья является лишь попыткой частично восполнить этот пробел и в сжатой форме охарактеризовать роль Ф. Энгельса в постановке и раскрытии наиболее существенных проблем изучения истории нидерландского языка. Энгельс освещает в своем труде — при постоянном учете экстралингвистических факторов — целый комплекс внутриязыковых процессов и явлений, реализуемых на разных уровнях структуры нидерландского языка. Известный германист и диалектолог Т. Фрингс, оценивая деятельность Энгельса как филолога, совершенно справедливо отмечает, что в его работе «дается меткая характеристика существенных особенностей нидерландского языка»¹. И действительно, Энгельс опирается в своей работе не только на прекрасное знание научно-теоретических основ современной ему нидерландистики, но и на богатый опыт своих личных наблюдений над особенностями немецких, голландских и фламандских диалектов.

Большое значение для понимания сложных путей развития языка нидерландской народности на базе различных племенных диалектов (при ведущей роли в этом процессе древненижнефранкского) имеет также тесно примыкающее к «Франкскому диалекту» историческое исследование Ф. Энгельса «К истории древних германцев», в котором дана подробная классификация древнегерманских племен с указанием зон их расселения к началу нашего летосчисления (основывающаяся на сведениях античных историков). Эта классификация вступает в противоречие со старой антиисторической схемой, согласно которой нидерландский язык, противопоставляясь англо-фризской группе языков, является непосредственным ответвлением нижнефранкского (как части нижнемецкого) без учета его сложных взаимодействий и контактов на территории Нидерландов с другими близкородственными германскими племенными диалектами². В этих трудах Энгельса раскрывается сущность его концепции франкско-

¹ Т. Фрингс, Энгельс как филолог, сб. «Немецкая диалектография», М., 1955, стр. 220.

² Показательно, что современные историки нидерландского языка также отказались от этой схематической классификации, считая ее «недостаточной». Ср.: M. S c h ö n f e l d, A. v a n L o e y, Historische grammatica van het Nederlands, 7 de dr., Zutphen, 1968, стр. XXIV; ср. также: В. М. Ж и р м у н с к и й, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.—Л., 1964, стр. 17—18.

го диалекта как языка исековской группы племен, который «уже в VI—VII веках был самостоятельным диалектом, представляющим переходное звено от верхненемецкого, т. е. прежде всего алеманнского, к ингвеонскому, т. е. прежде всего к саксонскому и фризскому...»³. Однако очень важно подчеркнуть, что, восстанавливая целостность и самостоятельность франкского диалекта, Ф. Энгельс неизменно учитывал при этом всю сложность и многосторонность его исторических связей и взаимодействий с этими отличными от него, хотя генетически и близкими, западногерманскими диалектами в процессе складывания на их базе отдельных языков германских народностей. Относя к исековскому племенному союзу (с его основным франкским ядром) также целый конгломерат мелких, впоследствии исчезнувших родственных племен⁴, как, например, хамавов, бруктеров, тенктеров, узипетов и др., Энгельс включает в него также и такие более отдаленные по своему родству племена, как принадлежавшие к хаттам (т. е. к эрминонам) батавы, заселившие дельту р. Мааса у левого берега Рейна⁵. Интересно, что следы пребывания некоторых из этих племен на территории Нидерландов находят свое отражение в отдельных древних топонимах (как, например, в местных названиях: *Hamaland* на р. Эйсел близ г. Девентера — от *Chamaven* «хамавы»; *Betuwe* — в Гелдерланде между реками Рейном, Леком и Ваалем — от *Bataven* «батавы»). Вышеупомянутое указание Энгельса на предположительный район древнего расселения батавов подкрепляется позднейшими данными историков нидерландского языка, в частности Де Войса⁶. Следует также отметить, что новейшие исследования по вопросу о франкской колонизации Южных Нидерландов (например, *des Marex*, позволяющие отнести ее к IV—V вв.), подтверждают положение Ф. Энгельса о завершении заселения этой области салическими франками к VI в.⁷

Особое значение для правильного понимания содержания диалектной базы нидерландского литературного языка приобретает удивительно глубокая для своего времени трактовка Энгельсом понятия ингвеонской группы племен (с выделением в ней фризско-саксонского ядра), сочетающаяся с очень четким и исторически обоснованным представлением об ареале ее древней локализации⁸.

Несмотря на длительную полемику, развернувшуюся за последнее время среди нидерландистов (и шире — среди германистов) в отношении объема и содержания терминов «ингвеонский», «фризский» и «саксонский» языки, а также по поводу области распространения франков, фризов и саксов, тезис об ингвеонской подоснове голландского варианта (исековского, т. е. франкского в своей основе) нидерландского языка остается в принципе незыблемым. Весьма показательным, что Шёнфельд и Ван Луй, подводя итоги этой полемики среди нидерландистов и приводя

³ Ф. Энгельс, Франкский диалект, в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., XIX, 2-е изд., М., 1961, стр. 524; ср.: Ф. Энгельс, К истории древних германцев, там же, стр. 489.

⁴ Часть их локализовалась на нижнем Рейне на территории нынешних Нидерландов и северо-западной Германии.

⁵ Ф. Энгельс, К истории древних германцев, стр. 448; ср. также: В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 21, 28; 42—48.

⁶ Ср.: C. G. N. de Voûs, *Geschiedenis van de Nederlandse taal*, 5-de uitg. Antwerpen — Groningen, 1952, стр. 15—17.

⁷ Там же, стр. 21; M. Schönhofeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. XXVI.

⁸ Ф. Энгельс, К истории древних германцев, стр. 454, 485; ср. также: Th. Frings, *Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen*, Halle, 1944, стр. 30—42; A. Weijnen, *Nederlandse Dialectkunde*, 2-de dr., Assen, 1966, стр. 390—408, 432, 456; R. Heeroma, *Ingwaecoens* (Ts. 58, стр. 198 и сл.; Ts. 65, стр. 266 и сл.); M. Schönhofeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. XXII—XXIV, XXVIII—XXXII, XLIII—XLIV.

попытки некоторых из них уточнить или пересмотреть старые «племенные» наименования языков⁹, приходят к следующим знаменательным выводам: «На современном этапе исследований мы считаем более осторожным и несомненно более практичным не отказываться от терминов „франкский“, „саксонский“ и „фризский“»¹⁰. Ср., с другой стороны: «Ингвеонский — это обобщенное наименование для группы близкородственных диалектов, на которых первоначально говорили на побережье Северного моря и важнейшими из которых были: фризский, саксонский (до его франкизации) и английский. Этот термин следует предпочесть наименованию „англо-фризский“, который, между прочим, без всякого основания предполагает более близкую связь между фризским и английским»¹¹. В этих высказываниях, приведенных из последнего издания труда авторитетнейших историков нидерландского языка, обнаруживается точка зрения, в основном совпадающая со взглядами Ф. Энгельса, сформулированными им в 80-х годах прошлого века.

В острой полемике по поводу франкского диалекта с М. Гейне и В. Брауне, формалистически растворявшими нижефранкский диалект частью в саксонском, частью в нидерландском¹², у Энгельса выкристаллизовывается и единственно правильное в научном отношении понимание диалектной основы нидерландского литературного языка (в обеих его разновидностях: фламандской и голландской). Он усматривает ее в диалекте салических франков — одной из главных ветвей франкских племен, противостоящей другой ветви — рипуарским франкам, говорившим на особом диалекте. Энгельс пишет: «В настоящее время нет более никаких сомнений относительно того, что салический диалект продолжает жить в обоих нидерландских диалектах, фламандском и голландском, и притом в наибольшей чистоте на тех территориях, которые уже с VI в. стали франкскими»¹³.

Таким образом, применительно к диалектной базе нидерландского языка абстрактно-схематическое понятие нижефранкского диалекта наполняется у Энгельса конкретно-историческим содержанием и вместе с тем ограничивается от понятия рипуарского диалекта Кёльнской области. Весьма существенным является тот факт, что Энгельс, рассматривая салический диалект в качестве основы как фламандской, так и голландской разновидности нидерландского языка, отнюдь не считает его однородным целым, являющимся диалектной базой для каждой из них в равной степени. Об этом свидетельствует немаловажная оговорка, что салический диалект продолжает жить «в наибольшей чистоте на тех территориях, которые уже с VI века стали франкскими». Энгельс имеет здесь в виду как раз южнонидерландский (фламандско-брабантский) ареал, в наибольшей степени сохранивший салическую специфику и наименее подверженный диалектному смешению и инодиалектному влиянию¹⁴.

⁹ Как известно, ряд германистов либо отказался от общего термина «ингвеонский», заменив его наименованиями типа «северозападногерманский» (у Хаммериха), либо уточнял его географически (как, например, Т. Фрингс): «прибрежный ингвеонский» или «ингвеонский северноморского побережья» (Küsteningwäonisch), «западно-и восточноингвеонский» (у Хееромы). Некоторые нидерландские историки считали «племенные» наименования совершенно несостоятельными в силу своей гипотетичности (как, например, Слехер ван Бат.). Ср.: M. Schönfeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. XXIV, XLIV.

¹⁰ Там же, стр. XXV.

¹¹ Там же, стр. XXX.

¹² См.: Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 518—519.

¹³ Там же, стр. 524.

¹⁴ Далее Энгельс уточняет свое понимание исконного салического ареала, включая в него, помимо фламандско-брабантской части Бельгии, также «Северный Брабант и Утрехт, а также Гелдерланд и Оверэйссел, за исключением восточной, саксонской полосы» (Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 525).

С другой стороны, говоря о северном ареале, первоначально заселенном фризами и (на северо-востоке) саксами, Энгельс с предельной четкостью формулирует свое теперь уже уточненное понимание смешанной по своему характеру диалектной основы северонидерландского (голландского) варианта литературного языка. Он пишет: «На западе он (фризский язык. — С. М.) был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским языком, на востоке и севере — саксонским и датским; но в обоих случаях он оставлял сильные следы в языке, который вытеснял его. Древнефризская Зеландия и Голландия сделались в XVI и XVII веках центром и опорным пунктом борьбы за независимость Нидерландов... Здесь поэтому преимущественно и складывался новонидерландский литературный язык, воспринимая фризские элементы, слова и формы слов, которые следует отличать от франкской основы. С другой стороны, с востока на прежние фризские и франкские территории проник саксонский язык»¹⁵. В приведенном отрывке дана в чрезвычайно сжатой форме исчерпывающая и глубоко научная характеристика языковых отношений, сложившихся в Нидерландах XVI—XVII вв. в связи с переносом центра языкового развития на Север и со смещением диалектной базы нидерландского литературного языка. Вместе с тем здесь очень ярко и убедительно показан гетерогенный, смешанный характер новонидерландского языка: необходимость выделения в нем основного франкского ядра и элементов ингвеонского (преимущественно фризского) субстрата. Интересно в этой связи, что зеландские и голландские земли Энгельс именует «древнефризскими», имея в виду их первоначальное заселение автохтонными фризскими племенами¹⁶. С другой стороны, отмеченное Энгельсом проникновение саксонского языка в восточнонидерландский ареал и контактирование его с франкским и фризским находит впоследствии подтверждение в некоторых точках зрения на возникновение groningenского диалекта (в частности, у Хойзинги, Хееромы и др.) и в гипотезе Хееромы о «восточноингвеонской инвазии» саксов на территорию северо-восточных Нидерландов в IV—V вв.¹⁷

Чрезвычайно важное значение имеет последовательно проводимое Энгельсом разграничение салического франкского диалекта (на базе которого сложился нидерландский язык) и рипуарского франкского (на территории Германии). Устанавливая между ними тесные связи, обусловленные их близким родством, он вместе с тем выявляет определенные признаки их дифференциации и намечает диалектные границы между ареалами их распространения, которые, однако, как подчеркивает Энгельс, не совпадают с нидерландско-германской границей¹⁸. Очень тонким и интересным в историко-лингвистическом плане представляется утверждение Энгельса, что рипуарский диалект в ряде случаев обнаруживает большее сходство с средненидерландским языком, чем с новонидерландским, в силу проникновения в последний инодиалектных (ингвеонских) элементов, изменивших его специфику¹⁹.

Весьма плодотворным является обильное и систематическое привлечение Энгельсом диалектного материала, широко используемого им для

¹⁵ Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 524—525.

¹⁶ Ср.: С. G. N. de Vooys, указ. соч., стр. 21. Автор фактически подтверждает эту точку зрения. Ср. также: M. Schöpfung, A. van Leeuwen, указ. соч., стр. XXV, XXIX—XXX. Последний, правда, не включает в древнефризский ареал зеландскую и западно-фламандскую диалектные области, пытаясь объяснить имеющиеся в них «ингвеонизмы» влиянием других ингвеонских племен, якобы живших на этой территории.

¹⁷ См.: «Tijdschrift voor Nederlandsche taal-en letterkunde», 58, стр. 198 и сл.; «Nieuwe Taalgids», 37, стр. 1 и сл.: A. Weijnen, указ. соч., стр. 399.

¹⁸ Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 527—528.

¹⁹ Там же, стр. 529.

обоснования фактов истории языка. В отношении немецких диалектов на это обратил внимание В. М. Жирмунский: «Но что имеет принципиальное, методологическое значение, данные древних письменных диалектов Энгельс контролирует показаниями современных живых народных говоров»²⁰. Это в полной мере относится и к оценке Энгельсом материала нидерландских территориальных диалектов, являющегося ключом к пониманию целого ряда процессов развития литературного языка. Энгельс пишет: «Более обстоятельное исследование нидерландских народных говоров, наверное, откроет еще не мало важного»²¹.

Ф. Энгельс не ограничивается в своем исследовании выявлением места нидерландского языка среди ряда других западногерманских языков, выяснением специфики его диалектной основы и характеристикой общей линии его исторического развития. Он выделяет и наиболее существенные структурные признаки нидерландского языка (обнаруживаемые им как на фонетическом, так и на морфологическом уровнях), для раскрытия и обоснования которых он привлекает большой конкретно-лингвистический материал.

Касаясь нидерландского вокализма, Энгельс останавливается, прежде всего, на явлении понижения (расширения) кратких гласных $i > e$ (в разных позициях), $u > o$ (особенно последовательно в позиции « $m, n +$ согласный») типа: *brenghen* (<*bringen*) «приносить», *hemel* (<*himel*) «небо», *geweten* (ср. нем. *gewissen*) «совесть», *ben* (<*bin*) форма 1-го лица ед. числа глагола «быть», *stem* (ср. нем. *Stimme*) «голос», *mond* (<*mund*) «рот», *hond* (<*hund*) «собака», *jong* (<*jung*) «молодой», *ons* (<*uns*) «нам; нас» и др.²² и совершенно справедливо считает его одним из характерных фонетических признаков нидерландского литературного языка, восходящих к древней франкской специфике. Он аргументирует это примером из текста формулы присяги к капитулярию Карломанна (743 г.): *es forsacho* «я отрекаюсь», где *es* вместо *ich* и теперь еще очень распространено среди франков²³. В качестве дополнительного материала, свидетельствующего о большой древности этого явления, Энгельс привлекает также данные саллической антропонимии. Устойчивый общефранкский характер понижения $i > e$, $u > o$ подкрепляется также материалом современных нижнефранкских и среднефранкских диалектов²⁴. В этой связи очень существенным является следующее замечание Энгельса: «Если литературный нидерландский язык имеет *ik*, то в народной речи, о с о б е н н о в о Ф л а н д р и и (разрядка наша. — С. М.), довольно часто приходится слышать *ek*»²⁵. Весьма примечательно здесь прямое указание на фламандский ареал, который, судя по новейшим данным, полученным в результате анализа обширного средненидерландского и новонидерландского языкового материала, является бесспорно очагом расширения²⁶. Особен-

²⁰ В. М. Ж и р м у н с к и й, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 46—47; ср. также: В. М. Ж и р м у н с к и й, «Франкский диалект» Энгельса и проблемы немецкой диалектологии, «Ин. яз. в шк.», 1954, 5, стр. 8.

²¹ Ф. Э н г е л ь с, Франкский диалект, стр. 527.

²² Там же, стр. 525.

²³ Там же, стр. 523. Об этом свидетельствует также Р. Брух (см.: R. B r u c h, Das Luxemburgische im westfränkischen Kreis, 1954, стр. 60—65; ср. также: В. М. Ж и р м у н с к и й, Введение ..., стр. 179—180).

²⁴ Ср. приводимые Энгельсом аналогичные формы с *-e* из соседних немецких рипуарско-франкских говоров: *eich* (в Трире и Люксембурге), *ech* (в Кёльне и Аахене), *ék* (в бергском диалекте).

²⁵ Ф. Э н г е л ь с, указ. соч., стр. 523. Это очень меткое наблюдение Энгельса подтверждается данными современного фламандского разговорного языка. Даже в устах образованных горожан здесь можно слышать *ek* вместо *ik*.

²⁶ Понижение $u > o$ также широко представлено во фламандских диалектах, но все же оно более типично для брабантской диалектной области (а также для рипуарского).

но интенсивно осуществляется этот процесс в восточнофламандских диалектах, наиболее последовательно отражающих эту тенденцию, свойственную древнему языку салических франков²⁷. Позиционно ограничено явление расширения в западнофламандском.

Очень существенным в историко-лингвистическом плане является положение Энгельса о более последовательной реализации понижения гласных *i* и *u* в средненидерландском языке по сравнению с новонидерландским. Он иллюстрирует это положение следующими очень показательными примерами: ср.-нид. *gewes* вместо нов.-нид. *gewis* «определенный», ср.-нид. *es* вместо нов.-нид. *is* — 3-е лицо ед. числа наст. вр. глагола «быть», ср.-нид. *blent* — нов.-нид. *blind* «слепой», ср.-нид. *selver* — нов.-нид. *zilver* «серебро», ср.-нид. *konst* — нов.-нид. *kunst* «искусство», ср.-нид. *gonst* — нов.-нид. *gunst* «покровительство» и др.²⁸.

Средненидерландским формам с *e*, *o* в корне здесь четко противостоят новонидерландские варианты с узкими гласными *i*, *u* в корне. Раскрывая значение этих примеров, Энгельс пишет: «Средненидерландский язык, выросший на чисто франкской почве, в этом отношении вполне согласуется с рипуарским; но уже в меньшей степени — литературный новонидерландский язык, подвергшийся фризскому влиянию»²⁹.

В этом утверждении заключается очень существенный вывод, что, если средненидерландские (франкские в своей основе) формы с *e* вместо *i* и с *o* вместо *u* присущи, главным образом, фламандско-брабантским и (близким к рипуарскому) лимбургским диалектам, то соответствующие им новонидерландские (литературные) формы с узкими вариантами гласных (*i* и *u*) являются голландскими по своему происхождению, а специфика их обусловлена воздействием ингвеонского (фризского) субстрата. С другой стороны, Энгельс констатирует и случаи совпадения огласовки в средненидерландском и новонидерландском (при наличии и здесь и там расширения рассматриваемых гласных), как, например: *brenghen*, *ben*, *mond*, *hond*, *ons* и др.³⁰. Оперирование этими разнообразными примерами и истолкование их свидетельствует о том, что Энгельс отчетливо осознавал гетерогенный характер литературной нормы нидерландского языка, в которой широкие варианты гласных (*e*, *o*) отражают южнонидерландскую (фламандско-брабантскую) диалектную специфику, а узкие варианты (*i*, *u*) являются рефlekсами севернидерландских (голландских) черт.

Останавливаясь на нидерландском вокализме, Энгельс бегло затрагивает и ряд других существенных явлений и процессов, сопоставляемых им с немецкими и рипуарскими диалектными особенностями. Так, характеризуя дифтонгизацию долгих гласных $\hat{i} > ei$, $\hat{u} > ui$ как новонидерландское явление, он отмечает ее отсутствие в рипуарском и, по-видимому, в средненидерландском языке³¹, где сохраняются старые долгие. Не ограничиваясь этими общими замечаниями, Энгельс уточняет фонетическую специфику нового дифтонга *ei* ($< \hat{i}$), подчеркивая его относительно

²⁷ По-видимому, Энгельс подмечает и это, так как приводит характерный пример из области гентской (т. е. восточнофламандской) топонимики: *Destelbergen* и *Desteldonk* (*destel* вместо *distel* «чертополох»). См.: Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 525.

²⁸ Там же, стр. 525, 529.

²⁹ Там же, стр. 525.

³⁰ Там же.

³¹ Там же, стр. 525—526. В свое время Ф. Энгельс не мог знать о раннем зарождении дифтонгизации $\hat{i}$, $\hat{u}$ в брабантском ареале в XIII—XIV вв., т. е. еще в средненидерландский период, тем более, что она, как правило, не отражалась в орфографии литературных памятников (диграфы *ij* и *ui*, *uy* обозначали первоначально долгие гласные).

узкий характер, отличный от верхненемецкого *ai* и почти совпадающий со старым нидерландским дифтонгом *ei* (но менее узкий, чем датское и славянское *ej*)³². Попутно отмечается также более закрытый характер нидерландского старого дифтонга *ou*, *ouw*, соответствующего верхненемецкому *au*. Очень кратко касается Ф. Энгельс также вопроса об умлауте и возможности использования его в морфологических целях. Как известно, умлаут не получил широкого распространения в нидерландском литературном языке и, в результате выравнивания форм, не был использован в качестве продуктивного средства выражения тех или иных грамматических категорий (как это имело место в немецком языке). По этому поводу Энгельс пишет: «Перегласовка исчезла из флексии. В склонении единственное и множественное число, а в спряжении изъявительное и сослагательное наклонения имеют одну и ту же корневую гласную»³³. При этом он подчеркивает резкое отличие в этом отношении нидерландского языка от рипуарского диалекта, где условия «в общем совпадают с верхненемецким языком, а в отдельных исключительных случаях с саксонским»³⁴. Однако Энгельс указывает на ряд случаев проявления умлаута в нидерландском языке в словобразовании, имея в виду перегласовку краткого *a* в *e* (перед *i*) и специфически нидерландские формы умлаута: от долгого *u* > *ÿ* (типа *hûs* «дом») и от долгого *ê* (< *ai*) > *ei* (типа *reîn* «чистый»), отсутствующие в рипуарском. К явлению перегласовки Энгельс совершенно правильно и с глубоким знанием дела относит также возникновение долгого *ei* [ɛ:] из краткого *o* (верхненем. *u*) в результате палатализации последнего в открытом слоге. Обнаруживая в средненидерландском параллельные варианты формы с *ei* и *o* (типа ср.-нид. *jeughet* наряду с *joghet*, нов.-нид. *jeugd* «молодость; молодежь»; *deur* наряду с *dor* «дверь» и др.), Энгельс говорит о «проникновении» в этот язык *ei* вместо *o* (и наряду с *o*). Он предвосхищает, тем самым, новейшую гипотезу о незавершенности в средненидерландском процесса реализации *ei* как самостоятельной фонемы (она стабилизировалась, по-видимому, лишь к концу переходного периода, т.е. к XVI—XVII вв.)³⁵.

В сфере консонантизма Ф. Энгельс отмечает, прежде всего, спирантный характер согласного *g* (особенно в интервокальной позиции и в ауслауте) как наиболее типичный признак нидерландского, восходящий к общефранкской специфике. Он пишет: «...нидерландский язык не знает чистого *g* (заднеязычного итальянского, французского или английского *g*). Эта согласная произносится как сильно придыхательное *gh*, которое в некоторых сочетаниях звуков не отличается от глубоко заднеязычного (швейцарского, новогреческого или русского) *ch*»³⁶. И далее: «...все франки лишены возможности произносить звук *g* в середине и конце слова иначе, как звонкий *ch*»³⁷. Наряду с констатацией

³² Там же, стр. 525.

³³ Там же, стр. 525—526.

³⁴ Там же, стр. 529. Ср. также: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, стр. 185—193; е го же, Умлаут в немецких диалектах с точки зрения исторической фонологии, в кн.: «Академику В. В. Виноградову к его 60 летию», М., 1956, стр. 137—146; M. Schö n f e l d, A. v a n L o e u, указ. соч., стр. 40—47.

³⁵ Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 526. Автор отмечает, что «это вполне совпадает с развившимся начиная с XII в. северофранцузским *eu* вместо латинского *o* под ударением».

³⁶ Там же, стр. 526.

³⁷ Там же, стр. 543. Ср. также: В. М. Жирмунский, Введение ..., стр. 150—151, 177—178; M. Schö n f e l d, A. v a n L o e u, указ. соч., стр. 17. Эту характеристику следовало бы дополнить указанием на то, что спирантный характер *g* проявляется и в начале слова, а также, что эта черта общая у франкского и со всеми ингвеонскими диалектами (а не только с саксонским).

весьма существенного признака спирантности нидерландского и общесалического *g*, здесь очень тонко подмечается его тенденция к оглушению в определенных комбинаторных условиях и его «глубоко заднеязычный» характер. Подчеркивая древность спирантного *g* в салическом франкском диалекте³⁸, Энгельс оперирует, между прочим, примером из вышеупомянутой формулы присяги: *es forsacho* «я отрекаюсь», где вместо смычного *g* в интервокальном положении стоит *ch*, свидетельствующее о спирантном характере согласного³⁹. Сопоставляя нидерландское *g* (звонкий спирант) и глухой его вариант *ch* с рипуарско-франкскими *g* и *ch*, Энгельс устанавливает между ними тонкие различия, проявляющиеся в степени интенсивности их артикуляции как спирантов. Нидерландское *g* определяется им как более сильное, рипуарско-франкское — как более слабое⁴⁰.

К общесалическим особенностям, находящим свое отражение и в нидерландском консонантизме, Энгельс относит также спирантный характер интервокального *b*, переходящего в *w* (ср. в нид. *leben* > *leven* «жить»). Однако он затрагивает этот вопрос лишь вскользь и применительно к рипуарскому диалекту⁴¹.

Непосредственное отношение к нидерландскому консонантизму имеет также выделение Энгельсом еще одного характерного общесалического признака — устойчивого сохранения *n* перед глухими спирантами (преимущественно *s* и *ʃ*), типа: др.-н.-франк. *munt* «уста»; *kunt* «известный»; *uns* «нам; нас»; *andar* «другой» и т. д. (ср. в нид. *mond*, *kond*, *ons*, *ander* и др.)⁴². Особенно показательно сохранение *n* перед спирантами для восточнофламандского и брабантского ареалов, отражающих в данном случае старую салическо-франкскую диалектную специфику. Энгельс противопоставляет этой исключительно франкской черте выпадение *n* в указанной позиции как типично ингвеонскую особенность, присущую древнефризскому, древнесаксонскому и англосаксонскому — лишь в разной пропорции (ср. примеры: *mudh*, *kudh*, *us*, *odhar* и др., извлеченные из «Гелианда»). Он приводит также редкие случаи лишенных *-n* форм из древних франкских памятников, трактуя их как ингвеонские реликты⁴³.

Далее Энгельс останавливается на двух очень типичных явлениях именно нидерландского консонантизма: на выпадении интервокального *-d-* и на вокализации *l* перед дентальными (в сочетаниях *al*, *ol* + *d*, *t*)⁴⁴.

Говоря о выпадении *-d-* между гласными, он усматривает, однако, общность этого явления с аналогичными процессами в саксонском и в скандинавских языках и очень верно отмечает максимальную частотность его в нидерландском в позиции между двумя *e* (в лексемах типа: *leder* > *leer* «кожа»; *weder* > *weer* «погода; опять»; *neder* > *neer* «вниз»), но приводит и другие типичные случаи (*vader* > *vaer* «отец», *moeder* > *moer* «мать» и др.).

³⁸ Энгельс отмечает наличие спирантного *g* не только в салическом, но частично и в рипуарско-франкском, а также в саксонском (Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 526, 530).

³⁹ Там же, стр. 523, 526.

⁴⁰ Там же, стр. 530.

⁴¹ Там же, стр. 543, 545. Ср. также: В. М. Жирмунский, Введение..., стр. 151—152, 177—178.

⁴² Энгельс показывает, что древние салические памятники также везде сохранили *n*, в частности, в именах собственных: *Gund*, *Segenand*, *Chlodosindis*, *Ansbertus* и т. д. (см.: Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 521).

⁴³ Там же, стр. 520—521. Ср.: В. М. Жирмунский, Введение..., стр. 144—146, 177; М. Schönfeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. XXXIII, 25—28.

⁴⁴ Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 526—527.

Явление вокализации *l* перед дентальными *d*, *t* (в сочетаниях типа: *ald*, *alt*, *old*, *olt* > *oud*, *out*) как типично нидерландская особенность также рассматривается Ф. Энгельсом на широком фоне исторических связей и сопоставлений с другими германскими языками⁴⁵. Констатируя отсутствие этого явления во всех континентальных германских языках, он обнаруживает, однако, аналогичный процесс вокализации *l* в современном английском ланкаширском диалекте (в формах: *gowd*, *howd*, *owd*, вместо *gold*, *hold*, *old*). В отношении нидерландского ареала отмечается реализация этого явления уже в средненидерландском и непоследовательный ее характер (сохранение вариантных форм типа: *guldin*, *hulde*, *sculde*)⁴⁶. Отсутствие у Энгельса указаний на территориальные ограничения вокализации *l* в средненидерландском может только свидетельствовать о его прекрасной осведомленности в том, что это явление охватывало тогда уже всю основную языковую территорию Нидерландов (как фламандско-брабантский, так и голландский ареалы), за исключением северо-восточной и частично юго-восточной реликтовых областей, которые он в данном случае не учитывал, относя их соответственно к саксонскому и немецкому языковым ареалам⁴⁷.

Нельзя не отметить, что Энгельс учитывает и целый ряд более частных особенностей нидерландского консонантизма, как например: сохранение сочетания согласных *wr* в анлауте (типа: *wringen* «крутить», *wreed* «жестокый», *wreken* «мстить») в противоположность верхнемецкому отпадению начального *w* в этом сочетании⁴⁸; отражение *sch* (< *sk*) как *sx* (*s* + *ch*) в начале слова⁴⁹, а также явление палатализации *k* перед гласным переднего образования, особенно в формах уменьшительного суффикса *-tje*, *-je*⁵⁰ (см. об этом ниже).

Значительное внимание во «Франкском диалекте» уделяется и особенностям морфологии нидерландского языка.

В сфере склонения и образования множественного числа существительных Энгельс отмечает одну из самых характерных и самобытных черт нидерландского языка, отличающих его от ряда других близкородственных германских языков (и в первую очередь, от немецкого), а именно: интенсивное стирание различий между сильным и слабым склонением и неиспользование умлаута как морфологического показателя категории множественного числа. Он пишет по этому поводу: «Нидерландское склонение обнаруживает полное смешение сильных и слабых форм, а так как перегласовки во множественном числе также не бывает, то нидерландские образования множественного числа совпадают с рипуарскими или саксонскими только в очень редких случаях, и в этом также состоит весьма ощутительная особенность нидерландского языка»⁵¹. Не ограничиваясь

⁴⁵ Там же, стр. 526. Ср. также: M. Schö n f e l d, A. v a n L o e y, указ. соч., стр. 70—71.

⁴⁶ Возникновение этих вариантных форм вызвано *i*-умлаутом, в условиях которого вокализации *l* не происходит.

⁴⁷ Характерно, что в восточнонижнефранкских «Вахтендонкских псалмах» вокализации *l* не наблюдается (ср.: *golt* «золото», *geuult* «сила», *uuolda* «хотел» и др.). Невокализованный согласный сохранялся и в древнефризском (ср.: *âld* «старый», *kâld* «холодный» и т. п.).

⁴⁸ Ф. Э н г е л ь с, Франкский диалект, стр. 527, 529. Интересно, что отмечаемый автором переход *wr* > *fr*, свойственный рипуарскому, имеет аналогию в нидерландском общинно-разговорном языке и в целом ряде диалектов, где *wr* также переходит в *vr* (уже в XVI в.). Это связано с изменением его артикуляции и частичным оглушением.

⁴⁹ Там же, стр. 532.

⁵⁰ Там же, стр. 527.

⁵¹ Там же.

этим очень существенным замечанием, Энгельс выделяет среди нидерландских суффиксов множественного числа, прежде всего, форматив *-s* как один из наиболее продуктивных и широко распространенных⁵². Сопоставляя сферы их употребления в нидерландском и рипуарском, он приходит к важному выводу, что они «почти никогда не совпадают». Это действительно так, так как лексемы, к которым он присоединяется, в обоих языках не являются идентичными.

Вскользь касаясь вопроса о грамматическом роде, Энгельс приводит лишь один, но, тем не менее, весьма яркий пример колебания в роде существительного — нид. *beek* (нем. *Bach*) «ручей», которое, в отличие от немецкого языка (где оно сохраняет принадлежность к мужскому роду), во всех салических и рипуарских диалектах⁵³ (а следовательно, и в нидерландском) имеет тенденцию переходить в женский род.

Останавливаясь кратко на местоимениях, Энгельс привлекает для иллюстрации своего положения об общности франкской и ингвеонской специфики их структуры — в противоположность верхненемецкой — также нидерландские формы: *hi* «он», *de* (определенный артикль), *die* «тот, та, те» (указательное местоимение), *wie* «кто». Все они, продолжая древние салические формы (совпадающие структурно и с рипуарскими), характеризуются отсутствием элемента *r* как признака именительного падежа⁵⁴.

Касаясь системы спряжения, Энгельс констатирует отсутствие флексии *-n* в 1-м лице настоящего времени глагола в салических диалектах и, тем самым, в нидерландском в отличие от рипуарских диалектов, для которых она как раз характерна (типа: *dat dōn ek* «я это делаю») ⁵⁵, а также отмечает унифицированную форму для всех лиц множественного числа настоящего времени глагола (на *-d*, *-dh*, *-th* с выпадением *-n*) во всех ингвеонских диалектах (однако, без ссылки на саксонский ареал нидерландской языковой территории, которому она была также свойственна) ⁵⁶. Между прочим, известное, «вполне современное объяснение» ⁵⁷ Энгельсом унифицированных форм множественного числа глагола [на *-(ō)nd*, *-(e)nt*], встречающихся в Коттонской рукописи «Гелианда» и сопоставляемых им с формами современного бергского диалекта⁵⁸, полностью применимо и к некоторым смешанным франкско-саксонским и франкско-фризским нидерландским диалектам, в которых отмечается выравнивание форм множественного числа не по фризскому или саксонскому типу (с обобщением конечного дентального согласного), а с характерным сохранением франкской специфики, т. е. с унификацией по трем лицам флексии *-en* (как, например, в диалектах Кемпена или Западной Велюве).

Обращает на себя внимание и интерес Энгельса к особенностям нидерландского словообразования. Он останавливается, в частности, на вариантных палатализованных формах уменьшительного суффикса *-ken*: *-tje*, *je* (типа: *mannetje* «человечек», *halsje* «шейка» и др.), совершенно спра-

⁵² Там же, стр. 529.

⁵³ Там же, стр. 542. Относясь первоначально к лексемам мужского рода (кратко-сложным *i*-основам), это существительное колеблется в роде в средненидерландском (уже с заметным перевесом в сторону женского рода, особенно во фламандском ареале), с тем, чтобы под южнонидерландским влиянием закрепиться за женским родом в современном нидерландском литературном языке и в ряде его диалектов (ср.: С. А. М и р о н о в, Морфология имени в нидерландском языке, М., 1967, стр. 34, 59—61).

⁵⁴ Ф. Э н г е л ь с, Франкский диалект, стр. 527.

⁵⁵ Там же, стр. 522—523. Спорадически встречающиеся формы 1-го лица глагола с окончанием *-n* в средненидерландском были, по-видимому, неизвестны Ф. Энгельсу.

⁵⁶ Там же, стр. 519—520.

⁵⁷ Как его характеризует Т. Фрингс (см.: Т. Ф р и н г с, указ. соч., стр. 221).

⁵⁸ Ф. Э н г е л ь с, Франкский диалект, стр. 520.

ведливо объясняя в них палатализацию $k > tj > j$ ингвеонским (фризским) влиянием: «Из фризского языка нидерландский язык заимствовал смягчение уменьшительного окончания *ken* в *tje*, *je...*»⁵⁹. Утверждение это подкрепляется позднейшими исследованиями и материалом современных нидерландских диалектов⁶⁰. Очагом этого явления считают ныне Западную Фрисландию, где в XIII—XIV вв. *k* подверглось палатализации (перед последующим *i*) и постепенно стало распространяться на юг, охватив в первую очередь Голландию.

Отмечая, что непалатализованная вариантная форма уменьшительного (на *-ken*, типа *manneken*) лучше сохраняется во фламандском диалекте, Энгельс очень точно определяет ее ареальную принадлежность и четко ограничивает ее от северонидерландского (голландского) варианта (на *-tje*, *-je*)⁶¹.

Выявляя географическую дифференциацию западногерманской диалектной лексики, Энгельс попутно затрагивает и нидерландский ареал. В качестве иллюстративного материала он приводит нид. *baten* «приносить пользу; быть полезным», *zeker* «некий; определенный», *mus(ch)* «воробей», восходящие к общефранкской лексической прослойке, а поэтому находящие свое отражение и в пфальцских говорах Германии⁶².

Наконец, Энгельс обращается и к данным нидерландской топонимики для доказательства своего положения об общности целого ряда географических названий всему западногерманскому ареалу независимо от той или иной его племенной специфики⁶³. Эти данные могут быть, однако, использованы как дополнительный материал для изучения истории нидерландского языка и выявления общефранкских (а также ингвеонских и арминьонских) диалектных особенностей. Рассматриваемые им древние топонимы, встречающиеся и на территории Нидерландов, представляют собой сложные слова со вторыми компонентами: *-willer*⁶⁴, *-hoven*⁶⁵, *-ingen*⁶⁶, *-hausen* (нид. *-huizen*)⁶⁷, *-ham* (юго-вост. и нем. *-heim*)⁶⁸, *-beek* (ср. нем. *-bach*), *-loo*⁶⁹ и др. Оформление этих лексем (при общности их корней в различных западногерманских ареалах) отражает диалектную

⁵⁹ Там же, стр. 527. Ср. также: В. М. Жирмунский Введение ..., стр. 149—150; Т. Фрингс, указ. соч., стр. 220.

⁶⁰ См.: M. Schönfeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. 221—223; A. Weijnen, указ. соч., стр. 334—335; W. Pée, Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva, I—II, 1936—1938.

⁶¹ Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 527. Ср. в этой связи аналогичное замечание Шёнфельда: «Ныне *-ke* употребляется ... прежде всего в южных диалектах» (M. Schönfeld, A. van Loeu, указ. соч., стр. 218).

⁶² Ф. Энгельс, Франкский диалект, стр. 532, 545—546.

⁶³ Там же, стр. 528, 535—541.

⁶⁴ Ф. Энгельс находит два из них: *Waaswiler* и *Nuswiler* на территории Нидерландов. Для них характерно сокращение долготы корневого гласного (*i* > *e*) в *-wiler* и отсутствие дифтонгизации *i* > *ei* (ср. нем. *-weiler*) (там же, стр. 535).

⁶⁵ Энгельс обнаруживает большое количество топонимов на *-hoven* как в Нидерландах, так и в Бельгии (ср. *Orphoven*, *Kinkhoven* и др.) и отмечает также расположенные на юго-западе его варианты формы на *-hove* и *-hof*. По мнению Энгельса, *-hoven* носит общефранкский характер (там же, стр. 535—536).

⁶⁶ Очень широкое распространение на территории Нидерландов и Бельгии топонимов на *-ingen* увязывается Энгельсом с их одновременно ингвеонской и франкской спецификой (там же, стр. 537—539).

⁶⁷ Нидерландские топонимы на *-hutzen* подтверждают положение Энгельса об очень широком распространении этого образования во всем западногерманском ареале.

⁶⁸ Рассматривая вариантную форму *-ham* как исконно салическую, Энгельс противопоставляет ей юго-восточный вариант *-heim* (лит. нид. *-hem*), зарегистрированный им в зоне, пограничной с рипуарским ареалом (там же, стр. 540).

⁶⁹ Оба топонима относятся к общефранкскому ареалу.

специфику и проявляется в сосуществовании вариантных форм (типа: *-hoven, -hove, -hof; -ham, -het, -heim*), очень тонко и с большой эрудицией анализируемых Энгельсом в его работе.

Подводя итоги, следует отметить чрезвычайно широкий охват Энгельсом в его «Франкском диалекте» нидерландского языкового материала (на всех его уровнях), его исключительную осведомленность в вопросах истории нидерландского языка и его диалектологии, а также большую научную ценность и актуальность целого ряда его положений, во многом предвосхитивших выводы позднейших исследователей. Роль Энгельса в изучении истории нидерландского языка до сего времени еще не учтена и совершенно не оценена по достоинству в зарубежной нидерландистике, а между тем указанный труд его является несомненно основополагающим научным исследованием и в этой области германского языкознания.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

НАЗЫВАНИЕ И ПОЗНАНИЕ В ТЕОРИИ ГРАММАТИКИ

В течение последнего полувека основной тенденцией структуралистской теории грамматики было то, что можно назвать принципом формальности описания. Подчеркивалась важность ф о р м ы описания грамматической действительности, того, к а к эта действительность описывается, с помощью каких понятий, в каких терминах. Тем самым как бы подразумевалось, что сама по себе грамматическая действительность конкретных языков для грамматиста-теоретика — нечто известное, не то, что должно быть познано, а то, что должно быть определенным образом описано. Другими словами, структуралистская теория грамматики ставила своей целью открытие нового не в самой грамматической действительности, а в методах ее описания.

Одно из наиболее очевидных проявлений принципа формальности описания в структуралистской теории грамматики заключалось в том, что, как правило, всякий грамматист-теоретик стремился построить свою систему описания грамматической действительности, т. е. описать ее в своих собственных терминах и тем самым в возможно большей степени освободиться от традиционной терминологии (примеры таких описаний здесь не приводятся, так как сделать это слишком легко, и наоборот, исключения из того, что было правилом, не приводятся, так как сделать это слишком трудно). Правда, превратиться в грамматического Адама далеко не всегда удавалось. Выгоняя в одну дверь термины «существительное», «глагол» и т. п., грамматист сплошь и рядом оказывался вынужденным впустить их назад через другую дверь переодетыми как «слова класса № 1» и т. п., и читатель, как на маскараде, с удивлением узнавал своих старых знакомых в маскарадных костюмах. Вместе с тем, введение новых терминов, естественно, очень затемняло различие между новшеством формальным и новшеством содержательным или даже делало невозможным обнаружение того, что могло быть новшеством содержательным. Но ведь в том и заключается формальность описания, что важно — формальное новшество, а не содержательное. Именно поэтому введение новых терминов — это всегда проявление формальности описания.

Всякое введение нового термина — это в большей или меньшей степени замена вопроса «что собой представляет данное явление?» вопросом «как следует называть данное явление?». Такая замена особенно очевидна в том случае, когда новые термины как бы заданы общей тенденцией развития терминологии в данной области. Так, в структуралистской теории грамматики развитие грамматической терминологии было в значительной степени задано так называемой теорией изоморфизма, т. е. общей тенденцией переноса фонологических терминов в теорию грамматики. Очевидно, что в этом случае вопрос о том, что собой представляют

те или иные грамматические явления, заменялся чисто терминологическим вопросом о том, что называть терминами «морфема» («семема») «морф» («сема»), «алломорф», «архиморфема» и т. п., образованными по аналогии с фонологическими терминами «фонема», «фон», «аллофон», «архифонема» и т. д., или какие уже известные грамматические явления называть фонологическими терминами «оппозиция», «нейтрализация» и т. п.

Само собой разумеется, что ответ на вопрос, что следует называть тем или иным заранее заданным термином, не только не раскрывает что-то новое в объекте исследования, но и неизбежно влечет за собой упрощение фактов, их схематизацию. Это хорошо иллюстрирует сборник ответов, который Мартине опубликовал в 1967 г.¹ Несколько десятков видных ученых разных стран высказали в этом сборнике свои предложения относительно того, какие грамматические явления следует называть «нейтрализациями». Все эти явления были, естественно, известны и раньше, хотя назывались иначе или не назывались особым термином, и в данном сборнике трактуются по необходимости кратко и упрощенно. Границы возможного в структуралистской теории грамматики были раскрыты, таким образом, с максимальной четкостью в этой классической в своем роде антологии, и это, несомненно, большая заслуга Мартине, инициатора и редактора сборника².

В дескриптивной лингвистике принцип формальности описания выражен в самом названии этого направления лингвистических исследований. В сущности, формальность описания можно было бы назвать также принципом дескриптивности или дескриптивизмом. Этот принцип последовательно проведен уже в главах, посвященных грамматике в книге «Язык» Блумфилда, который справедливо считается основоположником дескриптивной лингвистики. Блумфилд (в противоположность например, Сепиру) не интересуется сущностью грамматических явлений. Во всяком случае, он не делает ни малейшей попытки сказать о ней что-либо новое. По-видимому, она представляется ему известной из существующих описаний грамматического строя конкретных языков. Термины, которые он вводит, — «языковая форма», «свободная» и «связанная», «сложная» и «простая», «модуляция», «модификация», «селекция», «семема», «тагмема», «эписема» и т. д. — это все названия для вещей, которые были хорошо известны и раньше. Главы, посвященные теории грамматики в его книге «Язык» (как и соответствующие постулаты в его знаменитом «Наборе постулатов для науки о языке»), — это перечни таких терминов. По концепции Блумфилда такие термины должны обеспечить возможность научного описания грамматического строя конкретных языков, а теория грамматики — свестись к созданию таких терминов.

Уже в главах, посвященных теории грамматики в книге Блумфилда «Язык», выдвигается, хотя и не очень четко, требование, которое впоследствии сыграло огромную роль в структуральном языкознании и которое, в сущности, представляет собой квинтэссенцию принципа формальности описания. Речь идет о требовании простоты описания³. Смысл этого требования заключается, конечно не в том, что его выполнение обеспечивает

¹ «La notion de neutralization dans la morphologie et le lexique», «Travaux de l'Institut de linguistique, Faculté des lettres de l'Université de Paris», II, 1957.

² Об использовании фонологических терминов в грамматике см. также статью автора в сборнике в честь А. Мартине: М. И. Стевлин-Каменский, Изоморфизм и «фонологическая метафора», «Word», 23, 1—2—3, 1967, стр. 494—499 («Linguistic studies presented to André Martinet»). См. также: М. И. Стевлин-Каменский, Neutralization, the word and the thing, «Philologica Pragensia», XI, 1, 1968, стр. 29—32.

³ Ср. например: «Выбрав один путь, мы приходим к излишне усложненному описанию, а выбрав другой — к сравнительно простому» (Л. Блумфилд, Язык, М.,

«простоту» в обывательском смысле этого слова, т. е. понятность, ясность, четкость, доступность и т. п. (очевидно, конечно, что переформулировка в новых терминах, которую вызывает выполнение этого требования, делает описание, как правило, менее понятным, а иногда и совсем непонятным), а в том, что подчеркивается важность формы описания, т. е. утверждается примат формы описания над его содержанием.

Принцип формальности описания лежит в основе всех дескриптивистских теорий грамматического описания. Чтобы проанализировать каждую из них по отдельности, понадобились бы тома. Но едва ли это когда-нибудь окажется необходимым, ибо, насколько изощренны и сложны процедуры, предлагаемые этими теориями, настолько элементарен и очевиден принцип, лежащий в их основе. Принцип этот лежит в основе и теории трансформационной грамматики, поскольку эта теория сводится к требованию формализации, или переформулировке в математических терминах, того, что уже известно, причем известно не только науке, но и каждому говорящему на данном языке, а именно — тех правил, которыми фактически пользуется каждый говорящий на данном языке в своей речевой деятельности.

Но выражение принципа формальности описания, сыгравшее наибольшую роль в языкознании и, в частности, в теории грамматики, — это, несомненно, знаменитое утверждение Ельмслева о том, что описание должно быть непротиворечивым, исчерпывающим и предельно простым, причем требование непротиворечивости должно предшествовать требованию исчерпывающего описания, а требование исчерпывающего описания должно предшествовать требованию простоты⁴. Утверждение Ельмслева, конечно, — лишь развернутое и усложненное требование простоты описания. Очевидно, что непротиворечивость описания подразумевает описание того, что уже известно, в терминах, удовлетворяющих определенным требованиям, а именно — в терминах непротиворечивых, т. е. согласованных между собой, симметричных, образующих стройную систему и т. д., в частности, терминов, образованных с помощью одних и тех же суффиксов (-ема, -оид и пр.). Формальность требования исчерпывающего описания не так ясна. Однако, что должно быть исчерпано в описании, согласно этому требованию? Все, что можно узнать об объекте описания, все возможности его познания? Очевидно, нет: ведь эти возможности бесконечны, и абсурдно было бы требовать их исчерпания. Исчерпать можно только конечное, т. е. то, что уже известно об объекте описания. Следовательно, исчерпывающее описание — это такое описание, в котором учитывается все, уже известное об объекте описания. Но так как, согласно Ельмслеву, требование непротиворечивости предшествует требованию исчерпывающего описания, то, следовательно, тем, что уже известно об объекте описания, можно пренебречь, если оно не укладывается в непротиворечивое описание. Что же касается требования простоты описания, то оно, согласно Ельмслеву, применяется тогда, когда нужно сделать выбор между несколькими непротиворечивыми и исчерпывающими описаниями⁵, т. е. оно есть требование формальности описания, так сказать во второй степени.

Конечно, принцип формальности описания подразумевает, что название принимается за познание. В самом деле, уже у Ельмслева есть утверждение, что описание, удовлетворяющее всем указанным выше требованиям, и есть познание описываемого объекта⁶. В таком случае

1968, стр. 236) или «проще и естественнее, однако, исходить при описании...» (там же, стр. 237) и т. д.

⁴ Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, в кн.: «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 272.

⁵ Там же, стр. 278.

⁶ Там же, стр. 276: «такое непротиворечивое и исчерпывающее описание ведет к тому, что обычно называется знанием или пониманием исследуемого предмета».

основное преимущество грамматиста-структуралиста перед грамматистом-традиционалистом в том и заключается, в сущности, что, поскольку структуралистская теория подразумевает признание называния за познание, грамматист-структуралист не претендует на выполнение того, чего он действительно не выполняет, т. е. на большее, чем называние по-новому того, что было известно и раньше. Между тем грамматист-традиционалист, даже в тех случаях (обычных и в традиционной грамматике), когда фактически решается вопрос о том, как следует назвать то или иное явление, всегда претендует на то, что он открывает новое в грамматической действительности, способствует ее познанию.

Если сравнить грамматическую действительность с зоологическим садом, то структуралист-теоретик, называя животных, томящихся в этом саду, новыми названиями, например тигра — «тигремой» или «тигроидом», а зебру — «зебремой» или «зеброидом», при этом утверждает, что данное описание непротиворечиво и предельно просто, и, утверждая это, он прав. Между тем грамматист-традиционалист, называя тех же животных по-новому, например, наличие тигра — «тигриностью», а наличие зебры — «зебральностью», при этом утверждает, что тем самым он открывает что-то новое в этих животных, но, утверждая это, он неправ.

Иллюстрировать эту специфику традиционалистских теорий грамматики мог бы любой теоретический спор, протекавший в рамках традиционной грамматики. Так, можно было бы показать, что спор о том, «грамматизовано» или «не грамматизовано» то или иное сочетание слов, сводится к вопросу о том, какое из уже известных явлений называть «грамматизованностью», спор о том, каково «категориальное значение» той или иной формы, сводится к вопросу о том, какое из ее уже известных значений называть «категориальным» и т. д. и т. п. Но, пожалуй, наилучшей иллюстрацией будет так называемая проблема предикативности, как она трактовалась в традиционной грамматике. Автор однажды уже выступал в печати на эту тему⁷. Статья, опубликованная им, была в основном критической и, хотя в откликах на нее, которые доходили до автора, ему приписывалось и нечто положительное, он не может сейчас обнаружить в своей статье ничего положительного, кроме того, что он предлагал называть «предикативностью» наличие сказуемого в предложении или — его грамматического аналога в части предложения. Дело в том, что, как это часто бывает с терминами, используемыми в традиционной грамматике, «предикативностью» называют несколько разных вещей, притом нередко — одновременно, хотя, по-видимому, обычно полагают, что имеют в виду какую-то одну определенную вещь.

«Предикативностью» называют многие то начало, силу или свойство, которые делают предложение предложением. другими словами — наличие предложения, или, так сказать, «предложенность»⁸. Возможно ли, однако, такое, в сущности, тавтологическое называние? Оно возможно, поскольку, хотя всякому понятно, что такое предложение, никто до сих пор не мог дать логически удовлетворительного определения предложения, т. е. сказать, в чем именно его сущность, что делает предложение предложением. Термин, обозначающий наличие предложения, или «предложенность», создает иллюзию того, что эта сущность найдена. Казалось бы, что в таком случае можно определить предложение как «то, основным свойством чего является

⁷ М. И. Стеблин-Раменский, О предикативности, «Вестник ЛГУ», Серия истории, языка и литературы, 1956, 20, 4.

⁸ Ср., например, такое определение предикативности, как «основная синтаксическая категория, формирующая предложение» (БСЭ², 34, М., 1955, стр. 402).

предикативность» или как-нибудь в этом роде. Однако такого определения предложения, кажется, никто до сих пор не давал и наверно потому, что такое определение было бы слишком явной тавтологией. Нельзя же сказать «слово — это то, основным свойством чего является словность», «существительное это то, основным свойством чего является существительность», «предложение — это то, основным свойством чего является предложенность (=предикативность)» и т. д. Правда, вместо «словность» можно сказать «цельнооформленность», и тогда тавтология становится незаметной, а «существительность» можно раскрыть как особое грамматическое значение, функцию которого нетрудно описать, и тогда тавтология исчезает. Можно и «предикативность» в значении «предложенность» раскрыть как «отнесенность содержания предложения к действительности» или как-нибудь в этом роде. Но это было бы софизмом, конечно; ведь отнесенность к действительности — это свойство речи вообще, а не отдельного предложения.

Впрочем возможно, что называние «предикативностью» того начала, которое делает предложение предложением, все же полезно, несмотря на свою тавтологичность. Как утверждают историки науки, очень полезной для развития химии было в свое время (XVII—XVIII вв.) теория флогистона, т. е. теория, объяснявшая горение наличием в горючих веществах начала горючести, т. е. флогистона. Возможно, что теория грамматики находится сейчас как раз на той стадии развития, на которой химия была в XVII—XVIII вв.

«Предикативностью» называют также наличие предиката (и это, очевидно, и есть этимологическое значение слова), а тем самым — отношение предиката суждения к его субъекту, т. е. наличие суждения (предикации). «Предикативностью» называют и наличие сказуемого, а также — его грамматических аналогов в различного рода зависимых оборотах, или частях предложения. Что такое предикат, суждение и сказуемое — все это хорошо и очень давно известно. Вместе с тем, общепризнано, что суждение — это не то же самое, что предложение, а предикат — не то же самое, что сказуемое (правда, народы, в языке которых предикат и сказуемое называются одним словом, обычно пребывают в счастливом неведении этого, разве что они научаются различать «логический» и «грамматический» предикат). Таким образом, «предикативностью» называют разные известные вещи — наличие предложения (= «предложенность»), наличие предиката (или суждения), наличие сказуемого.

Конечно, вопрос о том, какие уже известные вещи следует называть тем или иным термином, в теории грамматики совсем не пустой вопрос. Напротив, как уже было сказано, в сущности такие вопросы обычно и есть то, чем занимается теория грамматики. Но плохо то, что традиционалистская теория грамматики (в противоположность структуралистской теории грамматики) обычно принимает вопрос о том, как следует называть то или иное явление, за вопрос о том, что оно собой представляет. При этом смысл утверждаемого становится особенно трудно уловимым, если одним и тем же термином разные вещи называются одновременно.

Спорят о том, есть ли «предикативность» в том или ином предложении или словосочетании, «предикативны» ли они и т. п., так, как будто это проблема, у которой есть какое-то единственное решение, которое надо найти. Между тем на самом деле решение этой мнимой проблемы автоматически вытекает из того, что назвать «предикативностью».

Можно называть «предикативностью» наличие сказуемого. Но утверждение, что «предикативность» — это наличие сказуемого, равносильно утверждению, что наличие сказуемого следует называть наличием сказуемого. Положительная часть статьи автора, упомянутой выше, в сущности сводится именно к такому утверждению.

Можно называть «предикативностью» наличие предиката, т. е. суждения. Но при этом надо отдавать себе отчет в том, что, хотя предикат и суждение — вещи ясные и понятные еще со времен Аристотеля, наличие их в предложении не всегда бесспорная вещь, поскольку они — не языковые факты, а мыслительные. Очевидно, конечно, что всякая интерпретация предложения как суждения, при которой как-то видоизменяют это предложение (подставляют другие слова, меняют порядок слов, интонацию и т. д.), превращает это предложение во что-то, отличное от него. Так что, в сущности, нет никакой принципиальной разницы между истолкованием предложений *Пожар*, *Веселенькая история* как «Это — пожар», «Эта история — веселенькая» и интерпретацией строки Фета «Шепот. Робкое дыханье» как «Шепот наличествует. Имеющее место дыхание характеризуется робостью», а восклицание «А!», в зависимости от контекста, как «То, что я вижу перед собой, мне очень нравится» или «То, что я так долго не мог понять, мне наконец стало понятно» и т. п.

Но дело в том, что интерпретация предложений как суждений может происходить в традиционалистской теории грамматики не в такой примитивной форме (т. е. не в форме замены данного предложения каким-то другим), а в гораздо более тонкой форме: смысловая структура всякого предложения истолковывается как априори двучленная, т. е. как «связывание», «сочетание», «соединение», «взаимное тяготение» или еще какое-то «отношение» двух «членов», «компонентов», «элементов», «представлений» и т. д. К такому толкованию смысловой структуры предложения сводится шахматовская теория «коммуникации», т. е. сочетание «двух представлений, приведенных движением воли в... предикативную связь»⁹ и многие другие традиционалистские теории предложения. Все они, конечно, представляют собой терминологически завуалированную интерпретацию всякого предложения как суждения, т. е. переименование субъекта и предиката в «два соединяющихся представления» и т. п. Именно потому, что компоненты, на которые расчленяется так смысловая структура предложения, и связь между ними, понимаются как нечто чисто мыслительное, т. е. то, что не обязательно получает языковое выражение и может присутствовать, по удачному выражению В. Г. Адмони, только «в проекции»¹⁰, их нетрудно примыслить в любом предложении. Таким образом, эта мыслительная структура (она-то и называется в таком случае «предикативностью»), оказывается тем, что делает предложение предложением, т. е. тем грамматическим флогистоном, благодаря постулированию которого сущность предложения как бы познана (т. е. названа).

⁹ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 19.

¹⁰ В. Г. Адмони, О предикативности, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», Факт ин. яз., 2, 1957.

В. Г. АДМОНИ

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

1. Предварительные замечания. Бурное развитие теории грамматики в XX в. заключается в значительной мере в создании множества новых грамматических теорий или, как это нередко формулируется, грамматик. Последние десятилетия в особенности были отмечены возникновением многих концепций, претендующих на звание общеграмматических теорий. Грамматика непосредственно составляющих, грамматика зависимостей, генеративная (трансформационная) грамматика, синтагматика, теньеровская грамматика — вот названия некоторых грамматических теорий, которые стали широко известны, а частично и разрабатываются в советском языкознании за последние годы.

Почти массовое появление ряда новых грамматических теорий в XX в. было стимулировано рядом факторов. С одной стороны, перед языкознанием (в частности, перед грамматикой) были поставлены новые практические задачи, требовавшие специфической подачи грамматического материала. Наиболее важны здесь были требования, предъявляемые машинным переводом. Впрочем уже при создании дескриптивной грамматики американского структурализма большое значение имела возникшая перед американским языкознанием задача описания строя бесписьменных языков со структурой, весьма далекой от структуры языков индоевропейских. С другой стороны, здесь ощущалось влияние со стороны математики, математической логики и других так называемых точных наук, подкрепляемое тем, что при выполнении ряда своих новых задач языковеды нередко должны были работать в тесном сотрудничестве с математиками, логицистами и т. д. Наконец, внутри самого языкознания была сформулирована точка зрения, согласно которой строй языка, понимаемый исключительно как система отношений, может быть описан самым различным образом, т. е. допускает неограниченное число теоретических обобщений¹. Все это вело к тому, что естественно возникающие в языкознании новые аспекты изучения грамматических явлений обычно оформлялись как новые грамматические теории, новые грамматики, а не как особые разделы или приемы внутри единой грамматической теории даже в тех случаях, когда такое включение по сути дела было возможным.

Размежевание между грамматическими теориями (грамматиками) проводилось и проводится в наши дни обычно по линии: старая (традиционная, классическая) грамматика — новые (структуралистские, точные) грамматики. Такое противопоставление является частью бывшего одно время чрезвычайно распространенным общего противопоставления старых и новых методов лингвистического анализа, причем старые методы полу-

¹ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 33.

чали наименование интуитивистских, менталистских, нестрогих, а новые наименование формальных, формализованных, строгих и т. д.

Между тем, с течением времени такое различие становится все более расплывчатым и бессодержательным. Прежде всего, сами «новые методы» отнюдь уже не могут считаться новыми. Их основы закладывались в 20-е годы, своего расцвета некоторые из них достигли уже в 30-е годы, так что за их плечами есть уже почти полувековой период развития. Показательно, что теперь уже нередко говорят о некоторых направлениях в структурализме как о старом, даже как о традиционном или классическом структурализме. С другой стороны, то, что называется традиционной грамматикой, т. е. те направления, которые развиваются в преемственной связи с грамматическими теориями прошлого, весьма сильно изменились и изменяются за последнее время, причем они часто настолько отличаются друг от друга, что являются по существу особыми грамматическими теориями.

Поэтому настала пора заново разобраться в множестве ныне существующих грамматических теорий и наметить их классификацию. Эту классификацию целесообразно провести с точки зрения той трактовки, которой в соответствующих грамматических теориях подвергается конкретный грамматический материал. Учтены при этом — по крайней мере на данном этапе исследования — могут быть, конечно, только самые общие формы трактовки материала, притом в самом общем виде, с установкой на основные принципы наиболее актуальных грамматических концепций. При этом необходимо сделать несколько предварительных замечаний.

1. Пригодность тех или иных типов грамматических теорий к выполнению основной задачи, стоящей пред языкознанием, — к постижению грамматического строения естественных языков как целого — различна. Поскольку каждый естественный язык обладает грамматической системой, образуемой взаимодействием конечного, хотя и очень значительного количества компонентов, которые находятся в чрезвычайно сложных и многообразных, но все же не бесконечных по своей сути отношениях, постольку не может существовать множества теорий, в равной степени пригодных для адекватной передачи грамматического строя в его целостности, хотя, разумеется, речь здесь может идти лишь о приближении к полному постижению грамматического строя.

Оценка данной грамматической теории или данного типа грамматических теорий этим не исчерпывается. Имеет существенное значение познавательная роль данной теории в изучении отдельных сторон языка. Оценка грамматической теории может даваться лишь в зависимости от того, в какой степени эта теория выполняет те задачи, для решения которых она создана.

В качестве грамматических теорий здесь будут рассматриваться и концепции, лежащие в основе серьезных грамматических исследований, даже если такие концепции не были эксплицитно сформулированы.

2. Рассматриваемые здесь типы грамматических теорий будут сгруппированы вокруг нескольких основных альтернатив — без претензии на исчерпывающую полностью их группировку. В частности, здесь не будет рассматриваться казалось бы основное противопоставление: теории с системным подходом к грамматическому строю и теории с атомизирующим подходом. Дело в том, что в современном языкознании, пожалуй, нельзя встретить грамматическую теорию, которая принципиально утверждала бы атомистическое, несистемное рассмотрение грамматического строя. Это не значит, что сейчас не появляется работ, в которых грамматический строй языка не предстает как набор отдельных явлений, не связанных с общей грамматической структурой языка.

Наиболее актуальным представляется нам противопоставление совре-

менных грамматических теорий друг другу по трем линиям: формализованные теории — неформализованные (открытые) теории, редуцирующие теории — прямые теории, одномерные (маломерные) теории — многомерные теории. Одна и та же теория, естественно, может участвовать во всех этих противопоставлениях.

2. Формализованные — неформализованные (открытые) грамматические теории. Имеется в виду подлинная формализация, а не формализация способа изложения. Применение схем и диаграмм, буквенных сокращений, разнообразной символики, основанных на такой символике формул может использоваться любой теорией с целью большей компактности и обзорности излагаемого материала. Так, схемы разных типов предложения, образованные с помощью буквенных обозначений компонентов предложения (*S* — субъект, т. е. подлежащее, *V* — сказуемый глагол и т. п.) применяются в самых различных по своим теоретическим установкам работах, например, по порядку слов. Ряд символических обозначений и формул применяется О. Есперсеном в его отнюдь не формализованной «Философии грамматики»². Формы предложения в сводном виде изображаются К. Боостом в виде таблицы с использованием ряда символических обозначений грамматических форм и т. п.³.

Под формализованной грамматической теорией здесь понимается такая теория, в основу которой положена система четко очерченных и непротиворечиво дефинированных определенных понятий (преимущественно аксиоматического характера), отбор подлежащих изучению грамматических явлений проводится в точном соответствии с этими понятиями и оперирование этими понятиями и явлениями осуществляется по строгим, точно определенным правилам. Формализованная теория своими основными определениями заранее ограничивает тот круг объектов, который будет ею рассматриваться, и заранее вырабатывает ту методику, которой будет пользоваться при исследовании этих объектов. Таким образом, формализованная грамматическая теория по своей природе является закрытой грамматической теорией, отбирающей некоторую часть языковой действительности по строго определенным критериям и применяющей лишь определенные приемы исследования. Отдельные из отмеченных здесь черт, характерных для формализованной теории грамматики, могут встретиться в самых различных грамматических теориях, а без какого-то минимума таких черт не может обойтись ни одна теория грамматики. Но только в своей совокупности эти черты создают законченную формализованную грамматическую теорию, а систематическое применение большей части этих черт создает грамматические теории, приближающиеся к формализованности.

В современном языкознании формализованные теории широко представлены в направлениях, связанных с прикладным языкознанием. Такова, например, грамматика зависимостей, как она сформулирована, в частности, К. Харпером и Д. Хейсом⁴. Формализованы — в большей или меньшей степени — разные направления порождающей грамматики; например, в высокой степени формализованы генеративные грамматики Н. Хомского и С. К. Шаумяна. В значительной мере формализованными были некоторые структуралистские системы, особенно американский дескриптивизм и глоссематика.

² О. Есперсен, *Философия грамматики*, М., 1958, стр. 186—187, 327—329 и др.

³ К. Boost, *Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des Satzes*, Berlin, 1959, стр. 87.

⁴ К. Харпер, Д. Хейс, *Использование машин при построении грамматики и программа для структурного анализа*, сб. «Автоматизация в лингвистике», М.—Л., 1966.

Противостоящие формализованным грамматическим теориям неформализованные теории характеризуются своей открытостью, т. е. своей принципиальной способностью включать в сферу своего рассмотрения самые различные грамматические явления, даже непредусмотренные при начале исследования, и использовать самые различные, даже не намеченные в начале исследования приемы анализа. Отправные понятия и положения намечаются неформализованными грамматическими теориями на разной основе, но они носят характер скорее рабочих гипотез и могут быть изменены в зависимости от хода и результатов исследования, т. е. и они являются как бы открытыми. Все это позволяет считать открытость важнейшим общим признаком неформализованных грамматических теорий. Открытыми были, например, грамматические теории А. А. Шахматова и А. М. Пешковского. Открытые, хотя часто лишь в малой мере эксплицитные и недостаточно систематизованные грамматические теории лежат в основе очень многих работ, создаваемых в настоящее время советскими языковедами на материале разных языков⁵.

Конечно, на деле открытая грамматическая теория может быть весьма бедной по своим материалам, по развиваемым в ней положениям и т. д. Формализованная грамматическая теория может быть, напротив, в пределах своей формализованности, насыщена большим языковым материалом, проникать в весьма сложные образования языкового строя и т. д. Но для выполнения основной задачи грамматической теории, т. е. для постижения грамматического строя языка, в принципе подходит только теория открытые. Специфика языковой действительности с ее многообразием и многосторонностью неравномерно пересекающихся рядов грамматических явлений делает возможным только такое ее адекватное отображение, которое учитывает эту зыбкость и переходность грамматических явлений, асимметричность их значений⁶, и оставляет открытыми двери для осмысления грамматических явлений с самым неожиданным раскладом грамматических признаков.

Подлинная структура грамматических категорий — это полевая структура. Не будем здесь подробно излагать, что представляет собой такая структура, так как этот вопрос уже неоднократно освещался⁷. Отметим только, что в основе полевой структуры грамматических категорий лежит неравномерное распределение у явлений, охватываемых какой-либо грамматической категорией (например, частью речи), тех грамматических признаков, которые характерны для данной категории. Лишь у части этих явлений все соответствующие грамматические признаки представлены полностью, комплектно.

Такие явления образуют ядро грамматической категории — вернее, ядро поля этой грамматической категории. У многих же явлений эти признаки представлены лишь частично, причем у разных явлений отсутствуют разные признаки в различных сочетаниях. Такие явления образуют периферию поля данной грамматической категории. Они нередко обладают

⁵ Назову в качестве «открытых» грамматических работ хотя бы такие непохожие друг на друга по исследовательской манере и по характеру изложения книги, вышедшие за последнее десятилетие, как: Н. Ю. Шведова, *Очерки по синтаксису русской разговорной речи*, М., 1960; И. М. Троицкий, *Историческая грамматика латинского языка*, М., 1962; Э. В. Севортян, *Аффиксы именного новообразования в азербайджанском языке*, М., 1966; Е. А. Крейнович, *Глагол кетского языка*, Л., 1968.

⁶ С. Карцевский, *Об асимметричном дуализме языкового знака*, в кн.: В. А. Звегинцев, *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*, М., 1960.

⁷ См.: В. Г. Адмони, *Основы теории грамматики*, М.—Л., 1964, стр. 47—52.

признаками, характерными для других грамматических категорий, так что относятся к периферии и этих категорий. Таким образом, поля двух грамматических категорий могут иметь (и фактически часто имеют) общие сегменты своих периферий.

Такой природе грамматических явлений вполне соответствует практика открытых грамматических теорий, которые выделяют в массе грамматических явлений некие «опорные пункты» грамматических полей и намечают проекции, ведущие от этих центров к множеству различно оформленных грамматических явлений.

Формализованные грамматические теории с их жесткостью дефиниций и с установкой на формально-логическую четкость в разграничении грамматических категорий не способны зафиксировать такую картину грамматической действительности. Они обязательно — в том или ином направлении — обедняют и схематизируют ее именно потому, что они хотят формализовать ее сверху донизу как систему. Элементы формализации представлены во всех грамматических теориях, начиная с самых простейших. Выделение элементарных парадигм, которое в тех или иных формах происходит во всех грамматических теориях (для языков флектирующих и агглютинирующих в форме установления парадигм морфологических), уже есть момент формализации грамматической действительности. Без элементов формализации грамматическая теория вообще невозможна. Но полная формализация грамматической теории, позволяющая успешно применить такую теорию — и только такую теорию — для выполнения ряда прикладных задач, делает ее пригодной лишь для крайне неполного, «скелетного» отображения грамматической системы в ее реальном существовании.

Конечно, на практике полная формализованность грамматических теорий встречается редко. Неясность в восприятии формализованности или открытости многих грамматических теорий проистекает еще из того, что широкое употребление символики, логико-математической терминологии, моделей и схем разного вида и т. п. часто воспринимается как признак формализованности теории.

3. Редуцирующие грамматические теории — прямые грамматические теории. Для редуцирующих грамматических теорий конкретные грамматические формы, выступающие в речевой цепи и входящие в языковые парадигмы, представляют интерес не как элемент системы грамматического строя, а в плане сведения их к каким-либо иным, более глубоким и существенным, образованиям.

В конце XIX в. классическим примером редуцирующей грамматики была младограмматическая теория, приравнивавшая научное объяснение грамматической формы к выяснению ее исторических истоков, с установлением тех законов, которые повели к выработке данной грамматической формы в ее конкретном виде.

В настоящее время огромным распространением пользуется другой вид редуцирующей грамматики — грамматика генеративная, имеющая многообразные ответвления. Формализованное обличье, в котором генеративная грамматика, как правило, выступает в настоящее время, отнюдь не является необходимым свойством редуцирующей грамматики.

Отнесение генеративной грамматики к редуцирующим теориям может показаться неожиданным. Ведь основная цель этой теории, как явствует из самого ее наименования, состоит в порождении конкретных грамматических структур, реальных предложений данного языка. Философской основой по крайней мере основного направления в генеративной грамматике, связанного с именем Н. Хомского, является гумбольдовская трактовка языка как энергии, как процесса порождения языковых форм.

Недаром генеративная грамматика подчеркивает свою ориентацию на языковую практику — в частности, свое стремление помочь преподаванию языка.

Но если построение конкретных грамматических конструкций и является целью генеративной грамматики, то средством для достижения данной цели является восхождение от этих конструкций к тем более существенным и глубоким структурам, которые лежат в их основе и развертывание которых и порождает — с точки зрения генеративной грамматики — данные конструкции. Исследовательская методика генеративной грамматики состоит в том, чтобы найти пути от конкретных грамматических форм в их реальном существовании к неким более внутренним глубоким формам, которые в них проявляются. Именно этому служат трансформации, которые составляют основную движущую силу генеративной грамматики, нередко получающей даже наименование трансформационной грамматики, и состоят в трансформировании конкретных грамматических конструкций с целью получения неких исходных, основополагающих (для языкового строя) структур (например, «ядерных предложений»).

Основная направленность научного постижения у генеративной грамматики отчетливо выявляется в широко применяемых ею терминах «поверхностные структуры» и «глубинные структуры», соответственно обозначающих конкретные грамматические конструкции, как они выступают в речевой цепи и в синтаксической парадигматике (например, группа существительного), и лежащие в их основе ядерные предложения (или иные исходные образования). В самом термине «поверхностные структуры» заключено прямое указание на то, что суть научного исследования по отношению к ним должна заключаться в нахождении тех исходных структур, модификациями которых они являются.

Итак, при исследовании методами генеративной грамматики обнаруживаются две стороны: одна, как бы познавательная, заключается в сведении конкретных грамматических форм к «глубинным структурам», что достигается путем разного рода трансформаций (трансформационная грамматика), и другая, как бы практическая, ведущая в обратном направлении, т. е. показывающая (на основе фактов, установленных познавательной трансформационной грамматикой), как глубинные структуры развертываются в те или иные конкретные грамматические конструкции (генеративная или порождающая грамматика в узком смысле слова).

Возникает вопрос, что же могут реально дать для языкознания обе эти стороны генеративной грамматики и сама генеративная грамматика как таковая? Рассмотрим несколько возможных аспектов постижения языка в плане порождения грамматических форм.

Процесс порождения грамматических конструкций может пониматься генетически, т. е. как исторический путь их возникновения. Однако генеративная грамматика сама никоим образом не претендует на то, что ее трансформация воспроизводит генезис соответствующих форм. А если обратиться к языковому материалу, то сразу же обнаружится, что такое совпадение между историческим путем становления определенной грамматической конструкции и ее получением на основе трансформационных преобразований «глубинных структур» может быть лишь случайностью. Так, сведение большинства форм группы существительного или типов сложных существительных к «ядерным предложениям» не отражает — по крайней мере в индоевропейских языках — истории возникновения этих структур.

Процесс порождения грамматических конструкций может пониматься как процесс психофизиологический, т. е. как работа определенного психофизиологического механизма, в результате которой некие первично на-

личные в долговременной человеческой памяти конструкции переоформляются в складывающиеся в процессе речи «поверхностные грамматические структуры». Однако при таком восприятии процесса генерирования грамматических конструкций он целиком уходит из ведения лингвистики и переходит в ведение психологии и физиологии речи.

Конечно, доказательство психофизиологической мотивированности трансформационных операций генеративной грамматики имело бы огромное значение для прикладного языкознания, для методики преподавания языка (как иностранного, так и родного), но не непосредственно для теории грамматики. Однако такого доказательства психофизиологической мотивированности трансформационных операций генеративной грамматики в общем виде еще нет, и мы позволим себе высказать предположение, что для подавляющего числа тех трансформаций, к которым прибегает генеративная грамматика, такое доказательство и не может быть получено. Отработанность различных синтаксических конструкций (а не только основных схем предложения) как в плане их формы, так и в плане свойственных им значений для говорящих на родном языке настолько велика, что мобилизация для участия в высказывании, например, группы существительного может происходить и без обращения к такому опосредствующему звену, как тип предложения, выражающий аналогичную семантику. Конечно, в процессе развертывания речи вполне возможно, что говорящий по тем или иным причинам переходит от первоначально намечавшейся им, как бы «вертевшейся у него на языке» конструкции к другой, равнозначной и почему-либо более удобной или выразительной в данном контексте. Но это в равной степени может быть и переход от намечавшейся группы существительного к подчиненному предложению, и переход от намечавшегося подчиненного предложения к группе существительного и т. п.

Таким образом, трактовка разрабатываемого генеративной грамматикой порождения грамматических категорий как процесса психофизиологического, во-первых, имеет лишь весьма ограниченный теоретико-грамматический интерес, а во-вторых, не доказана в психофизиологическом плане.

Наконец, под процессом порождения грамматических конструкций может пониматься установление системы грамматических форм соответствующего языка; иными словами, соотношение глубинных и поверхностных структур может рассматриваться как иерархическая грамматическая система. Но грамматическая система языка не может быть построена, если ее компоненты принадлежат разным временным пластам, а всякое порождение предполагает хотя бы минимальное (мгновенное) предшествование порождающего порождаемому. Грамматическая система существует как соотношение между одновременно находящимися в наличии структурами, которые, хотя и находятся в иерархических отношениях друг с другом, но друг к другу не сводимы.

Итак, процесс порождения грамматических конструкций не дает ключа ни к какой лингвистически значимой общей концепции грамматического строя ни в историческом или психофизиологическом плане, ни в плане системном. По сути дела, процесс порождения грамматических конструкций, разрабатываемый генеративной грамматикой, есть лишь набор приемов, служащих для освещения некоторых сторон грамматического строя.

То, что трансформационный анализ фактически развился как дополнение к другим методам изучения грамматического строя, признает и сама генеративная грамматика в лице ее ведущего представителя, Н. Хомского. Он прямо объяснял обращение к методу трансформаций, вообще к «порождению» одних грамматических форм из других, несовершенством прежней американской дескриптивистики. Генеративная (трансформационная) грамматика, по его мнению, сохраняя формализованность грамматического

описания, восполняет своими приемами грамматику НС, позволяя охватить такие явления, которые не поддавались учету при анализе по НС⁸. Существенно то, что это явления семантические, касающиеся смыслового содержания и смысловых отношений грамматических форм. Сведение одной формы к другой базируется в трансформационной грамматике на единой семантической основе у исходной формы и у формы преобразованной (хотя обычно все же смыслового тождества у них не наблюдается). Подлинное значение генеративной грамматики в том, что она позволила, не покидая формализованной почвы структурализма, оперировать значениями грамматических форм. А так как без обращения к значению грамматический анализ оставался чрезвычайно обедненным, то трансформационная грамматика явилась своего рода извращением для американского дескриптивизма, открыла ему новые пути. Она явилась ценнейшей находкой и для многочисленных лингвистов во всем мире, которые понимали необходимость работы с грамматическими значениями, вообще с семантикой, но оставались на платформе формализованных методов.

Будучи использованными даже и в открытых грамматических теориях, трансформационные приемы могут помочь при семантическом анализе грамматических форм, позволяя в отчетливом виде представить разные семантические связи, которые существуют, например, между существительным и определением в той или иной форме. Правда, для достижения этой цели трансформации фактически применялись в грамматике уже давно. Так, деление определительного родительного на *genitivus subjectivus* и *genitivus objectivus* представляет собой не что иное, как результат трансформаций, т. е. развертывания определительного сочетания в иную синтаксическую структуру, семантически более однозначную и более непосредственно связанную с основным составом предложения. Этот пример подтверждает реальную пользу, которую может принести прием трансформации для уточнения и выявления смысловой емкости грамматических форм. Конечно, выяснение семантики грамматической формы путем ее сопоставления с иной семантически более однозначной формой не обязательно должно связываться с операцией трансформации.

Блеск генеративной грамматики, ее необычайная популярность у многих лингвистов в разных странах, в том числе и у нас, и объясняется своеобразным сочетанием той фактической ценности, которая свойственна ее приемам, с тем фактом, что она явилась путем для возвращения семантики в дескриптивистскую грамматику, причем ее формализованное обличье придает ей особую модность и кажется гарантией подлинной научности.

Но генеративная грамматика претендует на большее, чем простое восполнение других грамматик. Она хочет быть главной и решающей теорией для анализа естественных языков. Абсолютизация генеративной грамматики ставит ее в ложное положение, заставляет браться за задачи, которые она не может решить и которые вообще не в состоянии решить никакая редуцирующая грамматическая теория, и вызывает критику, резкость которой почти беспрецедентна в истории языкознания⁹. В настоящее время приходится говорить не только о блеске, но и о нищете генеративной грамматики.

Только «прямые» теории грамматики, которые рассматривают грамматическую систему как соотношение компонентов, одновременно существующих в этой системе и непосредственно увязываемых с выражаемым ими смысловым содержанием, могут дать цельную и адекватную картину грам-

⁸ См.: Н. Хомский, О понятии «правило грамматики», сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 50.

⁹ См., например: Дж. Хердан, Кризис современного общего языкознания, ВЯ, 1968, 2.

матического строя естественных языков. В этой картине, где устанавливаются многообразные связи, существующие между грамматическими структурами, значительнейшее место уделяется, естественно, установлению иерархии грамматических структур, которая основывается на реальных свойствах самих грамматических структур и их функционирования. Но эта иерархия совсем иная, чем иерархия глубинных и поверхностных структур.

Иерархия грамматических структур в «прямых» теориях может, конечно, строиться по-разному.

Особенно распространена (чаще всего эксплицитно невыраженная) концепция, в соответствии с которой при включении одних структур в другие как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане иерархически господствующими являются включающие структуры, а иерархически зависимыми — включающиеся структуры.

Более сложная система иерархических отношений (при широком толковании понятия иерархии) иногда намечается путем противопоставления грамматических структур более независимых и более зависимых в выражении грамматических значений и в своем функционировании. Так, нередко противопоставляются грамматические структуры, выражающие определенные обобщенные грамматические значения в максимальном удалении от воздействий со стороны ситуации и контекста, и структуры, в своем конкретном оформлении носящие следы определенного воздействия со стороны ситуации и контекста. Структуры первого рода рассматриваются как иерархически более высокие, господствующие — в том смысле, что они, являясь устойчивыми, отработанными компонентами языковой системы, не нуждающимися для своего функционирования в дополнительных стимулах, служат основой для образования структур модифицированных под влиянием дополнительных (контекстных или ситуативных) стимулов в речи. Установление иерархии в таком плане содержится в весьма старом в своей основе противопоставлении в отдельных частях речи форм, выражающих грамматическое значение данной части речи наиболее полно и прямо, при минимальном наслоении на это значение каких-либо других грамматических значений, формам, которым такое наслоение в большей или меньшей степени свойственно. Так, во многих языках именительный падеж существительного противопоставляется косвенным падежам как наиболее общий, который при минимальном осложнении другими значениями выражает значение предметности, свойственное существительным. Именительный падеж как «прямой падеж» оказывается здесь иерархически более высоким, чем другие падежи.

При таком подходе к иерархическим отношениям оказывается возможным рассматривать до известной степени как иерархические и те отношения, которые существуют между поверхностными и глубинными структурами генеративной грамматики. Но эта иерархичность связана не с тем, что одни структуры порождаются другими, а со свойством самих структур выражать определенные грамматические значения более или менее четко. Так, сказуемые или сказуемно-объектные конструкции в элементарном предложении выражают некоторые грамматические значения более отчетливо, чем субстантивная группа с родительным определительным, ср.: *воспитание Павла — Павел воспитывает — Павла воспитывают*.

С этой точки зрения можно сказать, что в системе грамматических структур, выражающих разными средствами одни и те же грамматико-смысловые отношения, ведущими (опорными) являются те структуры, которые выражают данные отношения наиболее однозначно. Рассмотрение связей между такими структурами на основе «прямой» грамматики как сопоставительных, т. е. связывающих одновременно существующие струк-

туры, дает более адекватное представление о реальном характере этих связей, чем рассмотрение этих связей как связей порождения, предполагающих отнесенность связываемых структур к разным временным планам. Это связано с грамматической синонимией, если рассматривать ее как наличие общих грамматических значений у грамматических форм, способных взаимозаменять друг друга, будучи частью семантико-грамматических сопоставительных связей, поскольку эти связи охватывают и формы, для которых взаимозаменяемость невозможна без общей грамматической перестройки текста (супплементные связи).

Что касается обеспечения изучающему язык возможности строить правильные предложения, то «прямые» грамматические теории дают для этого необходимую основу, устанавливая разностороннюю типологию предложений, те модели, по которым надо образовывать все бесчисленное множество предложений, могущих выступить в речи.

4. Одномерные грамматики — многомерные грамматики. Чисто «одномерные» грамматики, т. е. грамматики, рассматривающие грамматическую систему в какой-либо одной плоскости, встречаются редко, но все же встречаются. Так, грамматика зависимостей устанавливает лишь систему синтаксических зависимостей в предложении одних словоформ от других¹⁰. Чаще встречаются грамматические теории, рассматривающие грамматическую систему не в одном, но в малом количестве измерений. Мы условно причисляем здесь и эти грамматические теории к типу «одномерных», противопоставляя этому типу тип «многомерных» грамматических теорий, которые (эксплицитно или имплицитно) ставят своей задачей охват всех измерений, в которых существует грамматическая система, даже если практически этого и не удастся достигнуть полностью.

Термины «мера» и «измерение» употреблены здесь в значении: сторона грамматических явлений, качественно не сводимая к другим сторонам. Так, в сфере глагола во многих языках существуют такие категории и формально-грамматические классы, как лицо, время, наклонение, залог, тип спряжения (иногда вид и др.), которые, не являясь в синхронном плане модификациями друг друга, представлены в разных сочетаниях у глаголов данного языка. В речевом ряду многомерность образуется наличием у одного и того же отрезка речи целого ряда не сводимых друг к другу грамматических значений¹¹. Таким образом, под многомерностью здесь понимается многоаспектность грамматических явлений и многолинейность (партитурность) грамматических значений в речевом ряду.

Число «маломерных» грамматических теорий весьма значительно. К ним относится большинство структуралистских концепций, особенно дескриптивизм. Правда, на практике почти все грамматические теории принуждены затрагивать самые различные аспекты грамматических форм (речь идет о грамматических теориях, ставящих себе задачей не постижение грамматического строя, а именно его описание, которое не исключает и множества других описаний). Так, при описании предложения вряд ли удастся обойтись без упоминания о типах предложения, различающихся по своему составу, по своей синтаксической соотнесенности с другими предложениями (простое самостоятельное предложение, главное предложение, подчиненное предложение и т. д.), по своей коммуникативной задаче (повествовательные, побудительные и вопросительные предложения) и т. д., а это фактически есть (хотя бы имплицитный) анализ предложения по его различным аспектам, т. е. измерениям. «Минимумом» измерений для

¹⁰ Ср.: К. Харпер, Д. Хейс, указ. соч.

¹¹ См.: В. Г. Адмони, Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении, ФН, 1961, 3.

большинства «специализированных» грамматик является введение парадигматического и синтагматического аспектов.

Многомерность в трактовке грамматического материала проявляется обычно в грамматических работах лишь имплицитно — в стремлении учесть все, что характерно для изучаемого грамматического строя, хотя бы это вело к некоторой внешней сложности и асимметричности в организации материала. Многомерны, например, «Синтаксис русского языка» А. А. Шахматова и «Deutsche Grammatik» Г. Пауля. Многомерны также лучшие «школьные» грамматики конца XIX в. и начала XX в. Среди новейших работ тенденцией к многомерности характеризуются исследования, не порывающие связей с традиционной грамматикой.

Многомерный подход к грамматическим явлениям связан с (эксплицитным или имплицитным) признанием наличия у грамматических явлений ряда качественно различных сторон, не сводимых друг к другу, что означает необходимость выдвижения не одного, а нескольких критериев для классификации, т. е. для определения и разграничения грамматических категорий. Такой подход к грамматическим явлениям нередко вызывает обвинения в недостаточной логической стройности или просто в нарушении правил формальной логики, в связи с чем он иногда даже рассматривается как ненаучный. Но в силу полевой природы грамматических явлений многомерность, требующая введения не одного, а ряда критериев, выступает как неотъемлемое свойство грамматических явлений. Таким образом, введение нескольких критериев при классификации грамматических явлений оказывается не только допустимым, но и необходимым научным приемом.

5. **Некоторые выводы.** Мы рассмотрели три противопоставленные друг другу «пары» типов грамматических теорий. Выяснилось, что для осуществления центральной задачи грамматической теории — для обеспечения адекватного постижения грамматического строя естественного языка во всей его целостности и сложности пригодны открытые, прямые и многомерные теории. Это не означает, что противостоящие им формализованные, редуцирующие и одномерные теории вообще не нужны и бесплодны. Они также могут принести и часто приносят значительную пользу для решения специфических прикладных задач, которые стоят перед языковедением, а также для освещения отдельных сторон грамматического строя. Но они не в состоянии охватить грамматический строй как цельное явление.

Между открытыми, прямыми и многомерными грамматическими теориями существуют органические связи. По своему своему существу открытая теория предрасположена к тому, чтобы быть прямой и многомерной. Однако не всякая прямая теория является открытой, не всякая многомерная теория является прямой и т. д. С другой стороны, тесные связи существуют между формализованными, редуцирующими и одномерными грамматическими теориями. Однако и здесь — и даже в еще большей мере — возможны значительные расхождения; формализованная теория отнюдь не обязательно должна быть редуцирующей и т. д.

Выдвинутые нами три типа противопоставленных друг другу грамматических теорий, таким образом, не покрывают друг друга. Каждая конкретная грамматическая теория (эксплицитно или имплицитно выраженная) может быть определена, исходя из этой типологии. Так, «грамматика зависимостей» является формализованной, прямой и одномерной.

При всем различии между противостоящими друг другу типами грамматических теорий и несмотря на то, что некоторые из них говорят на столь различных «языках», т. е. употребляют столь различные символы, формулы, определения грамматических форм и т. д., что перестают понимать друг друга, между ними есть и глубочайшая связь. Она состоит в том, что

все типы грамматических теорий так или иначе исследуют один и тот же объект — грамматический строй естественных языков. Правда, некоторые из них концентрируют свое внимание исключительно на отдельных сторонах этого строя, отвлекаясь от всех других его сторон. Но так как в своем реальном существовании грамматический строй каждого естественного языка является единством, все стороны которого так или иначе соотносены друг с другом, то фактически все грамматические теории, все «грамматики», описывающие данный естественный язык, если только они не являются абсолютно надуманными и ложными в применении к соответствующему языку, не могут быть абсолютно чуждыми друг другу, а либо дополняют, либо повторяют (в различных терминах) друг друга. С точки зрения всех многочисленных аспектов и форм грамматической системы данного языка они как бы «накладываются» друг на друга на соответствующих участках этой системы, иногда совпадая целиком, иногда совпадая лишь частично.

Отсюда проистекает необходимость — для обеспечения полноты в познании изучаемого объекта — в сведении воедино всех результатов, получаемых отдельными грамматическими теориями. Добиться этого можно не путем простого сопоставления соответствующих теорий и не путем создания особой «метатеории», стоящей над всеми конкретными грамматическими теориями¹². Поскольку задачу всестороннего постижения грамматического строя ставят перед собой лишь теории, являющиеся одновременно открытыми, прямыми и многомерными (а не формализованные, редуцирующие и одномерные теории), сведение воедино достигнутых результатов целесообразно осуществлять на базе именно этих теорий. Частично это уже имеет место, проявляясь в том, что общими терминами при сопоставлении терминологии различных «грамматик» нередко оказываются термины традиционной грамматики. При дальнейшей разработке теории такого типа смогут явиться подлинными метатеориями, а употребляемая в них терминология явится как бы метатерминологией всего множества грамматических теорий, описывающих данный язык. По отношению к такой метатеории многообразные другие теории окажутся на положении частных, подчиненных теорий, иногда даже выступают лишь как приемы (или системы приемов).

Разработка теорий, являющихся одновременно открытыми, прямыми и многомерными, естественно, сопряжена с многочисленными трудностями. И здесь между исследователями возможны значительные расхождения, связанные с различиями в общем понимании природы языка, соотношения формы и значения в грамматической системе и т. д. В настоящее время такие теории, в разной степени эксплицитные, представлены в тех направлениях грамматической мысли, которые не порывают связи с так называемой традиционной грамматикой, стремившейся к полному охвату грамматических явлений, — хотя они и радикально изменяют во многом ту традиционную грамматику, которая сложилась к началу XX в., и прежде всего по линии системной трактовки грамматического строя¹³.

¹² Необходимость создания «метатеории» для изучения грамматических систем постулируется — с позиций формализованной грамматической теории — в работе: Л. З. Сова, Аналитическая лингвистика, М., 1970, стр. 5—7.

¹³ См.: В. Г. Адмони, О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю, ВЯ, 1961, 2.

В. Б. КАСЕВИЧ

НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ФОНЕМЫ

Основной целью настоящей работы является экспликация высказывания «фонема — это абстракция (абстрактный объект)». Все остальные вопросы затрагиваются нами преимущественно постольку, поскольку они оказываются связанными с задачей, сформулированной выше.

Приведенное высказывание, характеризующее логическую природу фонемы, является общепринятым (и общеупотребимым) в современной лингвистике. Тем не менее, утверждаемая в нем абстрактность фонемы понимается неодинаково различными авторами. Не имея возможности углубляться в историю вопроса, обратимся лишь к получившей в последнее время наибольшую известность точке зрения — к концепции С. К. Шаумяна, разработавшего так называемую «двухступенчатую теорию фонологии»¹.

Согласно этой теории, абстрактность фонемы («абстрактной фонемы») состоит в том, что это — конструкт, идеальный (различительный) объект особого уровня абстракции, существование которого не выводимо из данных прямого наблюдения. Конструкт постулируется путем применения гипотетико-дедуктивного метода и соотносится с «уровнем наблюдения» особыми «правилами корреспонденции». Необходимость отнесения фонемы к конструктам вызывается, по С. К. Шаумяну, тем, что при попытке выяснить природу фонемы, не прибегая к постулированию такого идеального объекта, мы неизбежно приходим к логическому противоречию, связанному с существованием так называемой «антиномии транспозиции». Сущность названной антиномии состоит в следующем. Фонема есть знак², в природе же знака заключено безразличие к виду субстанции, в которой он воплощается — отсюда, следовательно, вытекает принципиальная возможность транспозиции фонемы в любую другую субстанцию (цветовую, тактильную и т. д.). С другой стороны, фонема (если ее не трактовать как конструкт) — это объект, обладающий именно акустической, а не какой-либо иной субстанцией. Следовательно, эти два свойства, семиотического и субстанционального характера, традиционно приписываемые фонеме, оказываются в действительности логически не совместимыми. Выход из

¹ Наиболее полно эта теория представлена в монографии: С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1963. Теория С. К. Шаумяна породила обширную литературу — как в качестве откликов на нее, так и в виде исследований, основывающихся на этой теории. Однако, поскольку имеющиеся в литературе суждения, в общем, мало соприкасаются с тем, что изложено в настоящей статье, мы сочли возможным не останавливаться на освещении мнений, которые были высказаны в соответствующих работах.

² В указанном сочинении С. К. Шаумян не пользуется термином «знак», но изложения видно, что имеется в виду именно знаковый характер фонемы. В более же ранней работе С. К. Шаумяна аналогичные рассуждения обосновываются непосредственным указанием на то, что фонема есть знак (см.: С. К. Шаумян, Логический анализ понятия фонемы, сб. «Логические исследования», М., 1959).

описанного противоречия усматривается в признании того, что фонема — это конструкт, которому свойственна лишь различительная семиотическая природа и который в о п л о щ а е т с я в акустической субстанции реальных звуков.

Изложенный вывод, по-видимому, корректен, если признать истинность обеих посылок. Однако именно эти посылки вызывают серьезные возражения, точнее — первая из них, восходящая, очевидно, к тезису Ф. де Соссюра о произвольности языкового знака. Прежде всего здесь можно было бы заметить, что фонему, не обладающую планом содержания³, трудно отнести к знакам. Однако в то же время можно согласиться с тем, что фонема, формируя знаки, делит с этими последними ряд существенных свойств семиотического характера⁴, что позволяет при рассмотрении интересующего нас вопроса отвлекаться от соображений о незнаковом характере фонемы.

Значительно более существенно в данном случае следующее. Тезис о безразличии знака к виду субстанции, в которой он воплощается, можно трактовать, по нашему убеждению, лишь одним способом: безразличен в ы б о р субстанции знака; после же того, как этот выбор (стихийно или целенаправленно) произведен — после этого не только не может быть постулируемого «безразличия», но, напротив, именно данная субстанция становится абсолютно общеобязательной. В противном случае акт коммуникации становится невозможным — в то время как именно такую возможность призвано обеспечить существование знака. Иначе говоря, здесь есть своя «диахрония» и «синхрония», смешение которых приводит к серьезным последствиям.

Следует ли из вышеизложенного, что транспозиция невозможна? Разумеется, не следует: любая знаковая система, путем определенных операций (в том числе и путем замены означающих, частным случаем чего является замена субстанции означающих) может быть преобразована в другую систему, изоморфную (гомоморфную) исходной. Суть заключается именно в том, что это будет д р у г а я система, с д р у г и м и единицами; соответственно, переход от одной системы к другой должен быть конвенционально закреплен — иначе неизбежно нарушится возможность коммуникации.

В принципе ничто как будто бы не мешает постулировать существование некоторых идеальных конститутивных (и, следовательно, различных) единиц, к которым в отношении воплощения находились бы фонемы, графемы, комбинации точек и тире азбуки Морзе и т. п.⁵ — хотя целесообразность постулирования таких объектов еще нуждается в доказательстве. Однако ясно, что эти единицы не имели бы непосредственного отношения к фонологии. Следовательно, рассуждения об антиномии транспозиции, которые могут быть отнесены лишь к такого рода единицам, также не имеют отношения к фонологии.

Иначе говоря, антиномии транспозиции в фонологии не существует⁶.

³ Статус плана содержания приписывают иногда различительной функции фонемы, однако такое толкование является вряд ли законным расширением понятия плана содержания.

⁴ Ср.: Ю. С. М а с л о в. Какие языковые единицы целесообразно считать знаками?, сб. «Язык и мышление», М., 1967.

⁵ Впрочем соотношение это не было бы одноуровневым: так, азбука Морзе — это уже «третичная» (считая графемы) транспозиция.

⁶ В обоснование отнесения фонемы к конструктам С. К. Шаумян ссылается также на «антиномию парадигматической идентификации фонем» и «антиномию синтагматической идентификации фонем» (С. К. Ш а у м я н, Проблемы..., стр. 26—32). Однако указанные антиномии играют явно периферийную роль в концепции автора (так, они не упоминаются ни в его более ранних, ни — что важнее — в последних работах; см.

Можно ли, тем не менее, отнести фонему к конструктам, не прибегая к помощи «антиномии транспозиции»? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться к рассмотрению того, что понимается под таким объектом, как конструкт.

В рассматриваемых работах не дается вполне эксплицитного указания на критерии, с помощью которых конструкты могут быть отличены от других абстрактных объектов, однако указывается, что конструкты суть понятия о ненаблюдаемых объектах, которые невозможно выработать путем генерализации⁷. Рассмотрим логическую природу объектов, существенными признаками которых были бы те, что указаны выше.

Сразу же следует отметить, что здесь, как представляется, недифференцированно рассматриваются два принципиально различных вида абстрактных объектов, что явствует из следующего.

Тезис о «ненаблюдаемости» можно понимать как утверждение о ненаблюдаемости индивидуальных объектов, составляющих предметную область конструкта — тем более, что С. К. Шаумян в качестве примера ссылается на такие объекты, как ген и т. п. и упоминает понятие «черного ящика» в кибернетике. В этом случае мы будем иметь дело с такими объектами, которые в логике именуются «гипотетическими»: эти объекты в силу тех или иных причин принципиально ненаблюдаемы, и об их существовании можно судить лишь по внешним следствиям их реального наличия (в частности, по взаимодействию этих объектов с другими объектами и т. п.)⁸.

Но что является предметной областью фонемы? Если предметная область фонемы — это «психические объекты», принадлежащие языковому сознанию, т. е. реальным языковым механизмам индивидуальных носителей языка, то фонема — гипотетический объект, «черный ящик». В этом случае реальные звуки есть лишь нечто внешнее по отношению к фонемам, косвенное свидетельство их существования и свойств. Однако это слишком расколотится со сложившимися представлениями, согласно которым звуки *суть* реализации фонем, а не нечто внешнее, лишь косвенно связанное с фонемами. Такие представления подкрепляются также и тем убеждением, что фонемы формируют знаки, которые невозможны вне коммуникации — элементы же языкового сознания являются лишь своего рода предпосылками коммуникации. Отсюда, очевидно, следует, что предметная область фигурирующей в реальных лингвистических описаниях фонемы — это и есть звуки, которые наблюдаемы⁹ (вырабатываемый же на базе этого множества абстрактный объект — фонема, определенным образом сопостав-

С. К. Шаумян, Современное состояние двухступенчатой теории фонологии, сб. «Исследования по фонологии», М. 1966), ввиду чего мы сочли возможным не рассматривать здесь эти антиномии — хотя, мы полагаем, можно показать иллюзорность также и этих антиномий.

⁷ См.: С. К. Шаумян, Проблемы ..., стр. 33; е го же. Операционные определения и их применение в фонологии, сб. «Применение логики в науке и технике», М., 1961, стр. 149.

⁸ См., например: А. А. Зинovieв, Основы логической теории научных знаний, М., 1967, стр. 83.

⁹ Наблюдаемость индивидуальных звуков в начале анализа состоит, конечно, не в том, что мы имеем дело с текстом, естественно расчлененным на сегменты «фонемной протяженности» (хотя именно таково, кстати, мнение С. К. Шаумяна: см.: С. К. Шаумян, Проблемы..., стр. 30) — в качестве данного выступает лишь звуковой континуум, где индивидуальные звуки находятся в отношении своего рода взаимной диффузии. Иначе говоря, непосредственно наблюдаемым является именно звуковой континуум, а уже в его составе — индивидуальные звуки (сегментация же, стремящаяся к фонемной интерпретации текста, должна прибегнуть к определенным лингвистическим критериям; см.: Л. В. Щербачев, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912; Л. Р. Зиндлер, Общая фонетика, Л., 1960).

ляется элементу языкового механизма)¹⁰. Это одновременно означает, что такие фонемы не являются гипотетическими объектами.

С другой стороны, тезис о «ненаблюдаемости» можно толковать применительно к самому конструкту. В этом случае мы либо имеем дело с явно несобственным признаком конструкта (все абстрактные объекты не наблюдаемы в том смысле, что не имеют отдельного существования), либо же постулируемая ненаблюдаемость должна пониматься как невозможность перехода от индивидуальных наблюдаемых объектов к абстрактному объекту путем одной лишь генерализации (о чем как раз и упоминается применительно к характеристике конструктов — ср. выше)¹¹.

Эта последняя интерпретация действительно дает основание для выделения некоторого особого класса абстрактных объектов (о чем и пойдет речь ниже), однако, поскольку понятие конструкта оказывается далеко не очевидным, мы в дальнейшем изложении предпочтем им не пользоваться¹².

Вместо этого мы будем исходить из того, что можно различать абстрактные объекты двух родов¹³: абстрактные объекты первого рода таковы, что в их определение входит указание на такие признаки, которыми принципиально не может обладать ни один из индивидуальных объектов, составляющих предметную область данного абстрактного объекта (например, «плоскость» в геометрии — абстрактный объект первого рода, так как по определению плоскость двумерна, в то время как ни один реальный индивидуальный объект не является двумерным)¹⁴, абстрактные объекты второго рода, напротив, не включают в определяющие их признаки таких, которые принципиально не могут принадлежать индивидуальным объектам¹⁵.

¹⁰ Изложенное, в сущности, означает, что фактически лингвистика (кроме, пожалуй, ее генеративного направления) под языком имеет в виду не только (и даже, может быть, не столько) внутренний языковой механизм («психоязык»), но и отвечающие ему закономерности строения текста, выводимые из текста. Это, в общем, понятно, особенно если учесть, что внутренний языковой механизм складывается именно как отражение выявленных закономерностей текста в его функционировании (ср. также ниже). Проблема, разумеется, слишком сложна, чтобы ее можно было подробно обсуждать здесь.

¹¹ Мы не рассматриваем наиболее тривиальную возможность трактовки «ненаблюдаемости»: отнесение фонемы к «теоретическому языку» в отличие от «языка наблюдения». Это — абсолютно очевидно, так как «язык наблюдения» содержит только предположения, фиксирующие индивидуальные факты» (П. В. Та в а н е ц, В. С. Ш в ы р е в, Логика научного познания, сб. «Проблемы логики научного познания», М., 1964, стр. 41).

¹² Мы не можем здесь анализировать употребление этого понятия в других работах, в том числе в собственно логических. Отметим лишь, что и там приходится встречаться с тем, что термин «конструкт» употребляется с достаточно неопределенной областью значений (так, даже в одной и той же работе, под конструктом, как можно понять, иногда имеется в виду абстрактный объект, который невозможно получить ни путем генерализации, ни путем идеализации, иногда же — любой абстрактный объект; см.: Е. Е. Л е д н и к о в, Проблема конструктов в анализе научных теорий, Киев, 1969, стр. 6—8, 99 и сл.). В некоторых работах наряду с теоретическими конструктами вводятся также «эмпирические конструкты» (П. В. Та в а н е ц, В. С. Ш в ы р е в, указ. соч.).

¹³ Этим мы не утверждаем, разумеется, что возможна лишь такая классификация абстрактных объектов (ср.: Д. П. Г о р с к и й, Вопросы абстракции и образования понятий, М., 1961).

¹⁴ По-видимому, именно абстрактные объекты первого рода ближе всего к конструктам в понимании С. К. Шаумяна — тем более, что и антиномия транспозиции истолковывается как утверждение о невозможности существования таких индивидуальных объектов, которым были бы присущи только лишь семиотические свойства и которые были бы лишены субстанциональных свойств.

¹⁵ Ср.: А. А. З и н о в ь е в, указ. соч., стр. 82 и сл. А. А. Зиновьев называет объекты первого рода абстрактными, а объекты второго рода — эмпирическими объектами (отличая от последних, как можно судить, «реальные эмпирические объекты», соответствующие, вероятно, индивидуальным объектам). Мы предпочли применить термин «абстрактный объект» к объектам, получающимся путем абстракции любого типа, что,

Опираясь на сформулированное выше понимание двух типов абстрактных объектов, вернемся к рассмотрению вопроса: в чем состоит абстрактность фонемы, или, иначе, абстрактным объектом какого рода является фонема?

Ответ на этот вопрос зависит от того, из какого определения фонемы мы будем исходить.

В настоящее время весьма распространенным является определение фонемы как «пучка дифференциальных признаков». Если мы согласимся с такой трактовкой фонемы, то из этого с неизбежностью будет следовать, что фонема — абстрактный объект первого рода, так как ни об одном реальном звуке речи нельзя сказать, что это — сумма дифференциальных признаков. Остановимся, однако, более подробно на анализе приведенного определения фонемы.

Определение это предполагает, очевидно, что дифференциальные признаки устанавливаются независимо от выделения фонемы и до этого. На неправомочность такого подхода с лингвистической точки зрения в литературе уже указывалось¹⁶. Следует отметить также неудовлетворительность анализируемой трактовки с логической точки зрения.

Прежде всего, выбор существенных признаков любого объекта невозможен без предшествующего ему выбора самого объекта¹⁷. Кроме того, определение фонемы по упомянутому образцу объективно подразумевает, что между дифференциальными признаками и фонемой существует отношение включения (или отождествления), что неправомочно: нельзя говорить ни о включении признака в объект, ни о включении объекта в класс признаков, ни об отождествлении объекта и признака — все эти отношения могут быть только между однопорядковыми терминами¹⁸.

Сведение фонемы к пучку дифференциальных признаков выглядит близким «логическому конструированию» по Б. Расселу и редукционизму. На самом деле, однако, здесь возникают серьезные возражения. Мы остановимся лишь на одном из них.

«Логическая конструкция», которую представляет собой набор дифференциальных признаков по отношению к объекту-фонеме, должна заменять этот объект во всех возможных контекстах. В действительности же она не может заменить фонему в самом важном контексте: в формировании означающих языковых знаков. Дело в том, что если фонема — пучок дифференциальных признаков, то она принципиально лишена протяженности и в этом смысле нелинейна — так как (фонологически) дифференциальные признаки не сукцессивны, но симультанны. Отсюда фонема — пучок дифференциальных признаков — не может быть традиционной кратчайшей единицей плана выражения (ибо «краткость» предполагает протяженность), а может быть лишь точкой признакового пространства. Следовательно,

как представляется, более соответствует принятому в логике словоупотреблению (ср., например, Е. К. В о й ш в и л л о, Понятие, М., 1967, стр. 22).

¹⁶ См.: П. С. Кузнецов, О дифференциальных признаках фонемы, В Я, 1958, 1.

¹⁷ См.: А. А. З и н о в ь е в, указ. соч., стр. 63. Сформулированному утверждению противоречит, на первый взгляд, возможность выбора объекта по какому-либо признаку. Но в данном случае объект выбирается из уже имеющегося множества — т. е. выбор объекта, в том числе и рассматриваемого, уже каким-то образом состоялся до выбора существенных признаков этого объекта. Другим кажущимся исключением может представиться выделение объекта как дискретного элемента из некоторого континуума (как это и происходит в фонологии) с помощью определенных признаков. Однако такие признаки (сегментационные) не являются признаками объекта в собственном смысле — после выделения таких объектов последние определяются и классифицируются по некоторым другим признакам.

¹⁸ Ср.: А. А. З и н о в ь е в, указ. соч., стр. 67.

нельзя перейти от принципиально нелинейных, «точечных» фонем к принципиально линейным означающим языковых знаков — хотя, по общепринятым представлениям, именно такой переход должен быть обеспечен.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, таким образом: фонема не может определяться через дифференциальные признаки — в том смысле, что она выделяется независимо от них и лишь впоследствии каждой фонеме ставится в соответствие некоторый набор дифференциальных признаков; традиционное представление о фонеме как кратчайшей единице плана выражения не согласуется с ее определением как пучка дифференциальных признаков.

Необходимо лишь подчеркнуть, что набор дифференциальных признаков фонемы столь же реален, сколь и сама фонема — поэтому в принципе можно условиться, что термин «фонема» применяется именно к такому набору (тогда фонема будет абстрактным объектом первого рода). Следует лишь ясно сознавать, что тем самым мы расстанемся с традиционным представлением о фонеме и что в этом случае возникает необходимость во введении нового термина для того объекта («бывшей» фонемы), которому поставлен в соответствие набор дифференциальных признаков.

Если же мы не производим такой радикальной перестройки понятийного и терминологического аппарата фонологии, то мы должны согласиться с тем, что фонема, как сказано выше, не есть пучок дифференциальных признаков.

Все же другие определения фонемы, не сводимые к указанному («минимальная линейная единица плана выражения...» и т. п.), не включают в себя указания на признаки, которыми принципиально не могли бы обладать звуки речи. Из этого, очевидно, следует, что «традиционная» фонема — абстрактный объект второго рода (и именно из этого мы будем исходить в дальнейшем).

Заметим, что разница между этими объектами — это разница не в уровне, а в типе абстракции: и в том, и в другом случае мы конструируем абстрактный объект, отвлекаясь от одних признаков индивидуальных объектов и выделяя другие — но только в одном случае (построение абстрактных объектов второго рода) абстрагирование основывается на одном лишь отождествлении индивидуальных объектов по некоторым признакам (подробнее см. ниже), в другом же случае (построение абстрактных объектов первого рода) отождествлению предшествует изолирование некоторых признаков, которые, становясь объектом абстрагирования, подвергаются дальнейшему отождествлению¹⁹ (иначе можно было бы сказать, что здесь совмещаются генерализация и гипостазирование)²⁰.

Конструирование абстрактного объекта второго рода осуществляется по так называемому «принципу абстракции»²¹, согласно которому на некотором множестве индивидуальных объектов определяется (с вероятностью, достаточно близкой к единице) отношение эквивалентности по определенному признаку. В итоге строится абстрактный объект, обладающий признаками, общими для приравненных в каком-то отношении индивидуальных объектов²². Именно таким образом и поступаем мы, когда

¹⁹ Ср.: Е. К. В о й ш в и л л о, указ. соч., стр. 256—257.

²⁰ Построение абстрактных объектов первого рода иногда именуется «идеализацией» (см., например: А. Л. С у б б о т и н, Идеализация как средство научного познания, сб. «Проблемы логики научного познания», М., 1964).

²¹ См.: Е. К. В о й ш в и л л о, указ. соч., стр. 257 и сл.

²² Ср. конструирование «абстрактной буквы» у А. А. Маркова: «Возможность установления одинаковости букв позволяет нам, путем а б с т р а к ц и и о т о ж д е с т в л е н и я, построить понятие „абстрактной буквы“. Применение этой абстракции состоит в том, что мы начинаем говорить о двух одинаковых буквах как об о д н о й и т о й ж е б у к в е ... А б с т р а к т н ы е б у к в ы — это буквы, рассматривае-

«конструируем» фонемы, отправляясь от рассмотрения реальных, индивидуальных звуков речи в их функционировании. Чрезвычайно существенно при этом следующее: поскольку наша цель — конструирование лингвистического, семиотического объекта, то, соответственно, и признак, по которому устанавливается эквивалентность индивидуальных звуков, также должен быть лингвистическим, семиотическим. С. К. Шаумян из того факта, что рассматриваемые объекты (звуки речи) имеют акустическую природу, делает вывод, что отождествляться они в этом случае должны также по акустическим признакам (что, утверждается, противоречило бы их семиотическому назначению и т. д.)²³. Однако такое допущение совершенно произвольно, так как «принцип абстракции» не налагает никаких ограничений на характер используемых признаков — это определяется задачами абстракции.

Получаемые описанным выше методом абстрактные объекты — фонемы — соотносятся с индивидуальными звуками, которые послужили основой для их конструирования, как соотносится общее с единичным. Когда говорят, что в речи «нет фонем», что «нельзя произносить фонемы», поскольку это — непростительное смешение уровней абстракции, то, в частности, такие утверждения можно истолковать, как высказывание, например, «[æ] не есть /a/» («Неверно, что [æ] есть /a/») для русского языка ([æ] — аллофон /a/ между двумя мягкими). Очевидно, это имплицитно обосновывается тем, что «/a/ не есть [æ]» (обращение суждения). Если это так, то в данном случае мы имеем дело с элементарной логической ошибкой, которая заключается в следующем. Для того чтобы придать правильную логическую форму высказыванию, противоположному первому из приведенных выше, в него необходимо ввести квантор всеобщности, после чего оно примет вид: «Все [æ] суть /a/». Однако, поскольку в этом высказывании субъект распределен, а предикат — нет, то единственным способом обращения суждения, составляющего это высказывание, является употребление квантора существования при термине, который из предиката превращается в субъект: «Некоторые /a/ суть [æ]» («Существуют такие /a/, что [æ]») ²⁴, где «некоторые /a/» естественно трактовать как аллофоны /a/. Истинность же последнего высказывания, по-видимому, достаточно убедительна.

Таким образом, упомянутое возражение против высказывания типа «[æ] есть /a/» логически неправомерно.

Следовательно, «непроизносимость» фонем достаточно условна и должна быть надлежащим образом интерпретирована как естественное несовпадение общего и отдельного, где общее есть лишь одна сторона отдельного, а отдельное — лишь одна сторона общего. Можно утверждать, что фонема, как она фигурирует в лингвистических исследованиях — это абстрактный (лингвистически значимый) звук, в речи представленный конкретными звуками ²⁵: если фонема /x/ определяется как абстрактный звук, противопоставленный всем другим абстрактным звукам данного языка и обладающий признаками *a*, *b*, *c*, *d*, то в речи такая фонема пред-

мые с точностью до одинаковости» (А. А. Марков, Теория алгорифмов, «Труды Математического ин-та им. В. А. Стеклова», 42, М., 1954, стр. 7—8).

²³ См., в частности: С. К. Шаумян, Логический анализ понятия фонемы, стр. 170 и др.

²⁴ См.: Д. П. Горский, Логика, М., 1963, стр. 158.

²⁵ Ср. рассуждения А. А. Маркова об абстрактных и конкретных буквах: «Проводя абстракцию отождествления по отношению к буквам, мы будем рассматривать конкретные буквы как представители соответствующих абстрактных букв... Мы будем также, говоря о представителях, подразумевать представляемое ими. Например, мы будем говорить о букве *, подразумевая при этом абстрактную букву, представленную буквой *» (А. А. Марков, указ. соч., стр. 7—9).

ставлена конкретными звуками, к которым приложимы все те же характеристики (кроме, разумеется, абстрактности) — плюс целый ряд других, которые могут быть признаны иррелевантными.

Выше уже говорилось, что фонемы как объекты лингвистической теории сопоставлены элементам языкового механизма носителей языка. Языковой механизм обеспечивает два аспекта речевой деятельности: восприятие речи и порождение речи. Наряду с этим полезно отличать процессы, происходящие при формировании языкового механизма, т. е. процессы интериоризации системы языка. Конструирование фонемы, как оно описано выше, соответствует переходу от слышимой звуковой реальности к абстрактным объектам — элементам языкового механизма («психофонемам»). Такое конструирование, следовательно, соответствует прежде всего процессам формирования системы. Тем самым, однако, устанавливается связь между конкретными звучаниями и соответствующими абстрактными объектами, т. е. объясняется именно та связь, которая лежит в основе процессов речевосприятия и речепроизводства.

Из изложенного видна также и специфика лингвистических абстракций. Она заключается не только в том, что здесь отождествление согласно принципу абстракции производится на основании не имманентных, а функциональных свойств. Специфика заключается также в наличии особого, а именно генеративного аспекта. В плане «индивидуальной диахронии» (т. е. онтогенетически) конкретные [а] формируют /а/ языка. В плане же «индивидуальной синхронии» не только конкретные [а] идентифицируются через /а/, но также /а/ порождает конкретные [а] (при функционировании реального языкового механизма или действующей модели языка).

Э. М. МЕДНИКОВА

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

В современном языкознании широкое распространение получило понятие «глубинных структур», связанное со стремлением проникнуть в неподдающиеся непосредственному наблюдению явления, лежащие в основе языка и определяющие связи его единиц. Подлинное понимание глубинных структур в области лексикологии обязательно требует обращения к тому, что без достаточной точности обозначается терминами «словообразовательная связь», «словообразовательный потенциал», «порождающая сила словообразовательной модели» и т. д. и т. п.

Прежде чем перейти к существу этого явления, необходимо уточнить связанные с ним понятия и термины. В области словоизменения для обозначения совокупности флективных изменений слова общепринятым является термин «парадигма».

В области же словообразования внутриязыковая связь между такими словами, как, например, *house, to house, housing, houseful, houseless* и т. д. или *do, a do, doing, doer, overdo, outdo, undo* и т. д., т. е. между разными членами так называемого словообразовательного ряда, остается теоретически неосмысленной и соответствующим образом не обозначенной. Поэтому вполне правомерной является постановка вопроса о «словообразовательной парадигме».

Целесообразность этого термина по сравнению с термином «ряд» подтверждается и тем обстоятельством, что «ряды» неизбежно создают впечатление последовательного наращивания, тем самым как бы исключая одновременность существования соответствующих слов в языке, нелинейность отношений между ними.

Далее, в современном языкознании для обозначения слова как единицы языка используется термин «лексема». Лексема — это абстрактное понятие инварианта, лежащее в основе грамматических изменений отдельных слов и включающее в себя всю заложенную в какую-либо данную парадигму потенцию изображения форм. Для обозначения конкретной манифестации слова в речи используется термин «аллолекса». Аллолексы — это варианты данной лексемы, базирующиеся на наличии в конкретном языке определенных грамматических категорий. Слова, обладающие одним и тем же набором грамматических (формообразующих) категорий, объединяются в определенные классы — «части речи».

Производные и сложные слова, занимающие значительное место в словарном составе всех европейских языков, кроме свойственных им как лексемам признаков, обнаруживаемых в парадигматических и синтагматических связях этих слов, обладают особыми специфическими для них признаками.

Эти признаки могут быть наблюдаемыми, т. е. получающими определенное «формальное» выражение, и ненаблюдаемыми. Например, слово, входящее в одну словообразовательную парадигму и являющееся лексемой с присущими ей семантическими и грамматическими категориями,

связано с обладающими теми же категориальными признаками словами, входящими в другую словообразовательную парадигму. Таким образом, по общим вещественным и формальным признакам существует легко наблюдаемая связь между словами *teacher, builder, sender, caller* и т. д.; или *re-write, re-read, re-arrange, re-stock* и т. д. или *a run, a jump, a wait, a think*.

С другой стороны, между словами типа *re-write* например, и типа *a run* тоже существует определенная, хотя уже не столь легко наблюдаемая связь, поскольку и в тех и в других выражается общее понятие «процессности» — в первых в виде «повторного действия», а во вторых в виде «однократного действия».

Следовательно, словообразовательные изменения можно рассматривать, с одной стороны, в плане связи между словами, образованными от одного корня, с другой — в плане связи между словами, образованными в соответствии с потенцией словообразования, характерной для данного языка, и с третьей — в плане связи между самыми общими морфологически закрепленными лексическими категориями¹.

В первом случае мы имеем дело со словообразовательной парадигмой, во втором — с реализацией лексико-морфологических категорий, проявляющихся на словообразовательном уровне, а в третьем — с классом слов, объединенных на основе общности лексико-морфологических категорий. Такие классы слов мы предлагаем называть «гиперлексемами», считая, что гиперлексема — это инвариантная единица более высокой степени абстракции, чем лексема.

Каждому конкретному языку свойственны особые, специфические для него, лексико-морфологические категории. Например, в русском языке широко представлена категория увеличительности и уменьшительности; ср. *дом, дождь — домина, домище, дождина, дождище* и, соответственно, *домик, домишко, домок, дождик, дождичек* и т. п.

В английском языке лексико-морфологическая категория увеличительности отсутствует вообще. Поскольку основой любой лингвистической категоризации является воспроизводимость, в данном случае связываемая с понятием продуктивности словообразовательных средств, можно, по-видимому, сказать, что и категория уменьшительности практически не существует, за исключением сферы образования уменьшительно-ласкательных имен собственных на *-iel/-y²*.

Для английского языка естественным является выражение понятий увеличительности и уменьшительности при помощи самостоятельных лексем (например, *drizzle, shower*) или различного рода словосочетаний, эмоционально-экспрессивные коннотации которых зависят как от значений составляющих их слов, так и от типа самого словосочетания. Ср. *a large (big) house, an enormous (huge) house, a small (little) house, a tiny house, a giant of a house, a pigmy of a house, a heavy rain, a pouring rain, a light rain, a drizzling rain, a beast of a rain*.

Обращаясь к рассмотрению лексико-морфологических категорий, которые конституируют гиперлексемы английского языка, прежде всего необходимо обратить внимание на два обстоятельства. Первое из них свя-

¹ Под лексической категорией мы, вслед за А. И. Смирницким, понимаем «такие языковые единства наиболее общего характера, которые проявляются в семантическом противопоставлении по определенному признаку двух или более слов, при том условии, что такое же противопоставление наблюдается и в других парах или больших группах слов и имеет систематическое выражение» («Морфология английского языка», М., 1959, стр. 205).

² Уменьшительные суффиксы *-ling, -let/-et, -kin/-in* не являются продуктивными кроме того, хотя количество образованных при помощи этих суффиксов слов и так весьма невелико, далеко не все из них воспринимаются как производные в современном английском языке.

вано, с тем, что английский язык характеризуется совершенно особыми, отличными, например, от русского языка, возможностями, характером и, в определенном смысле, телеологическим аспектом словообразования, широко используемыми в обычной литературной и разговорной речи, не выходящими ее за рамки основных речевых функций. Поясним сказанное на примерах: в английском языке практически от любого глагола одним и тем же способом образуется имя деятеля, причем не только в том случае, когда имеется в виду профессия или постоянное занятие (*teacher, writer, carpenter, swimmer, broadcaster*; ср. русск. *учитель, писатель, плотник, пловец, диктор*), присущее человеку внутреннее качество или свойство характера (*worrier, crier, talker, blurter* и т. п., ср. русск. *паникер, плакса, болтун* и т. п.), но и тогда, когда имеется в виду временное занятие, действие, состояние. Например, *a writer* — это и писатель, и тот, кто пишет, скажем, письмо (пишущий письмо), *a dancer* — это и танцовщик (танцовщица), и тот, кто умеет танцевать (ср. русск. *танцор*), и тот, кто танцует в данный момент (танцующий).

Далее, в русском языке существуют сложнопроизводные прилагательные *голубоглазый, чернобровый, широкоплечий, односторонний, остроносый* и т. п. Однако по аналогии с ними «нормально» не образуются такие прилагательные как **прямозубый, *тяжеловекий, *одноидейный, *мягконошосенный* и т. п. (ср. англ. *straight-toothed, heavy-lidded, one-idea'd, soft-soled* и т. п.). Данные понятия передаются в русском языке словосочетаниями типа *с прямыми (ровными) зубами, с тяжелыми веками, (находящийся) под властью одной (неотступной) мысли, на мягкой подошве* и т. д. Такие же образования с глобальной номинацией, как *двухметроворостая (змея), окалошенные (ножки), бутылочноглазый (субъект), крысонепроницаемый подвал* и т. п., употребляются не столько для того, чтобы передать содержание, свойственное участвующим в их образовании основам, сколько в метасемиотической (т. е. особой стилистической) функции, и воспринимаются как специальный прием определенного эстетического или эмоционального воздействия.

В английском же языке подобные образования стилистически нейтральны (ср. *a high-backed chair* — *кресло с высокой спинкой, sweat-drenched* — *взмокший от пота, hand-picked journalists* — *специально отобранные журналисты* и т. п.). То же относится и к другим видам словообразования, например, к образованию сложных прилагательных (*a house-proud woman, leg-inspiring rhythm* и т. п.), к образованию сложнопроизводных существительных (*a do-gooder, a six-footer, a well-wisher, a lady-killer, a baby-sitter* и т. п.) и особенно, конечно, к образованию глаголов по конверсии (*to seat, to father, to book* и т. п.)³.

Второй момент, на который нужно обратить внимание, — это то, что в английском языке только глагол может рассматриваться как обладающий определенными категориальными признаками в полной мере, т. е. как конституируемый достаточным количеством четких грамматических категорий⁴. Другие же части речи в английском языке не определяются столь же четкими и разнообразными категориями.

³ Из сказанного не следует, что эта «свобода» в области словообразования исключает возможность метасемиотического использования присущих английскому языку словообразовательных возможностей. Например, в таких случаях, как *promise-crammed air* (Shakespeare), *un-idea'd girls* (S. Johnson), *blue-behind'd ape* (R. L. Stevenson), *this twisting-eyebrowed baronet* (J. Galsworthy), *star-skied town* (C. Macinnes), *wishers-after-leath* (R. Bradbury), *nose-looker-downers* (E. Queen), *nose-turner-uppers* (N. Freeling), *the order-givers and the order-carr-g-outers* (A. F. Russel), *Margaret-weakened George* (J. Tey) — основной функцией сложных образований является именно стилистическая функция.

⁴ Стройная система категорий английского глагола разработана А. И. Смирницким (см. «Морфологию английского языка»).

Такое положение приводит к тому, что наиболее отчетливо выделяется гиперлексема «процессности». Это значит, что на основе лексико-морфологической категоризации выделяется класс слов, выражающих общее понятие «процессности».

Категории, конституирующие эту гиперлексеми и реализующиеся противопоставлением соответствующих категориальных форм, могут быть представлены следующим образом⁵.

1. Категория вида процесса⁶, проявляющаяся в противопоставлении слов, реализующих значение процесса (действия, состояния) в его протекании во времени, тем словам, в которых процесс выступает как единичный, однократный акт. Таким образом, категориальные формы, конституирующие данную категорию, могут быть обозначены как форма процесса действия и форма однократного действия.

Первая реализуется в образованных от глагольной основы словах с суффиксом *-ing*, как то: *writing, thinking, knowing, demonstrating, translating* и т. п.⁷, например, *abrupt, goings and comings* (W. S. Maugham); *his beginnings and his becomings* (A. King); *there haven't been many sinkings that way lately* (Gr. Greene).

Форма однократного действия образуется конверсией от глагола и реализуется в таких словах, как *a run, a jump, a wait*, и т. п., например, *I had a good think* (G. K. Chesterton); *the Ford wasn't a bad buy* (G. Metalius); *What a sell, what a frightful sell!* (L. P. Hartley); *If you want a sure win, play number nine* (D. Stewart).

Категория вида процесса весьма широко представлена в английском языке, особенно в разговорном стиле речи, причем часто ее употребление связано с несущими глагольную функцию сочетаниями типа *to do the writing, to do the translating* и т. п. или *to have a look, to have a smoke, to take a look, to take a walk, to make a start, to make a break* и т. д.⁸.

2. Категория относительного (производного) процесса. Сложность данной категории заключается в том, что здесь наблюдается как бы наслаивание друг на друга различных видов противопоставлений: во-первых, самое общее понятийное противопоставление слов со значением непосредственного процесса тем словам, общим значением которых является опосредствованный процесс. Во-вторых, конкретно, слова с опосредствованным процессным значением противопоставлены словосочетаниям со словами, от основ которых они производятся. Ср., например, *to pen — to write with a pen, to breakfast — to have breakfast, to atomise — to break (in) to atoms, to enthuse — to show, display enthusiasm* и т. п.

⁵ Мы хотим заранее предупредить, что по существу приведенный ниже материал не содержит каких-либо фактов, которые в той или иной мере не были бы описаны в литературе. Однако когда речь идет о словообразовании, предлагаемые аспекты его рассмотрения, анализ и классификация представляются наиболее адекватными современному состоянию науки.

⁶ Мы попытались найти для рассматриваемых категорий адекватное метаязыковое выражение. Однако приходится еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что в лингвистическом описании, особенно в таком, которое связано с семаснологией, исследователь сталкивается с трудностями, обусловленными в первую очередь тем, что для научного описания языка приходится использовать его же собственные термины. Подобная «единосущность» (консубстанциональность) приводит к неопределенности, диффузности, тавтологии, которую часто не удается преодолеть. Поэтому предлагаемые обозначения категорий следует считать в значительной мере условными.

⁷ Реализация рассматриваемой категориальной формы не зависит от существования близких по значению слов с иной структурой, например, *arrival, departure* и т. п., или имен действия типа *demonstration, translation* и т. п.

⁸ Кроме того, для разговорного стиля речи характерны реализующие эту категорию (особенно в форме однократного действия) слова с более сложной структурой, а именно, образования от глагольно-наречных коллокаций, глобальных по своей семантике. Например, *a talking-to, a carrying-on* и т. п., или *a mix-up, a look-out* и т. п.

И, наконец, в связи со способом образования категориальные формы производного процесса оказываются противопоставленными исходным словам, не имеющим процессного значения⁹.

Эти категориальные формы образуются различными видами вербализации, из которых основным является конверсия. При помощи конверсии глаголы производятся от 1) субстантивных основ, как простых, корневых (например, *to rank, to winter, to tongue*), так и производных (например, *to package, to companion, to parliament*), сложных (например, *to highlight, to blacklist, to machine-gun*) и опрошенных (например, *to breakfast*¹⁰; 2) от основ прилагательных (например, *to yellow, to thin, to sharp*; см. также *Racine well Englished at last; his subsequent play has been Irished from Anouilh* — из литературного приложения к «Таймс»); 3) от основ наречий (например, *to up, to down*); 4) от сокращений (например, *to vet* < *vet* < *veterinary*; *to bolshie* < *bolshie* < *bolshevik*; *to snafu* < *snafu* < *situation normal, all fouled up*); 5) исходными для глагола могут служить также и словосочетания, особенно те, которые имеют более или менее идиоматический или устойчивый характер. В качестве примера можно привести *to blackball*, образованное от фразеологической единицы *black ball* (*They'll blackball anyone* — A. Waugh); *to first-name* от устойчивого сочетания *first name* (*He first-named them, asked questions about their families* — B. Appel); *to third-degree* от устойчивого сочетания *third degree* (*to start third-degreering the Mattsons* — M. Lang); *to black coffee* (*I just black coffeed my way through* — R. P. Wilmot) и т. п. 6) и, наконец, в качестве основы глагола может выступать междометие; причем здесь «процессность», как правило, связана с превращением прямой речи в косвенную и рассматривается как акт «произнесения» междометия. Например, *He pooh-poohed the idea* (R. Lehman); *Some booed the Dean* (P. H. Newby); *Attercliffe shushes him again* (J. Arden); *He drew up alongside and whathoed* (P. G. Wodehouse) и т. п.

В связи с данной группой слов необходимо отметить, что в глагольные могут превращаться и другие основы, выделяемые из прямой речи, и даже словосочетания или целые предложения. Например, *Don't start 'Now Maxwellling me'* (A. Waugh); *Pongo absolutely-ed heartily* (P. G. Wodehouse); *The driver had to «Hey, bud» him awake* (H. Slesar).

Суффиксация также является весьма распространенным средством выражения категории производного процесса. Наряду с такими глаголами, как *rationalize, lionise, westernize, revivify, objectify* и т. п., все чаще встречаются новые образования. Например, *to missionarize* (*What does a missionary do when he cannot missionarize any more?* — H. Suyin); *to miniaturize* (*Everything has been miniaturized, transistorized, servoreinforced and automated* — E. Burdick) — ср. *to minify, to citify, to nazify* и т. п.

В рассматриваемой категории отдельное место занимают глаголы, образованные регрессией, типа *to buttle* от *butler* (*I don't think you'll need to do much buttlin' for us tonight. We can buttle for ourselves* — J. B. Priestley); *to liaise* от *liaison* (*You will have to liaise with the County* — M. Allingham);

⁹ Обозначая процесс, связанный с данным предметом, конкретные значения слов, в которых представлена категориальная форма производности, выступают каждый раз в виде определенной, конкретно-исторически обусловленной семантической связи с исходной основой, рассмотрение которой не входит в нашу задачу.

¹⁰ Мы не выделяем отдельно конверсию (вербализацию) собственных имен (см. например, *The next afternoon Lois Rolls-Royced into Crunnoch* — D. Walker), поскольку для них характернее участие в коллокации с глаголом *do*, как например, *to have done a Byron and woken up one morning and found oneself famous* (C. Brand) — уподобиться Байрону — быстро и неожиданно прославиться.

to locomote от locomotion (A car, however splendid, was a means of locomotion and it must at all times be ready to locomote — P. Cheney) и т. п.¹¹

3. Категория повторного процесса, проявляющаяся как в словах со значением повторения действия, так и в словах со значением возвращения к первоначальному состоянию. Ее категориальные формы, выявляемые противопоставлением первичного процесса повторному, определяются наличием/отсутствием префикса *re-*¹² в различных словах, выражающих действие или состояние как процесс. Например, *cast — recast (to recast a gun; to recast a chapter; to recast a column of figures; to re-cast a play — Hornby); seat — reseat (Slowly Mr. Osport re-seated himself — C. F. Gregg; He will have to reseat this pair of trousers — Hornby); divide — re-divide (that Bulgaria should be divided into two parts — later Bulgaria was re-divided into one part — W. C. Sellar); think — re-think (He'd had to re-think and perfect the plan — A. Garve)* и т. п. Или: *writing — rewriting*¹³, *housing — rehousing, appointment — reappointment, translation — retranslation* и т. п. См. также *jill — refill (He caught the waiter's eye to order a refill — G. H. Coxe); birth — rebirth (It was like a rebirth — L. P. Hartley), issue — re-issue (Some people had plates of food, by now, and there seemed to have been a lavish re-issue of red wine — N. Gordimer)* и т. д.¹⁴

Данная категория проявляется и в словах типа *remade, reborn, rebound, republished, re-printed*, где значение повторного процесса усложнено «признаковым» значением, возникающим вследствие приобретения глагольными формами определенных синтаксических и грамматических характеристик, связанных с выражением признака.

Несколько иначе соотносится признаковость и процессность в словах типа *reincarnate, regenerate, recurrent, reproductive, redistributive*, в которых

¹¹ Формально к образованным по способу регрессии можно отнести и такие сложные глаголы, как например: *to housekeep, to caretake, to chain-smoke, to baby-sit, to proof-read* и т. п. Однако, хотя *housekeeper* (или *housekeeping*), *chainsmoking*, *baby-sitter* (или *babysitting*) и т. п. по времени образования предшествуют указанным глаголам, почему здесь и можно ставить вопрос о регрессии, этот тип глагольного производства настолько продуктивен, что есть все основания считать указанные глаголы независимо образованными по словообразовательной модели «основа существительного + основа глагола». См. также *to best-sell*, где первая основа не является именной: *All very well if he pulls a best-seller out of the first list but supposing they don't best-sell, none of them (J. Bonnet)*.

¹² Сюда, естественно, не входят слова, которые можно, как это делается в Оксфордском словаре, назвать до-английскими производными (*pre-English compounds*) и в которых префикс *re-* в современном английском языке либо не выделяется (например, *rebel, remonstrate, resist, remain, resume, regard, respect, remark, result* и т. п.), либо, являясь омографом, имеет другое значение и отличное от рассматриваемого нами продуктивного *re-* произношение (например, значение «ответности»: *requite, revenge* и т. п.; «усилительности»: *rejoice, redound, redouble* и т. п.). Ср. также *count — re-count* и *recount* в значении «рассказывать», *lease* (конверсия от сущ. *lease*) — *rl-lease* и *release* в значении «освобождать, открывать» и т. п.

¹³ То обстоятельство, что мы включаем имена действия (а ниже и прилагательные), может вызвать возражения в том смысле, что рассматриваемая категория перестает быть лексической и становится лексико-грамматической. Однако это объясняется следующим образом. Во-первых, первичность/повторность появляется здесь в противопоставлении одного имени действия (или прилагательного) другому, т. е. не связана с грамматическими моментами. Во-вторых, классификация слов на рассматриваемом уровне по определению предполагает объединение слов, связанных семантической общностью в самом широком смысле и поэтому, даже в том случае, когда категоризация ведет к известным различиям грамматического характера (см. например, категорию вида процесса или категорию производного процесса), не они являются определяющими.

¹⁴ При рассмотрении данной лексической категории не имеет значения последовательность самого процесса словообразования, т. е. тот факт, что, например, как можно предположить, *re-establishment* образовано от *re-establish*, а не *establishment, resettlement* от *resettle*, а не от *settlement* и т. д. Важно, что в современном языке существуют две морфологически выраженные категориальные формы.

также воплощается категория повторного действия. Здесь признак является как бы результатом лежащего в основе значения слова процесса.

4. Категория обратного процесса, воплощающаяся как в словах со значением действия, направленного на уничтожение результатов предшествовавшего действия, так и в словах со значением действия, связанного с прекращением какого-либо действия или состояния. Категориальные формы этой лексической категории, противопоставляющие прямое действие обратному, определяются наличием/отсутствием префиксов *un-, dis-, de-*. Например *build — unbuild* (*The winds and sunbeams... build up the blue dome of air... I arise and unbuild it again — P. B. Shelley*); *wrinkle — unwrinkle* (*I was sitting at my window watching the city unwrinkle from sleep — L. Durrell*); *do — undo* (*I had to... undo my loneliness — J. Aldridge*); *connect — disconnect* (*Disconnect your telephone when you get back to your room — P. Cheney*); *call to the bar — disbar* (*He will be disbarred — W. S. Maugham*); *compress — decompress* (*The pain in his ears reminded him to stop and decompress — J. Aldridge*)¹⁵.

Данная категория, подобно предыдущей, находит воплощение и в таких словах, как *fettered — unfettered*, *married — dismarried* (M. Innes), *populating — de-populating* (A. Johnstone), в которых значение признака, появляющееся вследствие приобретения ими определенных синтаксических и грамматических характеристик, является производным по отношению к заложенному в них процессному значению. Кроме того, она представлена и в именах действия. Например, *unbending, disorganisation, denazification*.

5. Категория процесса лишения (каритивности), в которой действие предстает как отнятие, изъятие чего-либо¹⁶. Эта категория связана с предыдущей общностью выражения одной из категориальных форм (префиксы *un-, dis-, de-*), в то время как вторая ее форма проявляется в словах с предметным значением; например, *beauty — unbeauty* (*Knowing her smile unbeautied her — H. Suyin*); *pod — unpod* (*The thistle that one breath of wind might unpod in a season of thistles — R. Bradbury*); *horn — dishorn*; *branch — disbranch*; *gut — degut* (*She cleaned her hands after assisting to degut the gazelle — M. M. Kaye*); *nature — denature* (*This hideous century we live in, which has denatured humanity — L. P. Hartley*).

Эта категория реализуется, соответственно, и в словах типа *uncorked, unhorned, disbranched, unmasked (an unmasked villain)* и т. п. и *uncorking, unhorning, degutting, denaturing*.

Вследствие определенной семантической близости общего (категориального) значения, формально подтверждаемой использованием в категориальных формах тех же префиксов (хотя и с разными оттенками значения), между категориями обратного процесса и процесса лишения не всегда удается провести четкую границу, т. е. установить, какая именно категория представлена в том или ином слове. Создается впечатление, что в некоторых словах эти категории не различаются. Например, что значит *unchain* — «расковывать», «освобождать», «спускать с цепи», «открывать» [категория обратного процесса; ср. *to chain (up), to put in chains* «зако-

¹⁵ Здесь, как и в предыдущей категории, существует опасность смешения, с одной стороны, со словами типа *discard, discern, disgust, disconcert, disgrace* и т. п. (см. примеч. 12), а с другой — с такими словами, в которых префиксы *un-* и *dis-*, являясь омонимичными рассматриваемым нами префиксов (дизигнативная несовместимость в разных случаях употребления), имеют отрицательное значение (*disapprove, disagree, disbelieve, unlearned, unreported, undamaged, unbroken, unknowing* и т. п.) или усилительное значение (*unloose, disannul* и т. п.; ср. с русск. *разобидеть, расхвалить, раскричаться, разбаловаться* и т. п.).

¹⁶ Ср. русские слова с приставкой *обез-/обес-*: *обезболить, обездомить, обезличить, обезцветить, обезпачить, обезножить* и т. п.

вывать», *to put on a chain* «сажать на цепь», «закрывать на цепочку»] или «лишать цепей», «освобождать от цепей», т. е. фактически тоже «расковырять», «освободить»? Конечно, в контексте *The dog was unchained* или *They unchained the door* рассматриваемое слово обнаруживает значение обратного процесса. Однако в *They unchained the men, When man is unchained...* оно не может быть истолковано однозначно.

Даже в тех случаях, когда вторая категориальная форма имеет процессное значение, т. е., казалось бы, положительная форма (с префиксом) не может означать каритивности, мы сталкиваемся со сложным переплетением значений. Например, слово *dehumanize* воспринимается в первую очередь как имеющее значение обратного процесса — «делать грубым, варварским» (ср. *humanize* «очеловечивать»). Однако не значит ли оно также «лишать человеческих качеств»? Или: *deoxidize* «раскислять; восстанавливать» (ср. «отнимать кислород»). В подобных случаях мы можем опереться на формальный признак и считать, что в данных словах, независимо от возможностей толкования, воплощена категория обратного процесса.

Значительно сложнее дело обстоит с наиболее простыми в структурном отношении словами, образованными от корневой основы. Здесь затруднения в определении категориального значения связаны с тем, что, вследствие широких возможностей конверсии, не всегда удается установить, к какому лексико-грамматическому классу относится вторая категориальная форма. Например, если *cork* является существительным, то в *uncork* (*He uncorked the bottle*) представлена лексическая категория процесса лишения, если же *cork* является конверсией от существительного (*Mr. Urquhart told me to cork it up tight — D. L. Sayers*), то в *uncork* (*He uncorked the bottle*) выступает категория обратного процесса. Таким же образом можно решить вопрос о том, что значит, например, *discrown* «отобрать корону», или «свергнуть с престола» (того, кто был *crowned*).

Как видно из приведенных примеров, близость этих категорий такова, что даже контекст не всегда помогает точно определить, какая из них выступает в том или ином случае. Однако, как правило, спорные случаи получают именно контекстное разрешение. Ср., например, *unhorse* — «отобрать лошадь» и «выбить из седла»: *For the moment another man was in the saddle. He would first have to be unhorsed* (P. Cheney).

Интерес в этом смысле представляет и слово *disarm*, которое, в зависимости от того, является ли вторая категориальная форма переходным или непереходным глаголом, обнаруживает значение процесса лишения или обратного значения. Ср. *вооружить* и *разоружить*, т. е. уничтожить результат «вооружения» и вернуть к состоянию «невооруженности» (например, *Which country will be the first to disarm? Several disarmament conferences were held after the war of 1914—1918 but rearmament made more progress than disarmament*) и *обезоружить, разоружить*, т. е. отнять, отобрать оружие (например, *Over a thousand enemy soldiers were captured and disarmed*).

6. Категория сравнительности процесса, проявляющаяся в противопоставлении слов со значением нормального процесса (действия, состояния) тем словам, значение которых указывает на его неполноту, недостаточность, с одной стороны, избыточность, излишек, с другой, или преобладание в действии, часто связанное с превосходством в достижении результата, с третьей. Сравнительные категориальные формы реализуются в основном в сложных глаголах с наречиями, соответственно, *under*, *over* или *out* в качестве первых основ¹⁷.

¹⁷ Обычно подобные сложные глаголы соотносятся с русскими приставочными глаголами на недо- (например, *недобрать, невыполнить, недоплатить, недооцени-*

Например, *letters from booksellers who had under-ordered* (N. Gordimer); *He underacted the part of Hamlet* (Hornby); *They understate their losses* (Hornby); *Don't underestimate the enemy's strength* (Hornby); *... perhaps he'd overstated things a trifle* (J. C. Masterman); *That grocer always overcharges* (Hornby); *they overflow about the place* (C. Macinnas); *He overdid his part in the play* (Hornby); *able to outlast, outthink, outfight and outrun anyone of his species* (T. Sturgeon); *Scobie had been out-manoeuvred in the interminable war over housing* (Gr. Greene); *He had outswum his strength, underestimated the power of the current* (A. Waugh).

Теоретически можно представить, что от любого глагола, особенно глагола активного действия (хотя возможны и такие образования как *over-sleep*), образуются все категориальные формы, например, *bid — underbid — overbid — outbid*, *do — underdo — outdo — overdo*, *sell — undersell — oversell — outsell* и т. п., однако, фактически, в речи используются далеко не все из них. Некоторые категориальные формы как бы остаются потенциальными.

Категория сравнительности представлена также входящими в гиперлексему процессности словами с производным признаковым значением. Например, *India is overpopulated and Australia is underpopulated* (Hornby); *His body felt overrested and underrested all at once* (R. Frede); *Here we sit, overfed, overdressed. Only not overwined because I can't afford it* (M. R. Rinehart); *Eating was grossly underpoliced* (J. Trench); *The terrible years he had spent as an underfed, underpaid undermaster in a Welsh school* (D. Frome).

7. Категория агентивности, реализующаяся в противопоставлении слов со значением действия (процесса, состояния) тем словам, которые обозначают деятеля, исполнителя данного действия (процесса и т. д.). Категориальные формы данной категории выступают в виде глаголов, с одной стороны, и имен, образованных посредством агентивного суффикса *-er* от основ этих глаголов, с другой. Выше уже приводились примеры этой категориальной формы и указывались некоторые ее особенности. Добавим к этому еще одно замечание: реализация агентивности не зависит ни от характера действия, ни от того, каким образом оно представлено, т. е. здесь нет ни семантических, ни фономорфологических, ни каких-либо иных ограничений.

Имя деятеля может быть образовано: 1) от глагольно-наречных коллокаций, например, *a looker-on* (а также *an onlooker*), *a runner-up*, *a cutter-off*, *a giver-up* и т. п. Здесь, как можно заметить из того, что суффикс *-er* прибавляется к глагольной основе, а не к основе всей коллокации, имя деятеля структурно представлено в виде особого пограничного случая между сложнополовозводным словом и слитным речением. От этих же коллокаций имена деятеля могут быть образованы и двукратным применением суффикса *-er*, как например, в *a dresser-upper*, *a cheerer-upper*, *a tearer-downer*, *a feeler-outer* и т. п.¹⁸; 2) от адъективно-именных коллокаций типа *bitter end* (*The few remaining bitter-enders came straggling out —*

вать и т. п.), *пере-* (например, *пересолить*, *перемудрить*, *перекричать*, *перевешивать* и т. п.) и *пре-* (например, *превысить*, *преодолеть* и т. п.). Однако в случае с *out-* (*пре-*) русский эквивалентом чаще является описательное выражение. Ср. например, *out-work* и *работать лучше и быстрее*; *outride, outrun, outsail* — *перегнать, обогнать* (на лошади, в бегах, на корабле) или *скакать, бежать, плыть быстрее*; *outsell* и *продать лучше, дороже, быстрее, чем другой товар* (или *другой продавец*); *outwear* и *быть прочнее, носить дольше* и т. д.

¹⁸ Особый стилистический, вернее, метасемантический, характер имен деятеля, образованных не от отдельного слова, а от различных словосочетаний, совершенно очевиден, однако это лишь подчеркивает универсальность данной категории и косвенно отражает специфику английской лексической системы, для которой характерно процессное отражение внешнего мира.

C. Woolrich); *last ditch* (She was a last-ditcher by nature — J. Tey); *simple life* (They were simple-lifers — I. Azimov) и т. п.; 3) от свободных сочетаний глагола с существительным, выражающих предикативно-объектные отношения. Здесь, как правило, словопроизводство связано с позиционным перераспределением основ и с морфологическими изменениями в именной основе, превращающей в модификатор глагола (адвербиализация). См. например, *to drink beer — a beer drinker* (P. H. Newley); *to waste time — a time-waster* (J. O'Hara); *to make phrases — a phrase-maker* (C. Macinnes) и т. п. Однако такие изменения могут и не происходить и тогда вместо *a beer drinker* образуется структурно более сложное имя деятеля *a drinker of beer* или *a giver of joy* (G. Albee) и т. п.; 4) от сочетаний глагола с обстоятельственным предложным оборотом; например, *to winter in Europe — a winterer-in-Europe* (P. Quentin); *to breakfast in bed — a breakfast-in-bedder* (D. Walker); *to pull (smb) out of a river — a puller-out-of-rivers* (J. Tey) и т. п.¹⁹.

Категория агентивности обнаруживает еще одно, как бы следующее за уже рассмотренным, противопоставление — по линии субъекта — объекта действия, т. е. исполнителя действия и того, на кого это действие направлено. Так образуется связь: действие²⁰ — исполнитель действия — объект действия. Категориальная форма последнего оформляется суффиксом *-ee*. Например, *to interview — interviewer — interviewee*, т. е. «тот, кого интервьюируют» (*The interviewee determines the nature of the interview — Television news reporting*); *to amputate — amputator — amputee* «тот, кого подвергают ампутации» (*We're like amputees. We continue to feel an itch in the hand that was cut off ten years ago — A. Vail*); *to write somebody's biography — biographer — biographee* «тот, чью биографию пишут» (*At such-and-such a point the biographee's life left one phase and entered another — J. O'Hara*) и т. п. Здесь могут образовываться и смешанные цепочки типа *send — sender — addressee* или *address — sender — addressee*.

В категории агентивности обращает на себя внимание некоторая нерасчлененность категориальных форм, подобно той, с которой мы столкнулись при рассмотрении категорий обратного и каритивного процессов. Так суффикс *-ee*, в зависимости от того, образует ли он производное слово от основы непереходного или переходного глагола, приобретает либо активное, либо пассивное значение. Например, *escapee* (P. Cheney) — это не объект действия, а «тот, кто бежит; беглец» (= *escaper* — H. Macinnes). Ср. *refugee* (M. Mitchell) — «беженец»; *waitee* (B. Crosby) — «тот, кто ждет»; *standee* (R. Traver) — «тот, кто стоит», *returnee* (R. L. Marks) — «тот, кто возвращается»; *absentee* (L. P. Hartley) — «тот, кто отсутствует»; *devotee* (R. Benchley) — «тот, кто чему-либо предан, энтузиаст», «страстный любитель, почитатель, болельщик» и т. п.²¹.

¹⁹ Следует отметить, что хотя в русском языке также имеются различные возможности для образования сложных имен деятеля (см. например, образованные от предикативно-объектных сочетаний *телезритель, фотолюбитель, пенкосниматель* и т. п.), крайние, имеющие в значительной мере метасемантическую функцию случаи довольно редки. Смотри, например, «... Вы, Юра, очень любите рассуждать о пользе. Между тем вокруг бегают невообразимо сложные кибердворняки, киберсадовники, киберпоездители-мух и -гусениц, киберсоорудители-бутербродо-с-ветчиной-и-сыром ...». А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Возвращение, М., 1962, стр. 69).

²⁰ Здесь может выступать и «непосредственное», «прямое», действие и производное. В последнем случае связь может быть продолжена «влево» к предмету. Например, *licence — to licence — licensor — licensee*.

²¹ Между указанными двумя видами реализации суффикса *-ee* имеется и целый ряд переходных случаев. Например, *licensee* — это, с одной стороны, «тот, кому выдается разрешение», а с другой — «владелец разрешения», в частности «хозяин питейного заведения». Переходный характер такого рода случаев объясняется, прежде всего, неоднозначностью суффикса, хотя немалую роль в этом играет и индивидуальная

*

Нам удалось выделить семь конституирующих гиперлексему процессности лексико-морфологических категорий. Между ними наблюдается сложная система взаимодействий, пересечений, наслоений, обнаруживаемая при изучении категориальных форм в их конкретных воплощениях, т. е. при изучении «аллогиперлекс» данной гиперлексеми²². Однако можно обнаружить и некоторые общие закономерности, характерные для гиперлексеми процессности вообще.

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что в составе гиперлексеми процессности объединены слова, принадлежащие на алломическом уровне к разным частям речи.

С другой стороны, на основе формального признака — характер исходной основы — можно наметить два подкласса, подкласс аллогиперлекс, исходной для которого является не-глагольная основа; причем на данном уровне вопрос об исходной основе не может решаться однозначно. Для каждой категориальной формы исходной является та основа, от которой эта форма образуется при помощи присущих ей формальных показателей. Так, если реализация категориальной формы производного процесса связана с не-глагольными исходными основами, то для категориальных форм процесса действия, повторности, агентивности и т. д., обнаруживаемых в словах с тем же корнем, исходными всегда являются уже вторичные глагольные основы.

Формальное деление на подклассы в зависимости от исходной основы подтверждается лишь тем, что категориальная форма однократного действия реализуется только в словах с исходной глагольной основой, в то время как категория производного процесса и процесса лишения свойственны исключительно словам с не-глагольной исходной основой.

Реализация остальных категорий связана с конкретным значением основы и также с более общими свойствами данного языка (наличие/отсутствие других слов с таким же или близким значением), с языковой традицией и, наконец, с фонологическими факторами (благозвучие).

Казалось бы, поэтому, что хотя, теоретически рассуждая, может быть выстроена «цепочка» аллогиперлекс от одного корня, в которой будут реализованы все лексические категории рассматриваемой гиперлексеми (за исключением либо формы однократного действия, либо формы производного процесса или процесса, лишения — в зависимости от характера первичной исходной основы), практически это осуществляется далеко не всегда. И действительно, если принимать в расчет только те аллогипер-

семантика корня, допускающая или не допускающая возможность подобного переосмысления. Иными словами, здесь наблюдается диалектическая связь лексической категоризации и конкретной семантики.

²² То обстоятельство, что лексическая категоризация коренным образом отличается от грамматической категоризации, не нуждается в доказательствах. Однако, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что «обязательность», присущая речевым реализациям грамматических категорий (грамматика как *Ars obligatoria*) и «свобода» в реализации лексических категориальных форм обуславливают различие самого характера внутрисистемных связей лексем и гиперлексем. Далее, поскольку грамматическая категоризация характеризуется большей четкостью, на ее основе легче выстраиваются «цепочки» слов одного корня, в которых реализуются релевантные категориальные формы (аллолексы соответствующей лексемы); причем если это не окрашенные стилистически, эмоционально, и т. д. единицы, то они таковыми и остаются, независимо от того, какая категориальная форма реализуется. Грамматические категориальные формы не обуславливают возможностей метасемантического функционирования.

лексы, которые указаны словарями или обнаружены нами в исследованном материале²³, то это рассуждение подтверждается.

Однако конкретная реализация рассматриваемой категоризации определяется еще одним обстоятельством, которое оказывается решающим и как бы перекрывает указанные выше условия. Это — лежащая в основе данного типа отношений *продуктивность*, вследствие которой конкретная алло-реализация в значительной мере произвольна, основана на телеологически обусловленном выборе (например, смысл, заключенный в предложении *If you think I'm going to help, you've got another think coming* может быть передан и без аллогиперлексы *a think: If you think I'm going to help, you are wrong; If you think I'm going to help, you are labouring under a delusion* и т. п.). Поэтому при изучении лексической категоризации в конкретном проявлении следует говорить не только о том, что *имеется*, но также и о том, что *возможно*.

Такая постановка вопроса представляется правомерной еще и вследствие того, что попытка наметить, хотя бы предварительно, некоторые общие отношения зависимости между количеством и характером конкретных реализаций и различными характеристиками глаголов, от основ которых они образуются, не дала положительных результатов²⁴. Так, например, было замечено, что максимальные возможности образования аллогиперлекс от одного корня не связаны с частотными характеристиками глагола. Действительно, среди основных глаголов (*Hauptverben*) английского языка только о *make*, *take* и *do* можно говорить, как об «активных» на рассматриваемом уровне. Можно отметить также отсутствие зависимости между возможностью алло-реализаций и переходностью/непереходностью глагола или тем, к какому семантическому классу относится исходный глагол.

²³ Материал исследования составил приблизительно 70 тысяч страниц текста современной художественной, литературоведческой, лингвистической литературы и прессы.

²⁴ Анализу подверглись первичные глагольные основы, так как они, как показал имеющийся материал, обладают наибольшим количеством «естественных», т. е. в меньшей степени метасемiotически окрашенных, реализаций на данном уровне.

Е. А. ЗЕМСКАЯ

РУССКАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ *

Термином «русская разговорная речь» здесь обозначается непринужденная неподготовленная речь носителей литературного языка. Такая речь обнаруживается при следующих экстралингвистических условиях: 1) отсутствие официальных отношений между говорящими, 2) отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный характер, 3) отсутствие условий обстановки, препятствующих непринужденному общению¹.

Понимаемая таким образом разговорная речь отличается от иных объектов, называемых этим термином, тем, что она представляет собой целостную языковую систему, единство которой создается однородностью говорящего на ней языкового коллектива, в то время как другие объекты, называемые тем же термином «разговорная речь», не представляют собой единой лингвистической системы, так как в понимании некоторых авторов объединяют речь носителей литературного языка, просторечия, а иногда и диалектов². Такая разговорная речь по существу представляет собой литературный разговорный язык (далее — РЯ), противопоставленный — внутри общего понятия «русский литературный язык» — книжному (кодифицированному³) литературному языку.

Система РЯ характеризуется специфическими особенностями, которые во многом обусловлены внеязыковыми условиями функционирования РЯ: связью с ситуацией, непосредственным участием говорящих в акте коммуникации, спонтанным характером и преимущественным обнаружением в устной форме. К таким особенностям относятся:

1. В РЯ ситуация является полноправной составной частью акта коммуникации, она выплавляется в речь. Многие элементы коммуникации не имеют вербального выражения, так как они даны в ситуации. Эту особенность РЯ можно назвать конситуативностью.

2. Жест и мимика также входят в РЯ как полноправные элементы акта коммуникации, дублирующие собственно языковые средства или заменяющие их⁴.

* Статья представляет краткое изложение основных положений монографии «Русская разговорная речь», написанной под руководством Е. А. Земской авторами: Введение — Е. А. Земская и Л. А. Капанадзе; Фонетика — Г. А. Барина; Морфология — Е. В. Красильникова; Синтаксис — Е. А. Земская, Е. В. Красильникова и Е. Н. Ширяев; Номинации — Л. А. Капанадзе; Жест — Л. А. Капанадзе и Е. В. Красильникова.

¹ Подробнее о понятии «разговорная речь» см.: Е. А. Земская, Русская разговорная речь (Проспект), М., 1968 (ротапринт); е е ж е, О понятии «разговорная речь», сб. «Русская разговорная речь», Саратов, 1970.

² См. об этом: Е. А. Земская, О понятии «разговорная речь», стр. 3.

³ О понятии кодификации см.: Б. Г а в р а н е к, Задачи литературного языка и его культура, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 338—341, 376—377.

⁴ См.: Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильникова, Роль жеста в разговорной речи, сб. «Русская разговорная речь».

3. Преимущественное обнаружение РЯ в устной форме приводит к тому, что в РЯ особо важную роль играет интонация (оказывающая существенное влияние на синтаксис РЯ), а также явления неканонической фонетики⁵.

4. Линейное протекание РЯ без возможности вернуться назад, обусловленное спонтанным характером обнаружения РЯ, оказывает большое влияние на явления всех уровней РЯ.

Эти специфические черты системы РЯ резко отличают ее от системы языка кодифицированного. Как показывает исследование Л. С. Выготского, РЯ занимает промежуточное положение между внутренней речью («речью для себя», речью незвуковой) и подготовленной, заранее обдуманной речью для других, обычно обнаруживающейся в письменной форме⁶.

Существуют особенности системы РЯ, отличающие ее от кодифицированной системы, которые обнаруживаются, несмотря на большую близость между этими системами, а также на их функционирование в одном языковом коллективе, обуславливающее тесное взаимодействие между ними. Такими особенностями РЯ являются следующие:

1. Совпадающие по форме единицы кодифицированного и разговорного языка не являются функционально тождественными, а играют различную роль в соответствующих системах⁷. Если использовать сословный пример с шахматами, то следует сказать, что разговорный и кодифицированный языки имеют разные правила игры, хотя многие фигуры в них похожи, т. е. внешнее сходство фигур не свидетельствует о тождестве их функций. Примером такой «фигуры», которая есть в обеих системах, может быть им. падеж существительного, функционально нагруженный в этих системах по-разному⁸.

2. Системы кодифицированного и разговорного языка различаются набором единиц. Однако это различие не только количественное. Отсутствие в РЯ каких-то единиц, существующих в языке кодифицированном, является не только фактом, свидетельствующим о своеобразии набора единиц в РЯ, но и фактом, свидетельствующим о специфике функций каких-то других единиц, которые принимают на себя функции отсутствующих.

Итак, в монографии была поставлена задача изучить РЯ как особую языковую систему. В качестве важного методического приема использовалось сравнение разговорного и кодифицированного языка: для того чтобы показать специфические черты РЯ, необходимо было установить отличия между ним и кодифицированным языком. Тем не менее не делалось установки на дифференциальное описание РЯ, т. е. на описание только того, что отличает РЯ. Цель исследования состояла в том, чтобы установить не только «материальные» отличия разговорного языка от

⁵ См.: А. А. Реформатский, Неканоничная фонетика, в кн: «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1966.

⁶ См.: Л. С. Выготский, Мышление и речь, М.—Л., 1934, стр. 310.

⁷ Ср. замечание М. В. Панова о разговорной фонетике: «Разумеется, остается „омонимия“ некоторых (и даже многих) единиц в текстах разговорной речи и в текстах „неразговорных“. Какое-нибудь слово, например *дом*, произносится одинаково в любых разновидностях современной речи. Но это несущественно: в любых двух самостоятельных языках всегда найдется известное количество единиц, одинаковых по звучанию и по значению» («Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры», М., 1968, стр. 109.)

⁸ Функции им. падежа существительного в кодифицированном языке описаны во многих трудах. Впервые описание функций им. падежа существительного в РЯ дано в работе: О. А. Липтева, О некодифицированных сферах современного русского литературного языка, ВЯ, 1966, 2.

книжного, но и вскрыть функциональную специфику единиц РЯ, в том числе и тех, которые совпадают по форме с единицами книжного языка. Поэтому несмотря на то, что исследованию были подвергнуты лишь отдельные фрагменты РЯ⁹, они изучались как участки единой системы, так, чтобы фрагментарность исследования не устранила системный подход к анализируемому материалу. При этом само сравнение разговорного языка с книжным велось так, что сопоставлению подвергались не изолированные синонимичные факты, а отдельные участки системы разговорного и кодифицированного языков.

Описание отдельных участков РЯ осуществлялось под определенным углом зрения — как изучение явлений синкретизма и расчлененности в системе¹⁰. Действием этих двух противоборствующих тенденций пронизаны явления всех ярусов РЯ¹¹. Авторы различают синкретизм и расчлененность РЯ в плане выражения и в плане содержания, в парадигматике и в синтагматике.

Рассмотрим подробнее специфические черты системы РЯ по всем ярусам. Естественно, что в краткой статье могут быть охарактеризованы лишь некоторые из таких черт, изученных в монографии.

I. Фонетика¹². В РЯ роль фонетической системы в передаче информации снижена за счет усиления роли интонационных средств, жеста, мимики, использования знания обстановки речи, а также вследствие близкого контакта собеседников. В связи с этим возрастает роль явления нейтрализации. Звуки могут сильно менять свои качества, ослабляться и совсем исчезать в потоке речи, так что часть фонем в словах оказывается совсем не представленной. Приведем несколько примеров: *вместе с тем* [в'м'эс'т'эм], *разве же* [раз'жэ], *по крайней мере* [пакра́йм'эр'и^а], *первый раз* [п'э́р'эс], *надо сказать* [нскы́т].

Сравнение роли гласных и согласных в РЯ показывает большую значимость согласных. Согласные реже подвергаются нулизации (это происходит главным образом в высоко частотных словах), тогда как роль гласных иногда сводится лишь к передаче ритмического костяка слова. При этом они могут терять свои фонетические качества, оставаясь лишь прослойкой между согласными, и совсем исчезать.

Выводы этой главы таковы: «Фонетическая система РЯ отличается от фонетической системы кодифицированного языка в парадигматическом плане — большим числом звуковых репрезентаций у каждой фонемы при сохранении того же общего набора для всех фонем; в синтагматическом плане — возможностью употребления большего числа звуков в некоторых позициях; в отношении нейтрализации — меньшей различительной способностью фонем (увеличивается число фонем и число позиций, допускающих нейтрализацию)».

⁹ Наиболее полно описана система фонетики.

¹⁰ Действие этих тенденций понимается как явление синхронизма, т. е. как некий регулятор системы, ее внутренний механизм.

¹¹ Некоторые исследователи РЯ применяют аналогичное противопоставление, используя при этом другие термины. См.: Ю. М. Скребинов, Типологические аналогии в синтаксисе разговорной речи неблизкородственных языков, в кн.: «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Тезисы докладов», Горький, 1968.

¹² Отдельные особенности разговорной фонетики описаны в работах: М. В. Панов, Русская фонетика, М., 1967, стр. 264—276; «Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры», стр. 109—112; Г. А. Барнинова, Наблюдения над вокализмом разговорной речи, сб. «Русская разговорная речь».

II. В разделе «Морфология»¹³ исследовалось различие между разговорным и кодифицированным языком в области противопоставления частей речи, выражающих признак: глагол (процессуальный признак) — имя прилагательное (непроцессуальный признак). На стыке этих частей речи в кодифицированном языке находятся специфические формы, выполняющие вторичную функцию этих частей речи. В глаголе это причастия и деепричастия (вторичная предикация — атрибутивная полупредикация). В прилагательном кодифицированного языка краткие формы являются специализированной формой для вторичной — предикативной — функции (первичной для прилагательного признается атрибутивная функция).

В системе морфологии РЯ специализированные единицы для выражения этих вторичных функций отсутствуют. Общими для разговорного и кодифицированного языка являются немаркированные члены соответствующих оппозиций. Отвечая на вопрос, существуют ли в РЯ краткие прилагательные как морфологические формы полных, отличающиеся от последних лишь специфической синтаксической функцией, автор приходит к выводу, что в РЯ функционируют краткие прилагательные, служащие для выражения признака актуализованного: а) во времени (*Таня больна*), б) по степени проявления (*юбка узка*), т. е. формы, нагруженные семантическими функциями. Такие формы не имеют полной регулярности и поэтому должны быть выведены за пределы словоизменения прилагательного в сферу словообразования.

Что касается отглагольных образований, совпадающих по форме с причастиями и деепричастиями кодифицированного языка, то и они функционируют в РЯ как единицы семантически нагруженные, а не как специфическое синтаксическое средство для выражения полупредикации. В соответствии с маркированными членами оппозиций кодифицированного языка в РЯ употребляются отглагольные прилагательные и наречия, а также образования на -и и -т от глаголов совершенного вида со значением стального перфекта. Ср., например: *Сок-то прокис и и* //¹⁴; — *А я говорит совершенно спокойна* // — *Дрожавшим голосом да?*; *Я без одеяла не накрывалась так лежала* //; *А магазин уже закрыт?*; *Первая часть написана безумно скучно* //.

III, Синтаксис РЯ привлекал к себе наибольшее внимание лингвистов¹⁵. Описаны многие специфические для РЯ синтаксические конструк-

¹³ См. также: Е. В. Красиленкова, Изучение морфологии разговорной речи как системы, сб. «Русская разговорная речь».

¹⁴ Две косые черты обозначают интонацию законченности, одна косая черта — интонацию незаконченности.

¹⁵ Из работ последних десяти лет можно назвать: Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960; Р. Адамес, K syntaxi hovorové ruštiny, «Bulletin URJaL», VI, Praha, 1962; О. Б. Сиротинина, Порядок слов живой разговорной речи, в кн.: «Вопросы синтаксиса и стилистики русского литературного языка», Куйбышев, 1963; е е ж е, Порядок слов в русском языке, Саратов, 1965; А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964; О. Káfková, K lineárnímu typu řaděni větých členů a celků v mluvené ruštině, «Československá rusistika», 1965, 2; О. А. Лаптева, О структурных компонентах разговорной речи, «Р. яз. в нац. шк», 1965, 5; е е ж е, О некодифицированных сферах современного русского литературного языка; е е ж е, Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций в разговорной речи, сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка», М., 1966; е е ж е, Расположение компонентов в группе «определяемое — одиночное согласование определение» в современной устно-разговорной речи, сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967; е е ж е, Активное функционирование устно-разговорных синтаксических построений, «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968; е е ж е, Литературная и ди-

ции, характерные особенности порядка слов, типические функции некоторых словоформ.

В монографии подробно исследуются следующие вопросы: синтаксические функции ряда конструкций и словоформ (сочетаний с *verbum finitum*, сочетаний с относительным местоимением, им. падежа существительного, инфинитива, указательных местоимений), роль в РЯ нулевых глаголов-предикатов, некоторые средства актуализации высказываний, особенности построения высказываний, состоящих из двух предикативных конструкций, характерные черты порядка слова.

В высказываниях РЯ, состоящих из двух предикативных единиц, Е. Н. Ширяев исследует специфические виды связи: связи свободного соединения¹⁶ и интерференцию. Типическим примером высказывания, в котором наблюдается первый вид связи, может быть: *А что это за фильм я прочитал будет?*; зависимая часть располагается, как правило, в интерпозиции, интонационно не выделяется и произносится в убыстренном темпе. Интерференция — это такой вид связи, при котором какой-либо сегмент полипредикативного высказывания является одновременно частью двух предикативных конструкций, например: *Она жила под Москвой была ее деревня*./.

В РЯ широко употребительны указательные местоимения в специфической роли — обозначать функции тех или иных членов, морфологически не связанных с остальным составом высказывания¹⁷. Например, местоимение служит скрепой между высказыванием и препозитивным, номинативом, а также постпозитивным инфинитивом или *verbum finitum*. *Петр Иванович /его никогда дома нет//; Это такой сыр/труд//; Купи мне такие картинки/переводить//* Ср. также функции местоимений, показывающих синтаксические места номинаций — предикативных сочетаний, морфологически не связанных с составом высказывания: *У окна лежала /ее выписали вчера//; С санками бегаем /его попроси покатать Танечку//; С вами рядом живет /у нее сколько детей//* В подобных случаях местоимение выполняет конструктивную функцию — служит оформлению синтаксического каркаса высказывания.

Актуальное членение в РЯ является конструктивным фактором построения синтаксических единиц. Е. Н. Ширяев детально описывает функции лексических актуализаторов (*что/кто, как, где, да/нет* и др.), а также повторы разного рода (например: *Мы поедем/поедем обязательно//; Я вам это говорил/говорил много раз//; Налеетомы уезжаем/на все лето//*).

Предварительные выводы синтаксического раздела таковы. Высокая конситуативность РЯ обуславливает специфические особенности организации высказывания. В РЯ велика роль соположения единиц, при котором грамматические связи словоформ оказываются не выраженными морфологически, так как внеязыковые средства (конситуация, жест и мимика)

алектная разновидности устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения, ВЯ, 1969, 1; И. И. Ковтунова, Принципы словорасположения в современном русском языке, сб. «Русский язык. Грамматические исследования»; И. Н. Егорова, Позиционные эквиваленты слова в составе предложения, там же; И. Н. Кручинина, Синтаксис разговорной речи, «Русская речь», 1968, 1; е е же, Конструкция с местоимением *который* в современном русском языке, ВЯ, 1968, 2; Н. Д. Арутюнова, Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке, ФН, 1970, 3.

¹⁶ См.: Е. Н. Ширяев, Связи свободного соединения между предикативными конструкциями в разговорной речи, сб. «Русская разговорная речь».

¹⁷ См.: Е. В. Крассильникова, Наблюдения над морфологией русской разговорной речи (противопоставление имени и глагола). Автореф. канд. диссерт., М., 1971.

обычно восполняют информацию, передаваемую звуковой речью. Простое соположение единиц, отсутствие морфологических показателей синтаксических отношений является широко распространенным способом синтаксической связи в РЯ. Эта связь используется как для соединения отдельных словоформ, так и для объединения более крупных синтаксических «блоков» (именных и глагольных сочетаний, в том числе сочетаний с спрягаемой формой глагола). В синтаксисе РЯ велика роль суперсегментных показателей — интонации и порядка слов. В ряде случаев только они являются показателями синтаксических отношений между членами высказывания, так как иные средства отсутствуют. В РЯ действует закон: при отсутствии морфологических показателей между членами конструкции препозитивный член является главным, постпозитивный — зависимым. В этом обнаруживается зависимость строения РЯ от характера его протекания: линейное развертывание РЯ во времени, возможность строить связи, находящие выражение лишь в смысловых отношениях, только в одном направлении — прогрессивном, приводит к тому, что элемент речи, названный первым во времени, оказывается господствующим над последующим. Таким образом, контактная постпозиция — при отсутствии морфологических показателей — является средством выражения зависимости одного члена от другого.

IV. Номинативные средства языка представляют не менее важную сторону его организации, чем средства построения высказывания¹⁸. Поэтому при характеристике любого языка необходимо выявить способы построения его номинаций, а также особенности их семантики. Разработке этих проблем посвящена глава «Номинации». Основной вывод этой главы состоит в следующем: «Первое существенное различие в семантике номинаций разговорной речи по сравнению с номинациями языка кодифицированного касается их отношения к денотату. Если в кодифицированном языке наблюдаются одно-однозначные соответствия между означаемым и означающим или стремление к этому, то РЯ развивает иные тенденции. В РЯ сильно тяготение к тому, чтобы не закреплять фиксированного обозначения за определенным денотатом. Эта тенденция... особенно очевидна в двух фактах: с одной стороны, в наличии многих имен у одной реалии и, с другой стороны, в использовании одного наименования для обозначения разных реалий». Ср. такие, например, ряды номинаций: (о кофейной мельнице) *для кофе, чем кофе молот, чем молот, молот, мололка, мельничка, кофемолка*; (об инструменте для отбивания мяса) *чем отбивать, чем мясо отбивать, отбивать, отбивалка, для мяса*; (о морозильнике в холодильнике) *где замораживают, морозилка, морозильня, заморозка, наверху*. Как показывают эти ряды, в РЯ широко распространены как неоднословные номинации, так и однословные — производные слова, образованные на случай, с прозрачной внутренней формой.

Другой очень существенный вывод заключается в том, что в РЯ широко используются в качестве номинаций предикативные конструкции. «Это значительно меняет номинативную значимость разных частей речи в РЯ. Если в кодифицированном языке абсолютная номинативная значимость свойственна имени существительному, то в РЯ существительное не обладает таким монопольным значением и делит его с предикативными конструкциями (не опирающимися на существительное вовсе!) и с разного рода предложно-падежными конструкциями (хотя и опирающимися на существительное, но качественно своеобразными)».

¹⁸ Ср.: «Номинация с точки зрения формы и содержания является не только фактом речи, конкретных сообщений, но также, и в первую очередь, фактом языка как системы... В ее распоряжении имеется для этой цели специфическая сумма формальных черт и средств, которые существенно отличаются от средств высказывания» (J. K u s h a ě, К общей характеристике номинации, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968).

V. Монография заканчивается приложением «Жест в разговорной речи», в котором содержатся «первоначальные наблюдения над жестовым поведением русских людей, владеющих литературным языком, в процессе непринужденного говорения». Авторы выделяют ритмические жесты, дублирующие интонацию, подчеркивающие логическое ударение, эмоциональные жесты, усиливающие эмоциональные оттенки речи, и жесты-знаки, непосредственно связанные с передачей информации. Среди последних различаются: жесты указательные; жесты изобразительные, цель которых в обобщенном виде показать какие-то признаки предмета; жесты-символы, для которых характерна наиболее условная связь между означаемым и означающим (поэтому они бывают понятны в рамках одного коллектива, в общем случае — в кругу лиц одной национальности).

Жесты по-разному соотносятся со звуковой речью, они могут налагаться и на паузы, и на словесный текст. Простейший пример первых — жесты-реплики (например, на вопрос *Где мама?* следует ответ-жест: перебирает пальцами по столу, изображая ходьбу = «ушла»). Жесты, накладываемые на звуковую речь, могут сопровождать как местоимения, конкретизируя их, так и полнозначные слова. В последнем случае указательные жесты могут уточнять словесную информацию [например: *Идите прямо (жест)/потом налево (жест)/!*], а изобразительные жесты сообщают наглядность сказанному [например: *Надо купить круглый (жест) стол//; Он носит папку подмышкой (жест)*].

Авторы дают описание 19 информативно значимых жестов.

Таково в наиболее кратком виде содержание законченной монографии. Авторы осознают полностью, что монография представляет собой один из первых шагов по пути изучения русского РЯ как особой языковой системы. Вместе с тем они надеются, что появление этой работы, по необходимости носящей предварительный характер, может оказаться небесполезным для дальнейших исследователей русского РЯ. Они и сами намерены продолжать изыскания в этой области, полагая, что в результате исследований многих ученых будет создано полное всестороннее описание системы русского разговорного языка.

*

Для того чтобы сделать характеристику монографии более наглядной, представим наблюдения автора этой статьи над двумя участками системы РЯ, не описанными еще в литературе.

I. Синтаксис РЯ, как неоднократно отмечали исследователи (И. И. Ковтунова, О. А. Лаптева, О. Б. Сиротинина), характеризуется специфическими особенностями в области словорасположения. Одна из таких существенных особенностей РЯ касается взаиморасположения двух предикативных конструкций в составе единого высказывания.

В РЯ встречаются не только те три вида взаиморасположения предикативных конструкций в составе высказывания, которые существуют в кодифицированном языке, а именно: 1) зависимая часть в препозиции к главной, 2) зависимая часть в постпозиции к главной, 3) зависимая часть в интерпозиции к главной, но и специфические виды:

1. В РЯ главная часть может быть расположена в интерпозиции по отношению к зависимой. В качестве типической структуры такого рода можно привести высказывание *Носки я р а д а что купила//*, в котором в абсолютное начало вынесен один член зависимой конструкции (часто приглагольный зависимый субстантив). За ним обычно следует независимая предикативная конструкция, присоединяющая к себе с помощью союза (как правило, *что*) зависимую предикативную конструкцию или предикат: *Ножей ж а л ь что нет//; Косыночку м н е не нрав и т с я что*

придется надевать//; Собак с к а з а л и что не будет//; Посылку ви д е л и как запаковали? Такие высказывания имеют структуру: «зависимая часть — главная часть — зависимая часть».

Начальный член высказывания может быть особо выделен с помощью лексических средств: *Вот сапоги м н е н е п р и я т н о что Вы не отда-ли//; Вот рогаляков ж а л ь что мало//.*

В высказываниях с подобным расположением частей в абсолютной препозиции может быть и независимый субстантив, а также детерминатив. Несколько примеров: *Эти туфли о б и д н о что порвались//; Малина п и ш у т что полезная//; Богачева мама все г о в о р я т что красивая//; Катина сестра м н е р а с с к а з ы в а л и что приезжает//; Петров с т р а н н о что нам помогал//; — А где его похоронили? На Новодевичь-ем? — На Ваганьковом с к а з а л и что будут//; В Ленинград с к а з а л и что командируют//. В абсолютное начало бывает вынесено и местоимение: *Его я р е ш и л а что надо в шкафу//; Он я с л ы ш а л а что уехал//.* Такие конструкции редки, что объясняется конфликтом между характером позиции (начальное положение в высказывании, как правило, — это позиция наибольшего выделения, подчеркивания) и безударностью, свойственной местоимениям.*

Высказывания с интерпозицией зависимой части могут содержать и как: *Митя т ы с л ы ш а л как читает?; Написано м н е о ч е н ь п о н р а в и л о с ь как//.*

Таким образом, в подобных высказываниях наблюдается рамочное расположение: зависимая часть обрамляет главную. Высказывания с таким порядком слов ограничены со стороны состава и семантики главной части: обычно она состоит из одного-двух членов (имя и глагол; безличный предикатив) и содержит сообщение о каком-либо акте чувств или мышления, требующем раскрытия, восполнения (*я слышал..., мне рассказали..., говорят...; обидно..., странно..., жаль...*), что и дано в зависимой части.

Как правило, высказывания с интерпозицией главной части произносятся без интонационного членения на синтагмы. Однако при многословности высказывания возможно и членение: *Игоря двоюродная сестра/ м н е г о в о р и л и / что замуж вышла//*¹⁹.

2. Другой специфической особенностью порядка слов в РЯ является взаимопроникновение предикативных конструкций. Говорящий начинает одну конструкцию, не окончив ее, начинает другую; затем заканчивает первую и вторую. Мы имеем в виду высказывания типа: *Т ы мусор с л ы ш а л а когда увозили?; Т ы почтальон с л ы ш а л когда звонил?; А М а ш е сырники п о н р а в и л о с ь что несладкие//; М н е т о ж е Ирина н р а в и т с я как пишет//; Н о я их поставила п о м н ю что в шкафу//; А м наша пианистка х в а т и т т о г о что портит нервы//.* Такие высказывания имеют структуру: «главная часть — зависимая часть — главная часть — зависимая часть».

Порядок слов в высказываниях с интерпозицией главной части, а также в высказываниях с взаимопроникновением частей нередко регулируется тенденцией к помещению в непосредственной близости (обычно в начале высказывания) словоформ, называющих «ключевые моменты» ситуации. Таково, например, высказывание *Посылку в и д е л и как запаковали?* Говорящему важно узнать прежде всего о двух элементах ситуации — «посылка» и «видели». Соответственным образом он и начинает речь, помещая остальные члены высказывания в конец. Вследствие этого и построение выска-

¹⁹ О зависимости интонационного членения от длины высказывания см.: М. В. П а н о в, Русская фонетика, стр. 260—262.

звания говорящим, и его понимание слушающим приобретает как бы циклический характер, т. е. идет не в один этап. Например, высказывание *Посылку видели как запаковали?* при его линейном развертывании строится так, что первая часть *Посылку видели* еще до завершения высказывания определенным образом осмысливается слушающим. В дальнейшем же, при построении всего высказывания, слушающий как бы возвращается назад и переосмысливает все заново: (первая часть) *Посылку видели*, (вторая часть) *как запаковали?* Целое: *Посылку видели как запаковали?* В результате такого поэтапного осмысления в высказывании могут возникать дополнительные, иногда ложные, синтаксические связи: [*Посылку видели*

как запаковали?] Словоформа *посылку* связана и с *видели* (*Посылку видели...*), и с *запаковали* (*запаковали посылку*)²⁰. Таким образом, линейный характер построения высказывания приводит к тому, что оно строится по частям так, что каждая часть может получать осмысление уже в процессе развертывания речи, до окончательного завершения высказывания.

Еще примеры: *Мне тоже Ирина нравится как пишет.*

Высказывание *Но я их поставила помню что в шкаф* строится так, что его поэтапное осмысление осуществляется следующим образом: (первая часть) *Но я их поставила*, (вторая часть) *помню что в шкаф*. Такое осмысление было бы единственным, если бы между двумя указанными частями проходило интонационное членение. В данном случае оно отсутствует. Именно поэтому обе части объединяются в единое высказывание, при завершении которого получатель речи коррелирует свое первоначальное понимание: *Я объединяется с помню, их поставила с в шкаф*. Рождается целое: *Но я их поставила помню что в шкаф* (та же мысль может быть выражена иным порядком слов: *Но я помню что поставила их в шкаф*).

Взаимопроникающие высказывания иного строения — начинающиеся частью зависимой предикативной конструкции, т. е. дающие расположение «зависимая часть — главная часть — зависимая часть — главная часть», по нашим материалам, встречаются в РЯ редко: *Катю ты за что исключили догадались?*; *Воды горячей Вы отчего не будет узнать али?* Нетипичность такого порядка слов объясняется, по всей вероятности, тем, что в таких случаях линейно «выдаваемые» словоформы не могут быть морфологически связаны друг с другом, а это делает невозможным поэтапное понимание высказывания для слушающего и затрудняет порождение фразы говорящим. Он не может опираться на целые строительные блоки, а вынужден оперировать отдельными словоформами.

3. Специфической особенностью высказываний РЯ, состоящих из двух предикативных конструкций, является то, что в них гораздо шире, чем в языке кодифицированном, представлена препозиция зависимой части по отношению к главной. В РЯ, как кажется, в препозиции может находиться зависимая предикативная конструкция любого типа. Вот несколько однотипных высказываний с союзом *что*: — *Мне не нравится что тмин!* — *А что сладкий Вам нравится?* (разговор о хлебе); *Что девочка Вы рады?*; *Что он наврал/это подло!*; *Что они такую дачу сняли/это здорово!*; *Что он так быстро кончил / молодец !*; *Что Катя поступила / я очень рада !*; *Что она спит / очень конечно хорошо !*. В кодифицирован-

²⁰ Возможно, что эти двойные связи возникают только точки зрения грамматик слушающего (получателя речи), а для говорящего они не значимы. Однако наш материал показывает, что и говорящий «выдает» свою речь определенными порциями так, что «соседями» обычно оказываются словоформы, допускающие синтаксическое и семантическое объединение.

ном языке высказывания такого типа допускают лишь постпозицию зависимой части.

4. В РЯ интерпозиция зависимой части возможна и у высказываний тех типов, которые в кодифицированном языке с таким порядком частей не употребляются, а допускают лишь постпозицию зависимой части (например, высказывания с союзом *что* с изъяснительной зависимой частью) или как пост-, так и препозицию зависимой части (например, высказывания с союзами *если*, *когда*). Вот некоторые примеры.

С союзом *что*: *М не что он приехал г о в о р и л и //*; *П е т р у И в а н ы ч у что билеты уже купили п о з в о н и л и //*; *В и т е что он забыл о б и д н о //*; *И в а н о в у что в библиотеке ремонт с о о б щ и л и //*. В РЯ в таких высказываниях употребительна и постпозиция зависимой части (подобно языку кодифицированному): *М не г о в о р и л и что он приехал;* *В и т е о б и д н о что он забыл и т. п.*

С союзом *если*: *К а т я / если ты приедешь / б у д е т р а д а //*; *М ы если он задержится / о п о з д а е м //*; *Л ю с я не пойдёт / е с л и будет дождь / в л е с //*; *Е му будет / если ты проспишь / о б и д н о //*.

С союзом *когда*: *О н и у ш л и у ж е / когда он приехал / в к и н о //*; *Б ы л о е щ е / когда я проснулся / р а н о о ч е н ь //*; *О ч е н ь / когда цветов много стоит / н а р я д н о у В а с //*; *У н и х д у ш н о / когда солнце / в к о м н а т е //*.

При таком порядке слов в высказываниях с союзами *если* и *когда* зависимая часть обычно выделяется интонационно и произносится в несколько убыстренном темпе.

В РЯ в высказываниях этого типа встречается также пост- и препозиция зависимой части, т. е.: *О н и у ш л и у ж е в к и н о / когда он приехал //* или *Когда он приехал / о н и у ш л и у ж е в к и н о //*.

Итак, в РЯ высказывания, состоящие из двух предикативных конструкций, с точки зрения взаиморасположения частей образуют вариативный ряд, включающий до пяти членов (число членов вариативного ряда зависит от типа высказывания): 1) главная часть — зависимая часть; 2) зависимая часть — главная часть; 3) главная часть — зависимая часть — главная часть; 4) зависимая часть — главная часть — зависимая часть; 5) главная часть — зависимая часть — главная часть — зависимая часть. Шестой возможный член ряда (зависимая часть — главная часть — зависимая часть — главная часть) не типичен для РЯ, хотя изредка и встречается.

В кодифицированном языке такому пятичленному ряду может соответствовать ряд, включающий до трех членов (в зависимости от характера союза и отношений между частями): 1) главная часть — зависимая часть; 2) зависимая часть — главная часть; 3) главная часть — зависимая часть — главная часть.

II. Своеобразие РЯ в сфере номинаций весьма существенно. В качестве номинаций²¹ в РЯ нередко выступают не отдельные слова, а сочетания слов. Наряду с неоднословными номинациями типа «имя прилагательное + имя существительное» или «имя существительное + + зависимое существительное с предлогом (или без предлога)» (например, *книжный шкаф*, *ключ от сарая*, *ручка двери*), общими и для кодифицированного, и для разговорного языка, РЯ обладает номинациями, своеобразными и по форме, и по значению. Рассмотрим некоторые их типы:

1. Номинации, состоящие из косвенного падежа существительного с предлогом (типа *в тапочках*, *с санками*, *в очках*, *из нашего класса*, *из*

²¹ Единицы, которые мы называем номинациями, близки тому, что Ш. Балли называет *сопропé* (словосочетаниями) («Словосочетанием мы называем характеризованную виртуальную синтагму, означающую одно понятие, которое она мотивирует» — Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, 1955, стр. 106).

нашего дома и т. п.): *Поехали куда в красной шапке повернул //; Не видели с санками?; Я из нашего дома встретил //; С какой не проходила тут?* Очень распространены «магазинные» номинации: *У вас от кашля есть?* (имеется в виду: лекарство, средство, ...что-нибудь от кашля); *Купи за двадцать две //; Покажите за два сорок //; У нас под жемчуг есть?*

Типичная черта таких номинаций — отсутствие слова, непосредственно называющего денотат. Номинация содержит лишь указание на какие-то признаки денотата, ср.: *с рюкзаком, с велосипедом, с ребенком и человек, мужчина с рюкзаком, человек с велосипедом, женщина с ребенком и т. п.* Признаки, положенные в основу номинации, могут быть самые различные. Для предметов торговли это обычно назначение, цена, цвет, размер. Наименования лиц в разговорах на улице даются чаще всего по одежде или какой-нибудь другой характерной примете. Отсутствие в составе номинации члена, непосредственно называющего денотат, не порождает неясностей, так как в РЯ ситуация восполняет недостаток собственной языковой информации. Однако по этой причине номинации рассматриваемого типа могут в разных ситуациях называть разные предметы. Так, номинации, называющие назначение предмета, нередко состоят из имени существительного в род. падеже и предлога *для* (*для рук, для сушки, для кофе... и т. п.*). Подобные номинации могут называть самые разнообразные предметы: *для кофе* — мельница, банка, чашка, сервиз; *для сушки* — сушилка для посуды, фен в парикмахерской, электро-сушилка для рук; *для ручек* — стержни, чернила, футляр; *для рук* — полотенце, крем и т. п.

2. Номинации, включающие в свой состав *verbum finitum*, т. е. по форме омонимичные предикативным построениям (типа *молоко разносит, арбузы продает, над нами живет, из Ленинграда приехала*). Такие номинации могут входить в высказывания в качестве наименований субъекта или объекта действия, названного другим глаголом. Например: *Молоко разносит / не приходила еще?; Напротив живет / уехала на курорт //; Из Ленинграда приехала / у Вас долго жить будет?; Улицу поливает / не проезжала?* (о поливальной машине); *У окна лежала / вчера выписали //* (разговор в больнице).

3. Еще более типичны для РЯ неоднословные номинации, включающие в качестве необходимого конструктивного элемента относительное местоимение (*что, кто, где, куда* и под.). Такие номинации могут быть глагольными [*Дай чем писать; Купи чем стирать; У нас где замораживать маленькая* (о морозильнике в холодильнике); *У тебя есть чем платить?*] и безглагольными (*Он живет где школа; Пошли где прыдь; Сидись где газеты*). Ср. синонимичные глагольные и безглагольные конструкции: *Положи где вилки — нож и Положи где вилки — нож лежат*.

Простейший и самый распространенный вид глагольных номинаций составляют конструкции, состоящие из относительного местоимения и инфинитива: *чем резать, чем писать, чем завязать, где спать* и т. п.

Можно думать, что частота использования таких номинаций объясняется двумя причинами — языковой и психологической. С точки зрения языковой подобные номинации заполняют лакуны в парадигматическом ряду, когда в РЯ отсутствует родовое однословное наименование предмета. Ср. официальное родовое название в кодифицированном языке — *моющее средство*, в РЯ — *чем стирать*. Психологической основой этих наименований служит то обстоятельство, что нередко говорящий затрудняется, подыскивая слово. В таком случае ему легче назвать предмет расчлененно, описывая его функции: *Собирай с чем на рынок*

пойдем // Ну ... сумки / мешки разные //; — Ты что там ищешь? — Я подошла к окну чтобы взять чем туфли надеть // Ну ... рог / рог для туфель //; Дай чем отвернуть / ... плоскогубцы //.

Номинации с относительным местоимением и инфинитивом, имеющие общее, неконкретизированное значение, могут, сохраняя свой структурный состав (местоимение и глагол), быть перестроены применительно к данной ситуации. Ср. *Дай мне на чем ты гладила и Дай на чем гладить*²². Эти номинации, конкретизированные применительно к определенной ситуации, имеют более сложный состав. Обычно они содержат, кроме относительного местоимения и глагола, субъектные, объектные и обстоятельственные распространители глагола. Глагол в таких конструкциях может быть выражен не только инфинитивом, но и спрягаемой формой, а также — реже — отглагольными образованиями на *-н* или *-т*: *Возьми чем лицо вытирать //; Кормимся что Степанна купит //; Ели что вчера приготовили //; — Ты к кому звонишь? — У кого окно открыто //.*

4. Номинации, основной конструктивный элемент которых — инфинитив (иногда с зависимым существительным). От номинаций третьего типа их отличает отсутствие местоимения: *Ботинки чистить / где лежат?* (о сапожной щетке); *Вино открыть / попроси у соседей* // (о штопоре); *Консервы открывать ты взяла с собой?* (о консервном ноже); *Натирать / куда положила?* (о суконке для натирки пола); *А писать есть у тебя?* (об авторучке); *Цедить у Вас есть?* (о ситечке). Номинации этого типа менее распространены, чем синонимичные им конструкции с относительными местоимениями. Ср. *натираешь и чем натирать, пишешь и чем писать*.

5. Еще более редки в РЯ номинации, состоящие из одиночного наречия типа: *У нас наверху плохо работает // Совсем не замораживает* (о морозильнике в холодильнике); — *Ну как Ваш холодильник? — Внизу у меня мала* // (о коробке для продуктов, расположенной в нижней части холодильника).

Номинации всех рассмотренных типов (кроме пятого) могут называть предмет по самой общей его функции, никак не конкретизируя его применительно к определенной ситуации: *чем писать* может обозначать и ручку, и карандаш, и любое орудие письма. Подобные номинации заменяют однословные неконкретизированные названия предметов, т. е.: *чем стирать* — мыло, стиральный порошок, жидкость, вообще нечто для стирки; *на чем сидеть* — стул, кресло, подстилка, коврик, одеяло, вообще нечто для сидения и т. п.; *ботинки чистить* — щетка, суконка, вообще нечто для чистки обуви; *от кашля* — капли, порошок, микстура, вообще любое средство от кашля. Другая общая характерная особенность разговорных номинаций состоит в том, что само название лица или предмета в номинации может отсутствовать. Ср. *от кашля и таблетки от кашля*, в серой шубе и женщина в серой шубе, молоко разносит и женщина, продавщица..., которая молоко разносит, внизу и коробка внизу. Номинация содержит лишь название признаков либо действий лица или предмета — типических или обнаруживаемых в данной ситуации. Такие номинации являются своеобразными семантическими конденсатами, содержащими имплицитно не названное имя лица или предмета.

²² Эти два типа номинаций аналогичны в какой-то степени явлениям, называемым Ш. Балли характеризацией и локализацией (указ. соч., стр. 100—102, 89).

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. С. КОВТУН

О НЕЯВНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ
(К истории значений слов)

1. История есть не только у значений слов, которые со временем явно преобразуются в иные, но и у тех из них, которые представляются нам неизменными. Что стоит за многовековой устойчивостью подобных значений? Обнаруживая постоянство отличительных признаков, они получают и не могут не получить в словарях одинаковое или максимально близкое истолкование. Определения их совпадают независимо от того, относится ли лексикографическое описание к древнему состоянию языка или к более поздним его этапам. Однако история значений не сводится к истории выражаемых словами понятий. Реализация понятия в значении происходит в конструктивных, фразеологических и стилистических условиях, определяемых системными отношениями лексического фонда языка в известный период его развития, а условия эти не одинаковы.

Один из признаков развития значения — изменение лексических связей, в которых оно проявляет себя в языке, так сказать, движение внутри значения, изменение его объема¹. Эволюцию сочетаемости можно обнаружить при анализе любого свободного (переменного) значения.

Подвергнем анализу лишь один из типов лексических связей одного из слов, сохраняющегося в словарном фонде русского языка с древнейшего периода до наших дней, а именно слова *давний*. Все русские словари, толковые и исторические, одинаково определяют его значение, весьма устойчивое (с XI в. по XX в.), как «бывший задолго до настоящего времени, прежний»². Однако при чтении древних текстов, например, «Слова о полку Игореве», ощущается необычность некоторых сочетаний слова *давнии*: «Ты бо Олег мечем крамолу коваше, и стрелы по земли сеяше... Тои же звон слыша давнии великий Ярослав, а сын Всеволожь Владимир по вся утра упи закладаше в Чернигове»³. Материалы нового вре-

¹ Термин «объем значения», соотносительный с логическим термином «объем понятия», представляется здесь уместным, так как речь идет либо об утрате связей слов, либо о развитии их при сохранении основных содержательных признаков значения.

² Из этого не следует, конечно, что формулировка значения выражена непременно в тех же словах. У И. И. Срезневского, например, слово *давнии* имеет лишь латинский перевод *antiquus* («Материалы для словаря древнерусского языка», СПб., 1893—1903, I, стлб. 623).

³ «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 2, Л., 1967, стр. 8. Ничто не мешает нам, исходя из современного языкового сознания, понять и истолковать слово *давнии* в подобных контекстах как «живший задолго до нашего времени» и тем самым отграничить утраченную связь от тех, которые сохранились. Несомненно, однако, что это было бы модернизацией древнего значения.

мени не дадут аналогий⁴. Напротив, в древних текстах, в том числе и периода, к которому относится «Слово о полку Игореве», связь прилагательного *давний* с одушевленными существительными, даже и именами собственными, обычна. Ср. в Ефремовской кормчей (XII в.): «Лукиан некто, не яко ныня, в лета Костянтина быв, нъ *давний*, вся по Маркияну пропевае». В Лаврентьевской летописи (под. 1176 г., список 1377 г.): «ростовци и суждальци *давний*». В «Пандектах» Никона черногогорца (XIV в.): «всех, иже в пустыне *давних* отьць же и братья, в неутешимы плачь въведе»⁵.

Итак, иной тип связи в пределах того же значения в текстах разной хронологической отнесенности — признак произошедших в лексической системе перемен. Если бы в исторических словарях фиксировались изменения связей слов, их появление и утрата, это могло бы служить важным критерием датировки текста.

Мена связей внутри значения одного из слов — результат семантических перегруппировок в словарном составе, вызванных развитием языка. Смысловая структура слова *давний* изменялась не автономно, а в соотношении с другими словами, в первую очередь в контакте со словами близких значений — *древний*, *старинный*, *прежний*, *давшиный*, *былой* (возможно, и многими другими). В регулярности процесса изменения сочетаемости легко убедиться, наблюдая в памятниках древнерусского языка XI—XVI вв. указанный тип сочетания (с одушевленными существительными) не только у слова *давний*, но и у слов *древний*, *старинный*, *прежний* (для первого из них документация наиболее ранняя)⁶. Напомним, что в данном рассмотрении речь идет не о каком-то типе соединения слов вообще, а лишь о таких лексических связях, при которых возникает интересное нас устойчивое значение, в нашем случае в применении к слову *давний* — «бывший задолго до настоящего времени, прежний». Оно имело у анализируемого слова и восемь веков назад, но, как видим, с тех пор изменились разряды возможных соединений⁷. Отмечено лишь одно из изменений в длительно сохраняющемся значении — утрата известного типа сочетаемости. Отчетливость примера удобна для общего рассуждения.

Наборы лексических связей характеризуют употребление слова в разные периоды и в разных условиях, но изменение их, как убеждает исследование материала, не всегда соотносится с переменной тех характер-

⁴ В древних памятниках немало и других связей слова *давний*, частично совпадающих с теми, которые встречаются в текстах XIX—XX вв. Например: «из *давных* лет обрестота». Пат. Сян. (XI в.), «*давный* он обычаи творять». Хрон. Амарг. (XIII—XIV в. ~ XI в.), «*паки* ли поминаешь *давныя* тяжа». Ипат. лет. (под 1190 г., список XV в.) и др. См.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 2, стр. 8, 9.

⁵ «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 2, стр. 8, 9.

⁶ Ср.: И. И. С р е з н е в с к и й, указ. соч., I, стлб. 722 п сл. Обращают на себя внимание два обстоятельства: а) слова *древний*, *старинный*, *давний*, *прежний* в ходе развития получали все более четкое, хотя и оттеночное различие (ср. наиболее отчетливое в современном языке расхождение: *древний* «очень давний, относящийся к отдаленному прошлому» — *прежний* «бывший перед этим, предшествовавший настоящему»; б) для языка нового времени оказывается естественным лишь последний из вариантов связи с одушевленными существительными в указанном значении, а именно: *прежние* посадники, *прежние* цари. Но слово *прежний* в древнерусском языке могло употребляться в значении, очень близком к тому, которое сейчас имеет слово *древний*, так как его исходным значением было «передний», т. е. «идущий или происходящий ранее других, прежде, чем все другие».

⁷ Следует оговориться: слово *давний* и в современном языке легко вступает в сочетание с одушевленными существительными (*давний* друг, *благодетель*, *враг*), однако при этом возникает иное значение — «существующий в течение очень долгого времени; старый». Ср. «Словарь современного русского литературного языка» (в 17 томах — далее ССРЛЯ), 1948—1965, III, стлб. 533.

ных признаков, по которым определяется его логическое содержание. Это и делает значение устойчивым и подвижным одновременно.

Сохранение от эпохи к эпохе известного, причем существенного в разных отношениях, фонда слов и значений обеспечивает непрерывность общения на данном языке. Вместе с тем постоянство не исключает, а предполагает развитие. В языковой системе происходит эволюция даже и самого устойчивого, что и позволяет ей применяться к новым условиям.

2. К анализу поставленной проблемы можно подойти и с иной стороны, взяв вместо изменчивой связи слов при устойчивости значения такое соединение слов, которое, формально оставаясь все тем же, оказывалось в иных условиях, в ином языковом окружении.

Рассмотрена будет одна из подобных словесных связей, бытующих в русских (и церковнославянских) литературных текстах с XII в. до наших дней, а именно *благорастворенный воздух* или близкая ей связь в форме устойчивого оборота *благорастворение воздушных* (оборот выделен в ССРЛЯ и объяснен: «О чистом, здоровом или наполненном ароматами воздухе») ⁸.

Слова *благорастворить* (*благорастворенный*), *благорастворение* не относятся к числу тех, которые можно считать насущно необходимыми и причислять к основному словарному фонду, но и такие слова, попав в литературный язык в глубокой древности, могут уцелеть в нем, продолжая служить для передачи известного смысла и экспрессии.

В богослужебных текстах XII—XIII вв. слово *благорастворенный* — в числе высоких, торжественных ресурсов лексики. Ср. «благорастворены въздухы даруя» (Стихирарь XII в.), «благорастворены дожде» (Служебник XIII в.) ⁹. Однако в ходе долгой истории образная и отвлеченная линия его развития не раз перемещалась с конкретной, даже и терминологической. Определение, которое дает глаголам *благорастворять*, *благорастворить* во второй половине XIX в. В. И. Даль, объединяет эти две линии. Оно таково: «соединять жидкости или воздушные частицы в полезный и приятный состав; образовывать из них благу смесь» ¹⁰. В первой части определения сделана попытка назвать отличительные признаки значения, присутствует и элемент оценки; вторая часть передает лишь его оценочно-экспрессивный характер. Ведь по логическому содержанию «благая смесь» и «приятный состав» — нечто мало определенное.

В словоупотреблении указанные линии не были объединены так, как они объединены в словаре, напротив, они расходились. Применение этих слов в переводной повествовательной литературе древности придавало их значениям известную конкретность. Так, в выдержке из византийского лексикона Свида X в., переведенной в XVI в. Максимом Греком ¹¹, говорится: «на нем же острове живут долгоживотнии, живут бо РН (150) лет за премногою чистоту и благорастворение аерное (διὰ τὴν πολλὴν καθαρότητα καὶ εὐκρασίαν τοῦ αἵρος)» ¹². У Свида, таким образом, дан отрыв-

⁸ ССРЛЯ, I, стлб. 472.

⁹ И. И. Срезневский, указ. соч., I, стлб., 102. «Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым Отд-нием Имп. Акад. наук» (1847), иллюстрирует слова анализируемой группы цитатами из молитв. Действительно, через молитвы слова эти вошли в язык, и специфичность применения закрепила за ними известную стилизовую окраску.

¹⁰ В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, I, М., 1965, стр. 93.

¹¹ «Повести различны, переводюшася от книги греческия, глаголемыя Суйдас, Максимом инокомъ святогорскимъ, ркп., ГПБ Сол. 310 (495), л. 639 об.

¹² В греч. εὐκρασία, ἡ «умеренная температура, мягкий климат», а также «хорошее состояние (τοῦ σώματος)». В старославянских переводах с греческого встречаем еще и другое соответствие словам с той же основой. Ср.: *благорастворение* (τὸ εὐκράσιον

вок одного из сказаний, объединившихся в древнерусской традиции с романом об Александре Македонском — «Слово о рахманех и о предивном их житии»¹³. Слово *благорастворенный* в текстах XII—XV вв. сочетается с наименованиями времени. Ср. в Минее праздничной (XII в.) — «благорастворено... время»¹⁴, в «Александрии» (по списку XV в.) — «благорастворены час».

В XVIII в.¹⁵ слова *благорастворенный*, *благорастворение* получают доступ в тексты научного и практического содержания и становятся терминами, словами четко отграниченных значений. Например, «благорастворенный, или умеренный пояс» («Книги о навигации», 1748), «растение же его требует по меньшей мере пяти месяцев благорастворенного воздуха» («Инструкция о засева табака», 1762). В сочинении Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» (1762) дано даже объяснение воздействия благорастворенного воздуха на организм: «воздух благорастворенный, растягивая легкое без раздражения, дает чувство приятное»¹⁶.

В то же время в художественной литературе и в научных текстах, связанных с теорией речевого искусства, у слов анализируемой группы возникают разного типа отвлечения и переносы. Например, в рассуждении Тредьяковского по поводу стихосложения: «Согласие рифмическое отроческая есть игрушка, недостойная мужских слухов. Вымысел сей оледенелый есть гофический, а не еллинское и латинское благорастворенным жаром блистающее и согревающее окончательство» («Тилемах», предизъявление, 1761)¹⁷.

ἐὺναι) *благорастворѣн* (ἐὺ χέρατος bene mistus) (А. Х. Востоков, Словарь старославянского языка, СПб., 1858, стр. 20). Прилагательное ἐὺ-χέρατος «умеренный (о температуре воздуха); смешанный в правильной пропорции».

¹³ В русском списке этого слова, включенном в сборник с текстом так называемой сербской «Александрии», указана другая причина долгой жизни островитян: «За многую чистоту и благорастворении дождевнем» (список XV в., изд. по ркп. ГИПБ Кир. Бел. II/1088, лл. 483—483 об. («Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века», М.—Л., 1965, стр. 141), причем понятие «благорастворение дождевнем» раскрыто в словах «но мокрого и сладкого дождя и доброго насыщаются» (там же).

¹⁴ И. И. Срезневский, указ. соч., I, стлб. 102.

¹⁵ Использованы материалы из картотеки Словаря XVIII в. (находящейся в Словарном секторе ИО Ин-та русского языка АН СССР).

¹⁶ Возможны сомнения в том, была ли история слова *благорастворенный* непрерывной и есть ли вообще связь между его употреблениями в богослужебной литературе самой древней поры и использованием слова в текстах практического назначения в XVIII в. Не вернее ли считать новые переводы греческого ἐὺχέρατος вторичным рождением слова? Семантика анализируемого слова, действительно, складывалась под воздействием неоднократных и неодинаковых переводов с греческого, но слово сохранялось в языке. Следует учитывать главное: лексический запас каждого из владеющих языком, так же как и лиц определенного социального круга, всегда ограничен, но литературный язык функционирует не в речи отдельных лиц или социальных групп, он объединяет всю совокупность социальных членений народности или нации. Что касается слова *благорастворенный*, то оно, неизменно оставаясь в церковном языке, встречается и в текстах светского содержания XV и XVI вв. Трудно усомниться в том, что из молитв слово было известно переводчикам XVIII в., хотя они и применили его по-новому, в качестве термина, а не эпитета.

¹⁷ У Ломоносова слово *благорастворенный* — почти термин и в художественных текстах. Ср.: «Кроме сего увядает красота, бледнеет лице земное и во вретиче сетования вселенная облекается: без огня питательная роса и благорастворенный дождь не может снисходить на нивы» («Слово третье о пользе химии», 1757). В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева сочетание *благорастворенный воздух* встречается дважды: «Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя копильню»; «Ночь была тихая, светлая и воздух благорастворенный вливал в чувства особую нежность». Эти применения слов не вполне адекватны. В одном из них на первом плане конкретное содержание, передаваемое теперь словами *чистый, свежий*, т. е. «ничем незагрязненный, часто обновляющийся», в другом подчеркнута эмоциональная сторона, то

В XVIII в. рассматриваемые слова употреблялись достаточно широко в разных жанрах, включая и научные сочинения и изящную словесность. Но вместе с тем лексические связи их не получили большого развития, они соотносятся с тем же кругом представлений (*благорастворенный воздух, аромат*¹⁸, *дыхание ветров*¹⁹, *дождь, влажность* и несколько сочетаний с отвлеченным или переносным значением типа *благорастворенный жар*). К концу XIX в. сочетаемость указанных слов ограничивается соединением со словом *воздух*, причем оно перестало употребляться в научном и деловом языке. К этому времени четкие границы трех стилей уже нарушены, высокий стиль утратил свое главенствующее место в литературном языке, развились и приобрели научную строгость терминологические системы. Эти процессы отразились на всей совокупности слов и значений литературного языка.

Оборот *благорастворение воздушных* и сочетание слов *благорастворенный воздух* встречается теперь лишь в художественной литературе. Две типичных возможности их применения описаны в ССРЛЯ. При слове *благорастворение* (с пометой *устар.*) дано выражение *благорастворение воздушных* (с указанием: *из церк.*). Пример: «[В Глупове] во всякое время года, когда угодно, тишина и *благорастворение воздушных*» (Салтыков-Щедрин, *Сатиры в прозе*)²⁰. Применение церковного термина в сатирическом произведении придает ему иронический оттенок и делает даже далекое от энциклопедических подробностей толкование (о чистом, здоровом или напоенном ароматами воздухе) излишне содержательным. Слово *благорастворенный* иллюстрируется в ССРЛЯ примером из Лескова: «Воздух был *благораствореннейший*, освещение теплое; с полей несся легкий парок...» («Соборяне») ²¹. Использование эпитета, освоенного в церковной литературе, согласуется с темой сочинения и настроением, которым оно проникнуто (роман из жизни духовенства). Оценочный характер значения слова *благорастворенный* поддержан применением формы превосходной степени в значении безотносительно большой меры признака, а также идущим вслед за этим словом эпитетом *теплый*. Содержание переносного значения слова *теплый* логически столь же не отчетливо, что и у слова *благорастворенный*. В лексикографии значения этого типа не получают категорических толкований, дается лишь примерное описание смысла ²².

приятное ощущение, которое вызывает у человека свежесть атмосферы. Ср. в связи с этим смысл, который вкладывает в слово *благорастворение* Ф. Эмин: «Должно разбирать обстоятельно час вожделения и время нехотения, из сих двух крайностей проистекает удобность, которая человека будет содержать в настоящем *благорастворении*» («Приключения Фемистокла», 1763). На оценочной стороне значения сделан акцент и у Карамзина: «Альфонс, удалившийся с радостью от жарких и варварских стран Африки, пришел в восхищение, возвратившись в Европу, прибыв в Грецию, питаемую *благорастворенным воздухом*» (перевод из Жанлиса).

¹⁸ Встретилось в сб. «Пересмешник или словенские сказки» М. Д. Черкова.

¹⁹ Встретилось у М. В. Ломоносова.

²⁰ ССРЛЯ, I, стлб. 474. Пример поэтического преобразования этой связи встретился в стихах С. Маркова: «Увидел я орлов парение И пар, встающий от дубрав, Почуял *благорастворение цветов и неизвестных трав*» («Дон Сысой, или русские в Калифорнии», М., 1966). На этот интересный пример мне любезно указал М. В. Черепанов.

²¹ ССРЛЯ, I, стлб. 473.

²² В ССРЛЯ (XV, стлб. 316) слово *теплый* в указанном значении определено как «мягкий, приятный для зрения» («так тепел, уютен был желтый огонек в каком-то далеком окне». Сергеев-Ценский, Снег). Не случайно толкование начато словом *мягкий*, которое тоже при характеристике огня можно рассматривать лишь как образное в основе уподобление какому-то сходному по приятности ощущению («ослепительная для глаз белизна домов сменяется мягким розово-золотистым колером». Григорovich, Корабль «Ретвизан» — ССРЛЯ, VI, стлб. 1439).

Итак, та же самая связь слов может по-разному передавать значение. В одних случаях ясно выступают существенные признаки называемого словом класса предметов (разряда свойств). Их надо иметь в виду, чтобы понять выраженную во фразе мысль. В слове *благорастворенный* — это «растворенный с соблюдением пропорции (о составе, в том числе и о составе воздуха)». В других случаях на первом плане оказывается оценочный момент. Новый аспект значения вызывает потребность в ином определении. В нашем примере — это «благодный, приятный своей свежестью (о воздухе)».

Проникновение слова из бытового или художественного стиля в научный вызывает обработку его логического содержания в новом направлении, качественное изменение обиходного значения в специальное. И напротив, слово, попавшее из научного стиля в другие функциональные стили, утрачивает определенность отличительных признаков терминологического значения. На значение нередко наслаиваются экспрессивные оттенки. Стилистические нюансы могут перерасти в смысловые²³. Итак, значение оказывается преобразованным уже в силу того, что оно попало в другой стилистический или исторический контекст. Мысль о подобном обновлении, правда, не словесных значений, а языковых форм была высказана в свое время А. А. Потебней²⁴.

Анализ словесных связей, в которых реализуются значения слов, приводит, таким образом, к выводу, что многовековая устойчивость тех или иных из них не означает еще, что во все периоды они выражали одинаковое содержание и имели неизменную стилистическую приуроченность.

К сказанному добавим следующее. С тех пор как словари стали описывать значение не только путем определения его отличительных признаков, а выделяя типы словоупотребления, стало ясно, что эта часть описания не менее важна для характеристики значения, чем само истолкование. Если определить значение слова как формальное понятие²⁵, обусловленное в своем выражении системными отношениями словарного фонда языка в тот или иной период его развития²⁶, то вполне закономерно будет сделать акцент на второй части определения. Именно в ней говорится о том, в чем заключается процесс языковой объективации понятия, об условиях его реализации. Несомненна и прямая зависимость значения слова от его предметной соотнесенности.

3. Рассмотрение, посвященное истории отдельных связей слов, остается условным и в некоторой степени формальным, пока не разобран во-

²³ Указанное явление существенно для теории синонимов, которые принято различать по оттенкам либо смысловым, либо стилистическим, либо экспрессивным. Грани эти проявляют, однако, подвижность и взаимопроникаемость.

²⁴ «Прежде созданное в языке, — пишет А. А. Потебня, — двояко служит основанием новому: частью оно перестраивается заново при других условиях и по другому началу, частью же изменяет свой вид и значение в целом единственно от присутствия нового». («Из записок по русской грамматике», I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 125). Ср. и у Ф. де Соссюра: «Идея и звуковой материал, заключенные в знаках, имеют меньше значения, чем то, что есть кругом него в других знаках. Доказывается это тем, что значимость термина может видоизменяться без изменения как его смысла, так и его звуков, исключительно вследствие того обстоятельства, что какой-либо смежный термин претерпел изменение» («Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 119).

²⁵ В обычном определении термина «понятие» («логически расчлененная мысль, отображающая общие и существенные признаки предметов и явлений действительности») необходимо, как кажется, указать на непереносимость еще одного признака — словесной объективации понятий (в соответствии с учением И. П. Павлова о второй сигнальной системе).

²⁶ Об отношении формального и содержательного понятия к значению слова см.: С. Д. Кацнельсон, Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965, стр. 18—25.

прос об исторической природе значения. Связи слов функционируют в пределах значений, качественно различных в разные периоды языка, исторична сама лексическая система.

Значение слова *ездить* — «перемещаться с помощью каких-н. (в принципе любых) средств передвижения». Развитие этих средств как технический процесс — явление экстралингвистическое. Казалось бы, что язык в подобных случаях не должен реагировать на перемены. Это можно и подтвердить тем, что слово сохраняет свое значение с древнейшей поры до наших дней. Тем не менее исторические словари в толковании значения слова *ездити* называют и способы езды. У Срезневского глагол определен «ездить (на лошадях и на судах)»²⁷, в Словаре «Слова о полку Игореве» — «передвигаться на чем-л. (верхом, на лодке, повозке)...»²⁸. Дело, однако, не в том, что перед нами попытка перечислить все средства, с помощью которых совершается езда²⁹.

Знакомство с древними материалами убеждает, что указание, о котором упоминалось, возникло по причине семантического порядка: езда верхом оказывается преимущественным, почти неизменным, однако, не всегда доминирующим признаком выражаемого словом понятия. Если отвлечься от этого признака или упустить его из виду, то смысловая структура анализируемого слова предстанет в виде ряда значений. Так и выглядит словарная статья на слово *ездити* в словаре «Слова о полку Игореве», где выделено пять значений³⁰.

При сравнении словарной статьи древнего *ездити* с описанием того же глагола в современных словарях³¹ получится результат, весьма далекий от того, что реально произошло. Окажется, что два значения сохранились, три утрачены. На самом деле изменения происходили в пределах первого значения, а именно «держать путь (верхом...), сверх которого и в древней структуре слова представлено еще лишь одно значение, соответствующее современному «уметь пользоваться средствами передвижения».

Семантика слов разных периодов развития языка не допускает механических соотношений. Древние значения существенно отличаются от современных. Различная направленность в применении значения глагола *ездити* «держать путь (верхом, на судне или в повозке)» в течение длитель-

²⁷ И. И. Срезневский, указ. соч., III, стлб. 1621.

²⁸ «Словарь-справочник ...», 2, стр. 64.

²⁹ Ср. в связи с этим такой пример словоупотребления, данный в словаре Срезневского без всякого добавочного комментария: «Хан же ездит на людах, а слонов у него и кони много добрых». Хож. Аф. Никитина (XV в...). Ср. также пример из Матфея Златой (XV в.), где речь идет об эллинах, едущих «на львоуе колесници».

³⁰ Кроме указанного, еще такие: «занимать какое-л. место в конном строю и соответственно — в военной иерархии», «ходить в походы, отправляться на войну», «охотиться» («Словарь-справочник...», 2, стр. 64, 65). Два последних определения указывают не на характер действия, а на его цель, в них отсутствует как бы само собой понятное значение «верхом на лошади». Слишком широким оказывается и толкование значения «уметь пользоваться какими-н. средствами передвижения» (дано в словаре вторым). Ср.: «Александр же мужаашеся възрастом, егда бысть двюнадесять лету, с отцем на воину хожаше, и на конех ездя баше». Александр., 17 (XV в. ~ XII в.). 1211: «Данилу же тогда детьску сущю, якоже можаше на [кони] ездити». Ипат. лет. (там же, стр. 64).

³¹ В ССРЯ у глагола *ездить* отмечены три значения: «передвигаться в различных направлениях, отправляться куда-либо с помощью каких-либо средств передвижения», «уметь пользоваться какими-либо средствами передвижения» и третье, просторечное, «двигаться, скользить по чему-либо; болтаться. О предметах». «Седло ездит» (III, стлб. 1253). Последнее из значений для нас несущественно, так как это частная линия семантического развития — один из переносов основного значения.

ного исторического этапа от XII по XVII в. может быть представлена в ряде спецификаций, или типов употребления:

а) Наиболее общий тип. «Княже: Конь, его же любиши и ездиди на нем, от того ти умерети». Пов. врем. лет (Радз.) (XV в. — начало XII в.); «Лутче есть утли лодии ездети, нежели зле жене тайны поведати». Сл. Дан. Заот. (начало XVII в. — XII в.)³².

б) «ходить в походы, отправляться на войну»: «... и возвратишася [половцы] к ватагам своим, и оттуду же ездячи, и почаша часто воевати по Рси с Кунтувдеемъ». Ипат. лет. «Замъкни, князь великий, от сих ворот, чтобы потом поганые к нам не ездили». Задон. Ист. — I (XVI в. — начало XVII в. — XIV в.).

В этом типе применения слова развился грамматический признак — соединение с предлогом *на* (*ездити на кого*) — формальное свидетельство спецификации значения. 1185: «Игорь же молвяшетъ Святославилю мужеви: Не даи бог на поганые ездя ся отрещи: поганы есть всим нам обещъ ворогъ». Ипат. лет. Конструктивная примета увеличивает степень определенности выражаемого смысла и несомненно вызвана потребностью его отграничения, но, как видим, не является обязательной. Есть и другие приметы формализации контекстов с военным содержанием, они придают глаголу *ездити* новые аспекты значения. В сочетании с обстоятельственными наречиями (*ездити как*) слово получает значение «сражаться (на коне)» с оценкой указанного действия. 1213: «Данил бо млад бе, и видев Глеба Зеремиевича и Семьюна Кудьниньского мужескы ездяща, и приеха к нима укрепляя и; и инии же устръмилися на бегъ». Ипат. лет.; «Князь великий Юри Ингоревич, видя братию свою и бояр своих и воеводе храбро и мужественно ездяще, и возде руце на небо со слезами». Пов. разор. Ряз. (XVI в. — XIV в.). В сочетании с порядковыми числительными — «занимать какое-л. место в конном строю и соответственно в военной иерархии»: «... четвертый же бе Александр ездя, по нем же Николаи... Александр». (XV в. — XII в.). Соответственно *ездити на переду* (*напереди*) означает «быть во главе дружины, войска», а *подле кого ездити* и *подле стремень ездити* — фразеологическая связь, которая, однако, не препятствует сохранению все того же общего значения «держат путь (верхом)» — «находиться в подчинении у кого-л.». 1185: «Ходиша бо князи русстии вси на Половци... Володимер же Глебовичъ, внук Юргев, ездяще напереду...» Лавр. лет. 1183: «Володимер же Глебовичъ посла ко Игореву, прося у него ездити на переди полком своим». Ипат. лет. 1148: «Зане ты еси старей нас, Володимирих внуцех, а за Рускую землю хочю страдати. и подле тебе ездити». Там же. 1152: «Ать ездить Мьстислав подле твои стремень по одиной стороне тебе, а я по другои стороне подле твои стремень еждю всеми своими полкы». Там же.

в) «охотиться»: «Но волю ему даяхуть, где хочеть, ту ездяшетъ и ястребом ловяшетъ». Ипат. лет.; «Да прислал бы еси их к нам кто бы умел со птицами ездити, а кречеты бы были узорочье ловцы». Крым. дела II (1518). В этом типе спецификации значения глагола снова встречается конструктивная примета в виде предлога *на* (*ездити на к.-н. зверя*). «На четвертое же лето на 10 ездяша прекрасный Девгеней на всякий зверь без оружия». Девг. Д. (XVIII в. — XII, XIII вв.). Необходимости различать формально *ездити на поганые* и *ездити на всякий зверь*, однако, не возникло. Аспект значения глагола определяет существительное, с которым сочетается предлог.

³² Пользуюсь цитатными материалами «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“», 2, стр. 64—67.

г) «направляться для сбора податей и для управления»: «А доколе сын мой Феодор подростет, а доколе издит по моим селам брат мой Григорей в мое место, и людьми моими владеет». Дух. Ост. ок. 1386; «Владыце во Псков ездити по старине по свою пошлину». Псков. I л. 6974 г.³³

Среди рассмотренных примеров есть такие, где смыслового обогащения самого глагола *ездити* как будто не происходит, так как соответственная конкретизация значения выражена другими словами. Ср. в типе в): *Но волю ему даязуть, где хочет, ту ездяшет и ястрябом ловяшет*; в типе г): *ездити по свою пошлину* (т. е. ездить, чтобы собрать пошлину). (Однако и эти применения глагола получают известное ограничение смысла в ряду иных, где значение *ездити* включает в себя конкретизирующие признаки.) В других примерах спецификация не только присутствует, но и закреплена формально (*ездити на кого, на что, ездить как*). В третьих — ее можно вывести только из общего характера текста, из обстановки речи в широком смысле, и тем не менее она неоспорима. Ср. в типе в): *кто бы умел со птицами ездити* (охотиться с ловчими птицами); в типе г): *а доколе ездит по моим селам брат мой Григорей в мое место*. Особенно показателен этот последний пример. Перед нами духовная грамота XIV в., и из истории феодального быта явствует, что речь идет о сборе податей в селлах, а не вообще о поездках по селам³⁴. Ср. с этим случаи применения *ездити* без указанной спецификации значения: 1259: «И почаша ездити оканьнии по улицам, пишпоче домы христьяньския». Новг. I лет.

Итак, для слова *ездити* прослежены различные типы конкретизации, или спецификации, единого значения (в данном случае «держат путь верхом, на коне»). Уподобляя эти членения тем, которые имеют место в смысловых структурах современных слов, их принимают за особые значения. Не есть ли, однако, специфика древнего *ездити* лишь следствие широты его семантики, которая и теперь проявляет себя в богатстве лексико-фразеологических вариантов? Недаром противники полисемии строят свои доказательства, исходя из анализа смысловых структур подобного типа³⁵.

Нерасчлененность древнего значения может наблюдаться не только у глаголов с широкой сочетаемостью типа *ездити*, но и у таких конкретных существительных, как например, *древо* (*дерево*). В стремлении отразить семантическую неоднородность употреблений словари и здесь пытаются разделить единое комплексное значение на несколько значений³⁶. Однако при определении значений слов в древнерусском языке нельзя исходить из характера значения этих же слов в современном русском языке. Судя по материалам, в смысловой структуре слова *древо* (*дерево*) существуют лишь два основных семантических деления, причем то и другое отмечается и у современного слова *дерево*, а именно: 1) «дерево (на корню)», 2) «древесный материал, идущий на изделия»³⁷. Первое из значений обладает, однако, рядом спецификаций, чего не бывает в смысловой структуре современных слов. Они таковы: а) Наиболее общий тип: «Боян бо вещи, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию

³³ Примеров типа г) не оказалось в словаре «Слова о полку Игореве». Пользуюсь цитатами из словаря Срезневского (т. III, стлб. 1624).

³⁴ Анализируемое слово не может здесь пониматься не только в общем смысле «держат путь (верхом)», но и в смысле «ездить с целью управления», как могло бы показаться, судя по второй части предложения: *а людьми моими владеет*.

³⁵ Чаще других привлекает внимание глагол *идти* и его английские, французские и иные соответствия.

³⁶ В словаре «Слова о полку Игореве» статья на слово *древо* состоит из четырех значений, причем при первом из них выделено три оттенка.

³⁷ При характеристике семантики слова *древо* пользуюсь материалами «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“», 2, стр. 47, 48.

по древу...» Сл. о п. Иг. ³⁸; б) «бревно, брус, столб» ³⁹: «А та уже церкви ветха, и двинулися своды ея, древом убо подкреплени быша». Ник. лет. (XVI в.); «Убиша его... и главу ему отсекоша и на высокое древо взоткнули». Курб. Ист. (XVII в. ~ XVI в.); в) «поленья, дрова» (собр.): «И суха дрова и смолна подложив с серою, и зажег възвратися: Древу же възгоревшюся, умякче земля...» Флав. Полон. Иерус. (XVI в. ~ начало XII в.); г) «палица, палка»: «Июдеи же, обступльше и купно, пободоша оружии и копии, и окшевами и камением бяхуть и древом». Флав. Полон. Иерус.; «И повеле суковатыми древы бити его...» Великие Минеи-четьи (XVI в.); д) «шест с насаженным копьем, древко»: «Един же от разбойник удари Никандра копейным древом». Ж. Никандра Крыпецк. (XVI в. ~ 1582 г.). Возможность разной конкретизации одного смыслового комплекса — в наличии общей основы: а) дерево (на корню); б) то же дерево, но срубленное и обтесанное; в) то же дерево, но расколотое на куски, употребляемые как топливо; г) кусок дерева, приспособленный или применяемый как орудие; д) кусок дерева, применяемый как оружие ⁴⁰.

Анализ смысловых структур слов *ездити* и *древу* имел целью показать, что при исследовании значений слов о круге реальных применений слова, неодинаковом в разные периоды функционирования языка, столь же существен, как и определение признаков объектируемого в значении понятия. Исторически изменчив и характер самих значений. Приметы семантической архаики, как и семантического развития, обнаруживаются в разной степени и в разных формах.

Основной стимул перегруппировки звеньев и элементов лексической системы, ее совершенствования и обогащения — смена представлений о реальном мире. Цель семасиологического исследования, если оно охватывает значительные периоды истории языка, — вскрыть ход развития от синкретических значений древности, «семантического конгломерата» к специализированной и дифференцированной системе четко разграниченных понятий ⁴¹.

³⁸ Применение слова во множественном числе создает в известных контекстах отгенок значения «о лесе».

³⁹ Такое толкование дано одному из значений в словаре «Слова о полку Игореве». Соединение трех слов, имеющих разные значения, в одном толковании само по себе говорит об отсутствии четкости семантических границ между примерами употребления слова *древу*, отнесенными к этому членению.

⁴⁰ Слово *древу* в соединении с относительным прилагательным *копейный* образует название части оружия.

⁴¹ Б. А. Ларин, О признаках семантической архаики, «Тези доповідей у міжвузівської республіканської славистичної конференції». Ужгород, 1962, стр. 75—76.

В. Е. УШАКОВ

ДРЕВНЕРУССКИЕ АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ПАМЯТНИКИ СЕРЕДИНЫ XIV в.

Старшим акцентуированным памятником славянского письма, в котором систематически расставлены акцентные знаки, считается Терновская надпись царя Асены 1230 г. «Этот памятник открывает период введения системы знаков ударения в южнославянских (сербских.— В. У.) текстах»¹. Болгарские акцентуированные рукописи появляются в третьей четверти XIV в.²

Применение надстрочных знаков для обозначения словесного ударения в древнерусской письменности ведет начало с середины XIV в. Первыми русскими акцентуированными памятниками являются записи русских глосс в манускрипте № 171 из собрания греческих рукописей Венской национальной библиотеки³ и Чудовский Новый Завет (ЧНЗ). Названные памятники не содержат записей, которые указывали бы на время и место их написания. Датировка и локализация этих рукописей может быть установлена путем их палеографического и лингвистического исследования.

Рукопись Венской национальной библиотеки содержит словарь греческого языка, составленный неизвестным автором в XII—XIII вв. Она привлекла внимание ученых прежде всего как памятник греческой лексикографии⁴. Но она представляет интерес и для историков русского языка, так как часть греческого словаря (лл. 1—15, 275 об., 278) дается в славянском переводе. Перевод отдельных слов и фраз вписан между строками греческого текста.

Коллекция греческих рукописей, среди которых находился манускрипт № 171, была вывезена из Константинополя в Вену в середине XVI в.⁵. Записи славянских глосс сделаны до того, как рукопись поступила в Венскую национальную библиотеку. В связи с этим напрашивается предположение, что перевод греческого словаря был сделан в столице Византии, где уже в XI в. существовали славянские, в том числе и русские колонии⁶.

Изучение славянских записей показывает, что переводчиком греческого словаря был древнерусский книжник. Об этом свидетельствуют

¹ О Неделькович, Знаки ударения в сербских доресавских рукописях, «Slavia», XXXVI, 1, 1967, стр. 28.

² Там же.

³ H. Herbert, Katalog der griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, 1, Wien, 1961, стр. 275—276.

⁴ В. Коритар, Hesychii glossographi discipulus et ἐπὶ ἁλωσιστὴς Russus in ipsa Constantinopoli sec. XII—XIII, Windobonae, 1839; M. Schmidt, Hesychii Alexandrini Lexicon, 4, Jena, 1862.

⁵ В. Коритар, указ. соч., стр. 1—2.

⁶ И. Дуйчев, Центры византийско-славянского общения и сотрудничества, в кн.: «Русская литература XI—XVII вв. среди славянских литератур», М.—Л., 1963, стр. 114.

полногласные формы слов: горѣдѣ 14, молоко 14, молоди 15, корона 15 и др.; начальное *рѣ* в соответствии с общеславянским **ort* в слове *рѣкно* 7. На русский извод славянского текста указывают написания с *ж* на месте общеславянского **dj* в словах: неѣѣѣѣ 3 об., нерожене 4, кож 6, без *раггужѣ* 8 об., *стѣжѣ* 11 об. и др. (написания с *ж* в соответствии с **dj* не встречается).

Обследование особенностей письма и языка русских записей в греческом манускрипте позволяет ориентировочно определить время их появления.

Русские глоссы написаны мелким полууставом. В русской письменности полуустав начинает употребляться с середины XIV в.⁷ Полууставное письмо характеризуется рядом особенностей, отличающих его от уставного письма. Полуустав мельче устава. Геометрический рисунок букв, свойственный уставу, в полууставном письме нарушается. Петли букв имеют не всегда правильную форму. В полууставе больше сокращений, широко практикуется использование лигатур, увеличивается количество букв, написанных над строкой, появляются знаки ударений⁸.

Все эти особенности полууставного письма находим в русских записях греческого манускрипта. Прежде всего обращает на себя внимание обилие лигатур. Чаще других встречаются связанные написания с буквой *к*, мачта которой сливается с мачтами букв *и*, *а*, *ѣ*. В лигатурах *к—к*, *о—к*, *с—к*, *ч—к*, *н—к* мачта второй буквы вообще не пишется. Кроме описанных, встречаются лигатуры букв *и—л*, *т—и*, *т—р*, *т—к*, *т—с*, *а—к*, *м—у*, *н—а*, *н—з*. Древнерусский книжник не останавливается перед тем, чтобы связать в лигатуру буквы *и—к*, относящиеся к разным словам: не *имѣи—конца*. 4 об.

В записях русских глосс многочисленны сокращения слов с выносными буквами. Особенно часто над строкой пишутся буквы конечных согласных. Как уже отмечалось, русские слова вписаны между строками греческого текста, что ограничивало возможность употребления выносных букв и написаний под титлами. И тем не менее в письме древнерусского книжника угадывается привычка к использованию разнообразных приемов сокращения слов.

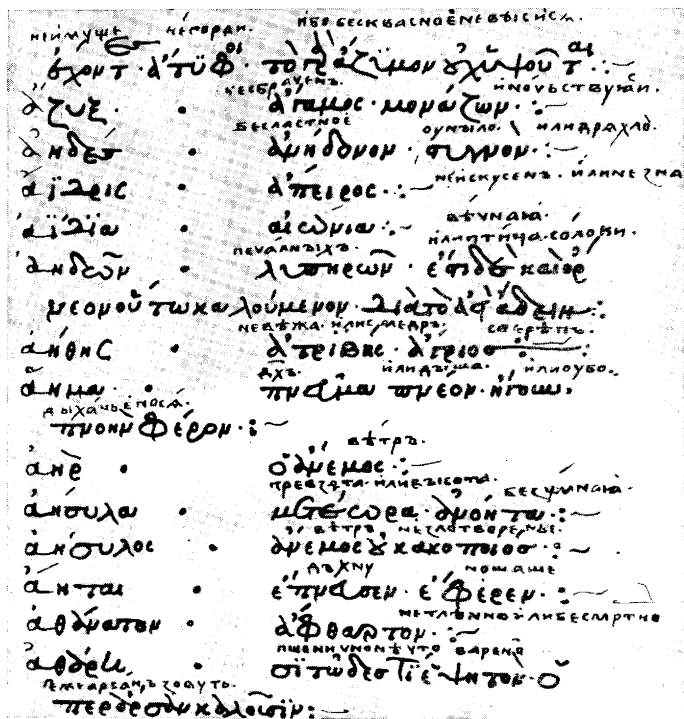
При изучении русского письма Венского манускрипта выявилось, что переводчик приблизительно в третьей части русских слов поставил знаки ударения. Для обозначения словесного ударения употребляются три акцентных знака: оксия', вари́я', и камо́ра'. Оксия ставится над буквами ударных гласных в середине слова: поузы́рки кода́нзиѣ 11, визнаде́жнѣ 10 об., лѣ́ннѣ 10 об. и др. Вари́я пишется над буквами ударных гласных в конце слова: адрѣ́стока дѣи 10, нощѣ́ (презенс, 1-е лицо ед. числа) 10 об., не́сѣи (императив) 11 об. и др. Но от этого правила встречаются отступления. В слове *носа́* (л. 12) над буквой конечного гласного поставлена оксия. Знак каморы поставлен над буквой *о* в конечном слоге слова: пше́ннѣно нѣ́что ка́ренѣ 12.

В письме древнерусского переводчика не встречается элементов скорописи, характерных для беглого полуустава, который появляется в русской письменности с конца XIV в. Но здесь можно встретить особенности письма, свойственные русскому уставу. Они проявляются в начертаниях букв *ѣ* *ю* *ѣ* — с приподнятыми к верхней грани строки перегибами, а также букв *к* *з* *а* с геометрически правильными петлями. Таким образом, в письме русских глосс находим полуустав старшего типа, который появляется в русской письменности с середины XIV в.

⁷ Л. В. Черепнин, Русская палеография, М., 1956, стр. 242.

⁸ Там же, стр. 239.

Для уточнения датировки памятника важно выявить орфографические нормы, в частности нормы употребления букв *з*, *л* на месте редуцированных *ъ*, *ь* и их замен через *о*, *е*. В русских записях буквы *з*, *л* на месте редуцированных в слабой позиции, как правило, опускаются: непорочно 1, славно 2, макко 2, судно 3 об., колце 5 и др. Написания с сохранением



Древнерусские глоссы в греческом манускрипте № 171 Венской национальной библиотеки, лист 12

букв *ъ*, *ь* в середине слова единичны: неискүсано 7 об., негүменано 9, мужасткєнз 12 об.

Древнерусский переводчик часто пропускает буквы *з*, *л* в конце слов: кроток 1, храбор 2, посол 3 об., без слез 7; после палатальных согласных: дѣлател 3, пастѣир 3 об., скѣтлост 5, мерзост 6, кож 6, купец 6 и др.; в формах презенса: бѣит 4, поет 8, плачит 7, гѣт 8 и др.

На месте этимологических *ъ*, *ь* в сильной позиции пишутся только буквы *о*, *е*: кроток 1, краєн 1 об., доброкрасен 5, лєтец 5, дурєн 5 об., купец 6, немздѣимец 8, печалєн 8 об., скорѣдєц 8 об., неискүсєнз 9, вєцєстєнз хѣлєл 9 об., вєцєстєнн 11 об., концє 13, собрєнє 13 об. и др.;

в сочетаниях **tъrt*, **tъrt*, **tъlt*: по *торгъ* 6, *мерзостъ* 6 об., *ворзъмъ* 7 об., *горди* 8 об., *негорди* 12, *чрекополнецъ* 8 об., *небдържанно* 9, *сдържаниа* 9 об., *скорбникъ* 11, *нескверно* 12 об. (болгаризованных написаний типа *скръбъ* *гръзмъ* не встретилось).

Согласно принятой точке зрения падение редуцированных в говорах древнерусского языка завершилось в XIII в. Однако нормы употребления букв *ѣ* и *о*, *ѣ* и *ѣ* складываются значительно позднее. В рукописях второй половины XIII в. и начала XIV в. еще нередки случаи употребления букв *ѣ*, *ѣ* как на месте редуцированных в сильной позиции, наряду с их заменами через *ѣ*, так и на месте редуцированных в слабой позиции⁹. Упорядоченное употребление букв *ѣ* и *о*, *ѣ* и *ѣ* в древнерусской письменности устанавливается со второй половины XIV века¹⁰.

Материалы по истории редуцированных *ѣ*, *ѣ*, извлеченные из русских записей, достаточно определенно говорят о том, что в языке переводчика *ѣ* и *ѣ* как самостоятельные фонемы не существовали. Для датировки древнерусского перевода особенно показательны последовательно проведенные написания с буквами *ѣ* и *ѣ* на месте этимологических *ѣ*, *ѣ* в сильной позиции, так как именно они отражают то новое, нормализованное после падения редуцированных письмо, которое установилось в русской письменности со второй половины XIV в.

Наблюдения показали, что русские глоссы в греческом манускрипте написаны полууставом старшего типа, характерным для русской письменности середины XIV в. В орфографии памятника отражены устоявшиеся нормы употребления букв *ѣ*, *ѣ* на месте редуцированных в сильной позиции. В письме русских глосс нет следов второго южнославянского влияния в виде написаний типа *юкада* *дсѣраа*. Древнерусский книжник ни разу не употребил букву *ж*. Это говорит о том, что перевод греческого словаря был предпринят не позднее последней четверти XIV в., так как русские памятники конца XIV — начала XV в. несут на себе печать киприановской реформы древнерусского письма¹¹.

Таким образом, русские записи в греческом манускрипте являются акцентуированным памятником древнерусского письма середины XIV в. Однако Б. Копитар при описании этого памятника не придал значения акцентуации русского перевода и в приложении к брошюре дал копию пятого листа, на котором в русских глоссах нет акцентных знаков. В напечатанном Б. Копитаром индексе русских глосс знаки ударения расставлены непоследовательно (полный список русских акцентуированных слов см. в приложении к данной работе).

Манускрипт № 171 описан в «Каталоге древнегреческих рукописей Венской национальной библиотеки» Г. Герберта, но и здесь нет упоминаний об акцентуации древнерусского текста. Между тем, именно акцентуация русских записей представляет особый интерес потому, что для середины XIV в. пока известен лишь один акцентуированный русский памятник — Чудовский Новый Завет. Хотя русский лексический материал Венского манускрипта невелик по объему, тем не менее здесь содержится ряд слов, отсутствующих в Чудовском кодексе. Кроме того, данные Венской рукописи позволяют осветить некоторые моменты из истории первого перевода Нового завета с греческого языка на древнерусский.

⁹ Л. П. Жуковская, К вопросу о конечной стадии истории редуцированных в русском языке (По материалам Галицкого евангелия 1357 г.), в кн.: «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960, стр. 59.

¹⁰ В. И. Боровский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 99.

¹¹ А. И. Соболевский, Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв., СПб., 1894.

Чудовский Новый Завет — недатированный и нелокализованный памятник. До 1917 г. книга хранилась в московском Чудовом монастыре (отсюда ее название). Местонахождение ее в настоящее время неизвестно. К счастью, вся рукопись была двукратно издана. Первое издание (1887) представляет собой альбом снимков¹². В 1892 г. было осуществлено фототипическое издание памятника¹³ в количестве 100 экземпляров¹⁴.

Ученые, которые имели возможность сличить рукопись и издание 1892 г., дают высокую оценку печатному воспроизведению Чудовского кодекса. Так, Г. Воскресенский в рецензии отмечал, что «памятник превосходно издан — лист в лист, строка в строку, буква в букву, знак в знак — фототипическим способом... и вполне заменяет самое рукопись»¹⁵. В другом сочинении этого автора находим сведения о том, что Чудовская рукопись была «написана на тонком, отлично выделанном пергаменте в малую 8-ку (4 вершка длиною, два с половиной шириною), в два столбца, по 38—41 строк, на 170 листах, весьма мелким тщательным полууставом»¹⁶. В этом сообщении приводятся данные о том, что при фототипическом воспроизведении Чудовской рукописи были выдержаны размеры оригинала (17 см × 11 см).

В 1798 г. книга была заново переплетена и украшена жемчугом, изумрудами, яхонтами и алмазами¹⁷. По описи Чудова монастыря новый переплет и серебряный ларец, в котором хранилась рукопись, оценены в 768 рублей 35 копеек¹⁸.

По современной пагинации, выполненной арабскими цифрами, в ЧНЗ 170 листов. Первый лист бумажный. На лицевой стороне его запись митрополита Платона, сделанная по-гречески: τοῦτο εὐαγγέλιον, ὡς τινὰ θυσαυρὸν, δεῖ φεῦλάτειν. Ταπεινός, Πλάτων, ἀρχιεπίσκοπος, Μόσχας, καὶ Καλόυρας ἐπεγράφη ἰδία χεὶρὶ. 1781. ἔτους. «Это евангелие как некое сокровище следует хранить. Смирный Платон, архиепископ Москвы и Калуги. Подписал собственною рукою 1781 года».

На оборотной стороне 1 листа помещена запись на церковнославянском языке: Вышеписанный Архїєпискп, нзїнѣ же недостойнѣйшї Митрополїтѣ Москѡвскїх Платѡнѣ, и пакї Закѣца|кѡю храниѣи сїе Евангелїе, ꙗко собственнѡ рукою Бгїи|тема Іакоу писанное: | вкупѣ же со сѡсерѣчїею Бгѡ а҃х҃овскѡю | на концѣ сїа книгї прилѡжїеннѡ, | 1798. гѡда. подпїсано сїе к' | трїцкѡю Бг҃гїею Лѡврѣ.

Внизу второго листа запись, сделанная тем же почерком: украсїеннѡ Евангелїе | жемчуги и каменїе* | 1798 гѡда. тїцанїемѣ | того же Митрополїта и | Архїмандрїта Трїцкїа | Бг҃гїеки Лѡврѣ. На обороте второго листа еще одна запись: Тетрѡ, ѡуле. чїткѡсїца а҃л҃ексѣа чїюка мїтїѣра | Бѡкѣ а҃дїю. к сїе* ѡуаїи | чїстїи за з'дракїе іна | бѡлацїмїи.

¹² «Новый завет господа нашего Иисуса Христа, писанный рукою святителя Алексия митрополита, сфотографированный в 8-мь дней в начале августа 1887 г. фотографом Александром Александровичем Багнеровским под непосредственным наблюдением давилковского архимандрита Амфилохия».

¹³ «Новый завет господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Фототипическое издание Леонтия, митрополита Московского», М., 1892.

¹⁴ «Русский биографический словарь», СПб., 1900, II, стр. 18.

¹⁵ «Богословский вестник», 1893, стр. 1—2.

¹⁶ Г. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода евангелия от Марка по 112 рукописям XI—XVI вв., в кн.: «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», М., 1896, стр. 48.

¹⁷ Г. Воскресенский, указ. соч., стр. 48.

¹⁸ «Московский Кафедральный Чудов монастырь», издание Чудова монастыря, 1896, стр. 54.

Митрополит Платон присоединил к рукописи найденное в ризнице Чудова монастыря Духовное завещание Алексия, писанное на бумаге, и копию духовной грамоты, сделанную в конце XVIII в.¹⁹ На оборотной стороне грамоты помещены две записи: *Духовная Влѣзѣта митрополита № I*
Сю стѣлѣта Алексѣя Духовную и съ спискомъ хранитѣ | к митропскѣ ризницѣ
к сребро|сѣканному ковчегѣ. | Смиренный Платонъ Архїепископъ Московскій.
 1777. Юліа 2.

Чудовская рукопись содержит полный текст Нового завета. Листы 3—52 об. занимает четвероевангелие. На лл. 52 об.— 54 помещено Слово Никона Черногорца «О постахъ и властѣхъ». «Слово» недописано, поэтому лл. 54 об.— 55 об. остались чистыми. Недописанным оказалось и предисловие к «Деяниям св. Апостолъ», вследствие чего лл. 57 об.— 58 об. также остались чистыми. На лл. 59—166 помещены деяния апостольские, послания апостолов, апокалипсис и оглавления из евангелия и апостола. Листы 96—98, на которых следовало быть предисловию «Послания к римлянам», оставлены незаписанными. Начиная с десятой строки 168 листа и до конца рукописи (л. 170) идет лунный календарь, рассчитанный на 19 лет. Кроме того, на первом пергаменном листе (втором по общему счету) помещен отрывок правоучительного содержания. На оборотной стороне этого листа полууставом XIV в. написаны 10 заповедей.

Чудовский список Нового завета давно привлекает внимание ученых. Один из первых исследователей этого памятника Г. Воскресенский отмечает, что «отличительною чертою содержащегося в сей Чудовской рукописи перевода служит буквальная близость его оригиналу»²⁰. Г. Воскресенским изданы евангелие от Марка, послание к римлянам, послание к коринфянам 1-е, послание к коринфянам 2-е, послание к галатам, послание к ефессам²¹. При текстологической сверке пергаменных рукописей апостола оказалось, что так называемый Погодинский список апостола XIV в.²² «должен быть назван точною копию апостольского текста, содержащегося в Чудовской рукописи Нового Завета»²³. Текст апокалипсиса по Чудовскому списку издан Амфилохием²⁴. К. Тромонин в «Достопамятностяхъ Москвы» издал текст духовной грамоты митрополита Алексия, напечатал снимок 143-го листа ЧНЗ и привел некоторые сведения о переплете этой рукописи²⁵.

Однако, несмотря на ряд изданий Чудовского кодекса в полном объеме и отдельных его частей, для акцентологического исследования памятника могут быть использованы только альбом снимков Амфилохия и фототипическое издание ЧНЗ 1892 г., так как при типографском наборе текста в сочинениях Г. Воскресенского и Амфилохия в постановке акцентных знаков допущены ошибки.

Много внимания Чудовской рукописи уделил А. И. Соболевский²⁶. Материалы этого памятника им использованы в «Лекциях по истории

¹⁹ Г. Воскресенский, указ. соч., стр. 49.

²⁰ Г. Воскресенский, указ. соч., стр. 54.

²¹ Там же, стр. 258—291, 144—252, 284—287, 306—309, 323—325, 339—341.

²² Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, собр. М. П. Погодина, № 27.

²³ Г. Воскресенский, Погодинский апостол № 27 и Чудовская, усвояемая св. Алексію, рукопись нового завета, отд. отт. из «Сборника по славяноведению», 1, СПб., 1904, стр. 28.

²⁴ Апокалипсис XIV в., исправленный преимущественно по апокалипсису, исправленному и писанному св. Алексіем Митрополитом. Труд архимандрита Амфилохия М., 1887.

²⁵ К. Тромонин, Достопамятности Москвы, М., 1845, стр. 7—9.

²⁶ А. И. Соболевский, Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв. СПб., 1894.

русского языка»²⁷. Упоминания о Чудовском кодексе находим у Е. Ф. Карского²⁸ и в «Обзоре русских письменных памятников Н. Н. Дурново»²⁹. Ценные замечания об особенностях акцентуации текста в Чудовском завете содержатся в работе Л. Л. Васильева «О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв.»³⁰. Палеографическому и лингвистическому исследованию ЧНЗ посвящена статья М. И. Карневой-Петрулан «К истории русского языка (Особенности письма и языка писцов московских владык XIV века)»³¹. В 1937 г. И. Огиенко в «Записках чину св. Василия» напечатал «Словник наголосів Чудовського Нового Завіту 1355 р.»³².

Работа И. Огиенко, безусловно, представляет интерес как первый опыт составления акцентологического словаря языка древнерусского памятника. Но эта книга является библиографической редкостью. Ее нет даже в научных библиотеках Москвы и Ленинграда, поэтому «Словарь» И. Огиенко оказался малодоступным для научных работников и его материалы не использовались в исследованиях по русской и славянской акцентологии. Кроме того, в «Словаре ударений» устарели лексикографические приемы обработки материала. Слова с обозначенным в памятнике ударением И. Огиенко дает вне контекста, ограничиваясь указанием на их грамматическую форму. Такой принцип построения акцентологического словаря для древнерусского языка нельзя признать удовлетворительным. Дело в том, что в Чудовском завете ударение обозначается не в каждом слове. В этом памятнике, как установил В. А. Дыбо, акцентируется не отдельное слово, а тактовая группа. Отступления от этого правила акцентуации текста немногочисленны. Здесь последовательно проведен перенос ударения у слов с подвижной акцентной парадигмой на энклитики и проклитики³³.

«Словарь» И. Огиенко ценен тем, что содержит сведения об ударении приблизительно в 5 тысячах слов и их словоформах, но он не дает цельного представления об акцентологической системе языка Чудовской рукописи.

В наше время без использования материалов Чудовского кодекса не обходится ни одно сколько-нибудь значительное исследование по истории русской и славянской акцентологии³⁴. При оценке языковых явлений Чудовской рукописи исследователи принимают условную датировку памятника (1355 г.) и его локализацию (Московская Русь). Между тем, выявление нового древнерусского акцентуированного памятника середины XIV в. позволяет, как нам кажется, пересмотреть традиционную

²⁷ А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка, 4-е изд., М. 1907.

²⁸ Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Л., 1928, стр. 229.

²⁹ Н. Н. Дурново, Введение в историю русского языка, М., 1969, стр. 73.

³⁰ «Сборник по русскому языку и словесности», I, 2, Л., 1929.

³¹ «Slavia», XV, 1, 1937.

³² «Східнослов'янський наголос у XIV-м віці», ч. 1, Львів, 1937.

³³ В. А. Дыбо, Закон Васильева—Долобо (На материале Чудовского Нового Завета) (в печати).

³⁴ Chr. S. ta n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и славянском, М. 1963; В. В. Колесов, Именная акцентуация в древнерусском. Докт. диссерт., Л., 1968; В. А. Дыбо, О реконструкции ударения в праславянском глаголе, ВСЯ, 6, М., 1962; его же, Акцентология и словообразование в славянском, сб. «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации», М., 1968; его же, Древнерусские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения, ВЯ, 1969, 6; его же, Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском (в печати); Б. А. Успенский, Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам), М., 1969.

точку зрения на Чудовский завет как памятник московской школы письма.

Отсутствие подлинника ЧНЗ, естественно, затрудняет палеографическое исследование памятника, однако тщательно выполненное фототипическое издание рукописи в известной мере восполняет этот пробел.

Чудовский кодекс содержал 169 пергаментных листов. Первый (бумажный) лист был присоединен к памятнику, судя по содержащимся на нем припискам, в XVIII в. во время изготовления нового переплета для рукописи. Текст написан на обеих сторонах листа в два столбца в среднем по 39—41 строке на каждой странице, но встречаются листы, где уписано по 48—50 строк (лл. 53 об.— 54).

Рукопись украшена небольшими заставками геометрического и растительного орнамента и мелкими инициалами.

Сохранность текста можно признать удовлетворительной. Пострадали от времени немногие листы. Стерлись первые пять строк в записи на втором листе. С трудом прочитываются нижние строки на лл. 10 об., 53, 148 об., 155. По фототипическому изданию невозможно прочесть вставки к тексту на нижнем поле лл. 155 об.— 156. Стерлись отдельные буквы и слова в записи на л. 170 об.

При внимательном изучении особенностей начертания букв и употребления надстрочных знаков оказалось, что ЧНЗ написан разными лицами. Первый писец написал весь текст четвероевангелия (лл. 3—52 об.). Незаконченное «Слово» Никона Черногорца (лл. 52 об.— 54) писано другой рукой. Лл. 54 об.— 55 не имеют текста. На лицевой стороне 56-го листа находим новый почерк. Лл. 56 об.— 57 написаны четвертым переписчиком. Пятый и шестой работали попеременно. Ими написаны лл. 59—159. Седьмому переписчику принадлежат лл. 159 об.— 168. Рукопись заканчивается лунным календарем (лл. 168—170). Письмо восьмого переписчика обнаруживает сходство с письмом четвероевангелия конца XIV в.³⁵ Таким образом, в создании Чудовского кодекса принимали участие восемь писцов.

Различия между почерками в начертаниях букв, особенностях написания лигатур и приемах сокращения слов прослежены М. И. Карнеевой-Петрулан³⁶. Однако следует подчеркнуть не столько различия, сколько общность манеры письма лиц, создававших этот памятник. Все писцы, несмотря на сравнительно небольшой формат рукописи, текст размещают в два столбца. Во всех почерках, кроме восьмого, обращает на себя внимание обилие связных написаний. Особенно часто прибегают к ним первый и седьмой писцы. Кажется, нет таких букв, которые они не соединили бы в лигатуры: т — и, т — р, т — к, н — з, н — д, л — д, д — к, м — у, м — з, н — з, м — д, о — у, о — ц, л — н — г.

В Чудовской рукописи обычны сокращения слов под титлами, а также с выносными буквами над строкой. Чаще других над строкой пишутся буквы конечных согласных: кѣд^а мнѣ нарѣ^а 9а; ѿ призѣ^а нарѣ^а | рѣ^а и^а 9б; а^а коу^а 10 в; владѣ^атѣ ѿ книжнѣ^а | хѣтаѣ^а кѣ ѡдежа^а хѡдѣти^а 23а. Над строкой нередко ставятся буквы гласных и даже целые слоги: ѣм^а 20б, доврѣ^а 20б, оумрош^а 44 в, ѡзначѣ^а 44г, прѣдѣ^а 44г.

Памятник написан весьма тщательно. В нем не наблюдается описок в виде пропуска букв или слогов, не видно подчисток и исправлений.

³⁵ Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, 111, 6.

³⁶ М. И. Карнеева-Петрулан, указ. соч., стр. 1—13.

А. И. Соболевский поставил под сомнение принадлежность Чудовской рукописи перу митрополита Алексия ⁴². Признавая, что памятник написан при жизни этого церковного деятеля, ученый подчеркивал, что данная рукопись «... не имеет в себе ничего такого, что позволяло бы ставить ее в какую-либо связь с Алексием» ⁴³. Если издатель ЧНЗ митрополит Леонтий признавал предание достоверным, указывая при этом на сходство письма духовного завещания Алексия и Чудовского завета ⁴⁴, то А. И. Соболевский не находил примет, которые доказывали бы, что духовная грамота и Новый завет написаны одной рукой ⁴⁵.

Наличие в ЧНЗ восьми почерков кладет конец спорам о принадлежности, по крайней мере, всей рукописи перу Алексия. Но это не исключает его участия в создании Чудовского кодекса. Им могла быть написана часть книги, например, незаконченный перевод трактата «О поставлении властелии». Но ни доказать, ни опровергнуть это пока нельзя.

Ранее было установлено, что русские записи в Венском манускрипте и Чудовский завет представляют одну школу письма. Греческий словарь, составленный в XII—XIII вв. в Константинополе, хранился здесь до середины XVI в. ⁴⁶. Отсюда следует, что и русские записи в греческом словаре, и ЧНЗ написаны древнерусскими книжниками в столице Византии.

Но, может быть, та и другая рукописи принадлежат перу книжников из окружения московского митрополита? Предположение, не лишено оснований. До того как стать главой Московской митрополии, Алексей в течение 12 лет находился при московском митрополите Феогносте. Будучи в близких отношениях с митрополитом греком, он имел возможность изучить греческий язык и греческую богословскую литературу. Знание Алексием греческого языка косвенно подтверждается тем, что грамота на Хопер (около 1360 г.) подписана им по-гречески ⁴⁷. Вполне допустимо предположение, что по крайней мере некоторые писцы Московского митрополичьего двора знали греческий язык. Более того, среди них могли находиться лица греческой национальности. Прежде чем получить Московскую митрополичью кафедру, Алексей в 1355 г. отправляется в Константинополь. Византийский патриарх подписал грамоту о поставлении Алексия на Московскую, Киевскую и всея Руси митрополию только «... после надлежащего, самого тщательного испытания в продолжение почти целого года» ⁴⁸.

Находясь в столице Византии, претендент на русскую митрополию мог поручить перевод Нового завета книжникам из своей свиты. Таким образом, предположение о том, что Чудовский кодекс создан переводчиками московской школы письма, имеет под собой некоторые основания. Отрицать участие Алексия в создании этого памятника также нет оснований, так как замысел нового перевода библии мог исходить только от лица, облеченного властью. В противном случае перевод был бы объявлен

⁴² А. И. С о б о л е в с к и й, Южнославянское влияние на русскую письменность.... Приложение III.

⁴³ А. И. С о б о л е в с к и й, Славяно-русская палеография, 2-е изд., СПб., 1908, стр. 37.

⁴⁴ Предисловие к фототипическому изданию ЧНЗ 1892 г., стр. 4.

⁴⁵ А. И. С о б о л е в с к и й, Южнославянское влияние на русскую письменность ..., стр. 28.

⁴⁶ В. К о р и т а г, указ. соч., стр. I—VI.

⁴⁷ Греческая подпись Алексия под названной грамотой воспроизведена в копии, снятой с оригинала в XVII в. См. рукопись Государственного исторического музея, Синод. собр., 596, л. 37.

⁴⁸ «Русская историческая библиотека», СПб., 1880, IV, Приложения, 9, стр. 45—46.

еретическим, а книга подверглась запрету или уничтожению. Ничего подобного не случилось с Чудовской рукописью. Более того, уже в конце XIV в. Чудовский кодекс послужил оригиналом, с которого был скопирован текст Апостола ⁴⁹. От конца XIV в. сохранились два русских пергаментных списка тетраевангелия, которые хотя и не являются копиями Чудовского тетраевангелия, но находятся в ближайшей связи с ним ⁵⁰. Чудовский список прежде всех других славянских списков имели в виду как руководство при исправлении Нового завета в XVII в. Епифаний Славинецкий и его помощники ⁵¹.

Однако признанию в Чудовской рукописи памятника московской школы письма препятствует то обстоятельство, что в древнерусской письменности не было традиции акцентуировать тексты вплоть до XVI в.

Записи русских глосс в греческом лексиконе свидетельствуют о том, что древнерусские книжники начали работу над переводом Нового завета с изучения греческого словаря. Один из них (первый писец ЧНЗ) сделал выборочный перевод первых 15 листов. Эта работа была прервана, по-видимому, потому, что заказчик торопил с переводом основного текста — Нового завета. Но древнегреческий словарь был под рукой у переводчиков. Об этом говорит продолжение русских записей на 275 и 278 листах греческой рукописи. Есть основания считать, что греческий словарь был собственностью русского монастыря в Константинополе. По завершении перевода словарь остался в книгохранилище обители, а рукопись Нового завета стала собственностью Алексия и была вывезена им в Москву. После смерти владельца книга оказалась в Московском Чудовом монастыре, который был основан митрополитом Алексием в 1365 г. и где он был похоронен в 1378 г. ⁵².

Как было показано ранее, русские записи в греческом манускрипте и Чудовский кодекс написаны в Константинополе. Отсюда следует, что оба памятника появились не ранее и не позднее 1355 г., потому что пребывание Алексия в столице Византии относится к данному времени.

Константинополь и Афон в середине XIV в. были своеобразным международным центром славян, где сотрудничали книжники из Болгарии, древней Руси и других славянских стран ⁵³. Отсюда рукописные книги шли во все славянские земли, в том числе и на Московскую Русь ⁵⁴.

Создание первых русских акцентуированных памятников в Константинополе нельзя считать случайным фактом. Необходимость обозначения акцента особенно остро ощущалась древнерусскими книжниками, постоянно живущими в иноязычном окружении. В этом, на наш взгляд, заключается ответ на вопрос, почему разработка системы знаков ударения для русского письма впервые была осуществлена в столице Византии, где издавна существовали школы русского письма, поддерживавшие тесные связи со славянским миром и хорошо осведомленные с правилами акцентуации текста в греческой письменности.

⁴⁹ Г. Воскресенский, Погодинский апостол № 27 и Чудовская, усвояемая св. Алексием, рукопись нового завета.

⁵⁰ Г. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода евангелия ..., стр. 55—56.

⁵¹ Предисловие к фототипическому изданию ЧНЗ 1892 г., стр. 6.

⁵² «Московский кафедральный Чудов монастырь», М., 1896.

⁵³ И. Дуйчев, Центры византийско-славянского общения и сотрудничества, стр. 114.

⁵⁴ Г. И. Вздорнов, Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV—XV вв., в кн.: «Литературные связи древних славян», Л., 1968.

Русских памятников XIV в. с систематической расстановкой знаков ударения, кроме описанных, пока не выявлено. Это говорит о том, что разработанная в Константинополе система акцентных знаков для русского письма не сразу прижилась в древней Руси. Примечательно, что даже в памятниках, списанных в конце XIV в. с Чудовского завета, наблюдаются только спорадические случаи обозначения акцента преимущественно в словах иноязычного происхождения ⁵⁵.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список акцентуированных русских глосс в манускрипте № 171 из собрания греческих рукописей Венской национальной библиотеки

Лист I об.: *λόβαι*; л. 2: *ὀκραίνεγσα*; л. 4 об.: *непорочен*; л. 9: *ὠβέρженз* *несторожайко*; л. 9 об.: *грамю* или *скарѣно*, *падатъ къ свѣтостъ*, л. 10: *ἀδράστοκα* *дщй обѣано чѣластй страда*. *повѣдана вѣтшана* *изнужена нехотѣхшю вѣтрз*; л. 10 об.: *ворзеногъ безнадѣженъ точѣца взрастаѣе везранити везранѣаи мѣникъ заутрита вѣзмѣнцю на взысгѣ нозѣ нонѣ* (*презене*, 1-е лицо ед. число), *снѣили* (*презене*, 2-е лицо ед. числа); л. 11: *повѣдай* *вѣвѣсти* *гѣи* *всегда* *сѣ* *нѣакѣнъ* *поузырки* *кодѣнзѣ* *безвѣпѣтнѣ* *нѣже ѣста хитрѣ* *всѣобранѣо*; л. 11 об.: *безвѣпѣтнѣ* *начѣаемо* *всегда* *неси* (*императив*), *говѣи* или *сѣдѣнѣа*. *чѣи досадитѣи* *негодосѣти* *вѣскѣнѣи* *чѣсти* (*краткое прилаг.*); л. 12: *нѣгори* *нѣо* *вѣскѣнѣо* ⁶⁰ *не вѣнѣтѣа* *нѣчѣастѣуѣи* *уѣнѣа*. или *драхѣд* *кѣчѣаи* *нѣнѣа* *сѣлови* *печѣлѣнѣхъ* *дѣхѣнѣи* *несѣа* *вѣтрз* *безѣмѣаи* *пшенично* *нѣчѣо* *карнѣо* *ѣже арѣнѣа* *зѣкутѣ* *ѣпѣнѣо* или *извѣстѣо* *вѣспрѣаи* или *сѣидѣи* *вѣзѣвѣнѣнѣа*; л. 12 об.: *вѣзѣкѣнѣовѣти.*, *пожѣи* или *помѣаи* *вѣспѣчѣа*; *вѣзѣкѣнѣ* л. 275 об.: *присѣнѣице* *пѣчѣнѣа*; л. 278 об.: *не понѣдѣиши* *не сконѣаиши* *не сѣкѣнѣа* *нѣуказѣнѣо* *народѣстѣуѣи* *нѣакнѣ* *нѣвѣзрѣмѣни* (примеры с листа 278 об. даны по брошюре Б. Копитара «Hesychii glossographi»).

⁵⁵ См. рукописи апостола № 27 из собрания Н. П. Погодина Государственной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и евангелия Никона Радонежского из собрания Троице-Сергиевой лавры № 6 Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ТЕОРИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Светлой памяти академика В. В. Виноградова

О закономерностях семантических связей между языковыми единицами и о системном характере лексики писали уже в конце XIX — начале XX в. (например, А. А. Потебня, М. М. Покровский, Р. Мейер, Г. Шпербер, Г. Ипсен и др.)¹. Особенно важные мысли были высказаны в статье Р. Мейера «Семантические системы», получившей позднее высокую оценку Г. Кронассера².

Р. Мейер выделяет три типа семантических полей: 1) естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и под.), 2) искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов и под.) и 3) полусинтетические (терминология охотников или рыбаков, этические понятия и под.). Семантический класс (Bedeutungssystem) он определяет как «упорядоченность (Zusammenordnung) определенного числа выражений с той или иной точки зрения»³, т. е. с точки зрения какого-либо одного семантического признака, который автор называет дифференцирующим фактором⁴. Дифференцирующие факторы, по мнению Р. Мейера, имеют не логический, а языковой характер и поэтому должны извлекаться из самого языка⁵. Такими факто-

рами являются, например, значение целенаправленности, присущее глаголу *ersteigen* и отсутствующее у глагола *steigen*, значение равномерной повторяемости, присущее глаголам *schwimmen*, *marschieren* и отсутствующее у глагола *gehen*, значение длительности у глагола *laufen* и другие значения способов действия, а также значения типа «быстро» (*schnauben* «быстро дышать»), «неровно» (*schnarchen* «неровно дышать»), «по воздуху» (*fliegen* «передвигаться по воздуху, летать»), «по воде» (*schwimmen* «передвигаться по воде, плавать»), «по направлению снизу вверх» (*steigen* «двигаться снизу вверх, подниматься») и т. д. В значениях глаголов движения, как правильно указывает Р. Мейер, входит обычно целый ряд таких смысловых компонентов (= «дифференцирующих факторов»). Например, глагол *sinken* «опускаться» включает компоненты «по направлению сверху вниз», «медленно» и «равномерно», глагол *fallen* «падать» — компоненты «по направлению сверху вниз», «быстро» и «равномерно», глагол *stürzen* «броситься, устремиться» — компоненты «по направлению сверху вниз», «быстро» и «неравномерно», и т. д.⁶. Поскольку в одном слове часто содержится несколько «дифференцирующих факторов» (компонентов значения) и поскольку, следовательно, такие слова принадлежат одновременно к разным системам (семантическим классам), эти системы могут пересекаться друг с другом. Задача семасиологии, по мнению Р. Мейера⁷, и состоит именно в том, чтобы, во-первых, «установить принадлежность каждого слова к той или иной системе (или системам) и чтобы, во-вторых, выявить системообразующий, дифференцирующий фактор

¹ См.: В. В. Виноградов, Из истории лексикологии, (Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», 10, 1956, стр. 3—16; А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы, М., 1962, стр. 59—64; А. И. Кузнецова, Понятие семантической системы языка и методы ее исследования, М., 1963, стр. 7—10.

² Н. Kronasser, Handbuch der Semasiologie, Heidelberg, 1952, §§ 97—98.

³ R. N. Meyer, Bedeutungssysteme, KZ, 43, 4, 1910, стр. 359.

⁴ Там же, стр. 358.

⁵ Там же, стр. 360: «... sie bedeuten nicht logische Prinzipien, sondern orientierende Oberbegriffe».

⁶ Там же, стр. 360—363.

⁷ Там же, стр. 359.

этой системы». В современной семантике такой анализ называется, как известно, компонентным.

Высказывания ученых XIX — первой четверти XX вв. о системном характере словаря имели глубокий смысл и стимулировали тем самым дальнейшие исследования в этой области, но они не представляли собой цельной теории. Поэтому основоположником такой теории по праву считается известный немецкий ученый И. Трир, который в ряде своих трудов⁸ разработал не только новые принципы системного анализа лексики, но и применил их в исследовании обширного фактического материала⁹.

Теория Трира тесно связана прежде всего с учением В. Гумбольдта о внутренней форме языка. «Нет сомнения в том, — пишет он, — что идеи о членении языка на поля войдут в будущие теории внутренней формы в качестве их важнейшей составной части. Исследовать членение поля значит... исследовать кусочек внутренней формы»¹⁰. Вместе с тем она описывается также на мысли Ф. де Соссюра о языковых значимостях¹¹.

Вслед за своими учителями, Гумбольдтом и Соссюром, Трир исходит из понимания синхронного состояния языка (*la langue*) как замкнутой стабильной системы¹², определяющей сущность всех составных ее частей. «В системе (*Gefüge*), — неустанно повторяет он, — все получается только из целого. Значит, слова того или иного языка не являются обособленными носителями смысла, каждое из них, напротив, имеет смысл только потому, что его имеют также дру-

гие, смежные с ним слова»¹³. Например, слово *weise* «означало бы в современном языке нечто совсем иное, если бы рядом с ним не стояли *klug, geschickt, gerissen, schlau, gewitzt* и многие другие»¹⁴. И это не голословное утверждение. Трир подкрепляет его фактами из истории немецкого языка.

Глобальная система языка иерархически расчленяется, по Триру, на два параллельных друг другу типа полей: 1) понятийные поля (*Begriffsfelder, Sinnbezirke*) и 2) словесные поля (*Wortfelder*). Каждое из полей подразделяется в свою очередь на элементарные единицы — понятия или слова, при этом составные компоненты словесного (знакового) поля, подобно камешкам мозаики, полностью покрывают сферу соответствующего понятийного поля¹⁵. Таким образом, как справедливо отмечает А. И. Кузнецова, Трир предполагает полный параллелизм (изоморфизм) между понятийным и словесным полями, т. е. между планами содержания и выражения, а значение он фактически отождествляет с понятием¹⁶. Следовательно, языковые поля (*sprachliche Felder*) Трира — это минимальные самостоятельные единицы языка, представляющие собой относительно замкнутые двусторонние единства понятийных и словесных полей (= структурно цельные по смыслу группы слов). Они занимают промежуточное положение между языковой системой в целом и ее минимальными несамостоятельными единицами (словами и формами слов), т. е. такими единицами, значения которых определяются структурой поля¹⁷. Как части целого языковые поля конституируют лексико-семантическую систему, а как целое они интегрируют составляющие их компоненты (слова и их формы). Признание абсолютного параллелизма между семантической системой языка, структура которой выражается внутренним членением словесных полей, и системой понятий (resp. между значением и понятием) обусловило главную ошибку не только Трира, но и всех неогумбольдтианцев. Речь идет о положении, согласно которому внутренняя форма языка (= семантическая его структура, *Zwischenwelt* Л. Вейсрера-

⁸ См., например, следующие его работы: J. Trier, *Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes*, 1, Heidelberg, 1931; его же, *Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Entfaltung*, «Zeitschrift für Deutsche Kunde», 46, 9, 1932; его же, *Sprachliche Felder*, «Zeitschrift für deutsche Bildung», 8, 9, 1932; его же, *Das sprachliche Feld*, «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung», 10, 1934.

⁹ Отдавая дань историческому языкознанию, еще господствовавшему в то время в Германии, И. Трир взял в качестве материала для своего капитального исследования не современный ему немецкий язык, а памятники древне- и средневерхненемецкого языка. Уже это обусловило, как отмечали критики И. Трира, многие его неудачи.

¹⁰ J. Trier, *Der deutsche Wortschatz...*, стр. 20. Ср. также заявление Трира о близости его взглядов к взглядам главы неогумбольдтианцев Л. Вейсрера (там же, стр. 11).

¹¹ См. там же, стр. 11.

¹² См. там же, стр. 10—11.

¹³ J. Trier, *Sprachliche Felder*, стр. 417. Ср. также: его же, *Der deutsche Wortschatz...*, стр. 1, 3, 5—6; его же, *Das sprachliche Feld*, стр. 430.

¹⁴ J. Trier, *Der deutsche Wortschatz...*, стр. 8.

¹⁵ Там же, стр. 1—2.

¹⁶ А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 12—13.

¹⁷ J. Trier, *Sprachliche Felder*, стр. 418; его же, *Das sprachliche Feld*, стр. 430.

бера) обуславливает миропонимание его носителей¹⁸.

Теория поля, разработанная Триром, вызвала широкую дискуссию как внутри Германии, так и за ее пределами¹⁹. Эта дискуссия продолжается, по существу, и до сих пор. Трира критиковали за многое. Указывалось, в частности: 1) на идеалистическое понимание им соотношения языка, мышления и реальной действительности, граничащее нередко с мистикой²⁰; 2) на метафизический логицизм, т. е. на то, что выделяемые им поля имеют чисто логический, умозрительный, а не языковой характер²¹; 3) на то, что вопреки реальным языковым фактам Трир считает поле закрытой группой слов, единым («непрерывным») целым со строго очерченными внешними и внутренними границами, с непере-

кающимися контурами конституирующих его значений, плотно (*lückenlos*) пригнанных друг к другу, подобно мозаике²²; 4) на то, что он допускал полный параллелизм между словесными (знаковыми) и понятийными (концептуальными) полями, взаимно членищими друг друга²³; 5) на семантический релятивизм, т. е. на то, что он полностью отвергал значение слова как самостоятельную единицу²⁴; 6) на то, что Трир фактически игнорировал полисемию и конкретные связи слов²⁵; 7) на его пренебрежительное отношение к фактам живого языка (дело в том, что и Трир, и его ученики опирались в своих исследованиях только на древние памятники немецкого, французского и английского языков)²⁶; 8) на то, что он, равно как и многие его ученики, изучал только имена (главным образом, существительные и прилагательные), оставляя без внимания глаголы и устойчивые сочета-

¹⁸ См.: С. Д. Кацнельсон, Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965, стр. 87—103.

¹⁹ Наиболее полно и точно теория И. Трира и вызванная ею дискуссия разбираются в следующих работах: А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 20—44; А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 10—19; K. Reuning, *Joy and Freude*. A comparative study of the linguistic field of pleasurable emotions in English and German, Swarthmore, 1941, стр. 1—33; F. Scheidweiler, *Die Wortfeldtheorie*, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», 79, 3/4, 1942; S. Ohman, *Theories of the «linguistic fields»*, *Word*, 9, 2, 1953; K. Gabka, *Theorien zur Darstellung eines Worteschatzes. Mit einer Kritik der Wortfeldtheorie*, Halle (Saale), 1967. Обзоры работ по семантическим полям, содержащиеся в книгах А. А. Уфимцевой и А. И. Кузнецовой, являются, по мнению У. Вайнрайха, лучшими в мировой лингвистической литературе (см.: U. Weinreich, *Explorations in semantic theory*, «Current trends in linguistics», 3, The Hague — Paris, 1966, стр. 468).

²⁰ Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, «Эзиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов», София, 1957, стр. 524—525; F. Dornseiff, *Das Problem des Bedeutungs-wandel*, *ZdPh*, 63, 1938, стр. 131; F. Scheidweiler, указ. соч., стр. 265; K. Gabka, указ. соч., стр. 18.

²¹ А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 33; W. Porzig, *Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 58, 1—2, 1934, стр. 71—72; F. Dornseiff, указ. соч., стр. 126, 130—131; F. Scheidweiler, указ. соч., стр. 249; S. Ohman, указ. соч., стр. 128; M. Konradt-Hicking, *Wortfeld oder Bedeutungsfeld (Sinnfeld)?*, *KZ*, 73, 3—4, 1956, стр. 228.

²² А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 38; A. Jolles, *Antike Bedeutungsfelder*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 58, 1—2, 1934, стр. 105; W. Porzig, указ. соч., стр. 71—72; K. Reuning, указ. соч., стр. 21—22; F. Scheidweiler, указ. соч., стр. 249; St. Ullmann, *The principles of semantics*, Oxford, 1963, стр. 158—159; W. Betz, *Zur Überprüfung des Feldbegriffes*, *KZ*, 71, 3/4, 1954, стр. 191, 196—197; P. Guiraud, *La sémantique*, Paris, 1964, стр. 80; K. Gabka, указ. соч., стр. 19—22. В. Бетц и К. Габка провели ряд экспериментов, которые убедительно показали, что никаких полей как замкнутых понятийных сфер, заполненных словами без пробелов, не существует в естественном языке (W. Betz, указ. соч., стр. 192—198; K. Gabka, указ. соч., стр. 45—51).

²³ А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 36; А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 15.

²⁴ Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 525; Р. А. Будагов, К критике релятивистических теорий слова, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 9—10; А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 37; А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 14; W. Betz, указ. соч., стр. 190—191; K. Gabka, указ. соч., стр. 12, 19—22.

²⁵ А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 36—37; K. Reuning, указ. соч., стр. 29; W. Betz, указ. соч., стр. 190; G. Müller, *Wortfeld und Sprachfeld*, «Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sein. Festschrift für Ernst Otto», Berlin, 1957, стр. 155—163.

²⁶ K. Reuning, указ. соч., стр. 26; St. Ullmann, указ. соч., стр. 159; W. Betz, указ. соч., стр. 190.

ния слов²⁷; 9) на то, что свою структурную по идее гипотезу он пытался проверить старыми, неструктурными методами²⁸; 10) на неудачные образы (мозаика, пальто, покрывало и под.), используемые им при характеристике полей²⁹. Все эти критические замечания нельзя не признать справедливыми. И тем не менее труды Трира явились важным этапом в развитии структурной семантики³⁰. Они стимулировали многочисленные исследования в этой области: и подражательные, и оригинальные³¹. И те и другие не были бесполезными. Труды слепых подражателей Трира сыграли положительную роль в том смысле, что, не дав сколько-нибудь плодотворных результатов, они тем самым подтвердили несостоятельность трировской гипотезы, невозможность ее практического применения. Еще более полезными оказались исследования тех ученых, которые, стремясь преодолеть ошибки Трира, искали новые пути изучения лексико-семантической системы. В процессе этих поисков, несмотря на разнообразие точек зрения по частным вопросам, намечилось два основных пути в разработке семантических полей. Одни ученые (Л. Вейсгербер, К. Ройнинг и др.) изучали парадигматические отношения между лексическими единицами языка, т. е. парадигматические поля (к ним мож-

но отнести и поля Трира), другие (например, В. Порциг) — синтагматические отношения, т. е. синтагматические поля. Были и такие ученые, которые изучали классы слов, связанных и парадигматическими, и синтагматическими отношениями, т. е. комбинированные (или комплексные) поля³².

А. Парадигматические поля. К парадигматическим полям относятся самые разнообразные классы лексических единиц, тождественных по тем или иным смысловым признакам (семам или семантическим множителям)³³: лексико-семантические группы слов (ЛСГ), синонимы, антонимы, совокупности связанных друг с другом значений полисемантического слова (семантемы), словообразовательные парадигмы, части речи и их грамматические категории³⁴.

1. ЛСГ. Как ЛСГ трактуют языковые поля (хотя не все их так называют) Л. Вейсгербер, Г. Ипсен, К. Ройнинг, Э. Оксар, С. Эман, О. Духачек, Ф. П. Филин, А. А. Уфимцева, С. Д. Кацнельсон, В. И. Кодухов и многие другие³⁵.

³² Общим для всех этих ученых было стремление преодолеть логический априоризм и выделить такие семантические поля, которые характеризуются чисто языковыми признаками.

³³ Ср. аналогичное мнение П. С. Кузнецова: «Под описанием языка как системы я понимаю описание его как совокупности классов некоторых однородных (характеризующихся общими признаками) внутри одного класса элементов в некоторый момент времени, и никаких других свойств приписав понятие системы языка не считаю возможным» (П. С. Кузнецов, О языке и речи, «Вестник МГУ», Серия VII. Филология и журналистика, 1961, 4, стр. 60).

³⁴ Если выйти за пределы лексики (отдельных слов, словоформ и устойчивых словосочетаний), то можно говорить также о синтаксических парадигмах (синтаксических полях). См., например: Г. А. Золотова, Синтаксические поле предложений, «Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса. Материалы научной конференции», Рига, 1970.

³⁵ См.: L. Weisgerber, Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik, Düsseldorf, 1962; G. Ipsen, Der neue Sprachbegriff, «Zeitschrift für Deutschkunde», 46, 1, 1932; K. Reuning, указ. соч.; E. Oksar, Semantische Studien im Sinnbereich der Schnelligkeit, Uppsala, 1958; S. Ohman, указ. соч.; O. Duchacek, Le champ conceptuel de la beauté en français moderne, Praha, 1960; Ф. П. Филин, указ. соч.; А. А. Уфимцева, указ. соч.; С. Д. Кацнельсон, указ. соч.; В. И. Кодухов, Лексико-семантические группы слов, Л., 1955.

²⁷ K. Reuning, указ. соч., стр. 29, W. Betz, указ. соч., стр. 191.

²⁸ Ю. Д. Апресян, Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», 5, М., 1962, стр. 53.

²⁹ K. Reuning, указ. соч., стр. 21.

³⁰ Ср. высокую оценку заслуг Трира перед структурной семантикой С. Эман (указ. соч., стр. 126) и Ст. Ульманом (указ. соч., стр. 159—160). Впрочем есть и другие мнения. Например, Г. Кронасер считает, что, по сравнению с Р. Мейером, ни Г. Ипсен, ни А. Йоллес, ни Й. Трир не внесли в семантику ничего принципиально нового (указ. соч., стр. 135—136). Ср. также: «Й. Трир не только не создал особого структурального метода анализа смысловой стороны языка по „понятийным полям“, он, наоборот, показал, что такового создать невозможно, исходя лишь из чисто логического анализа понятийной стороны языка» (А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 44).

³¹ Подражательный характер имели в первую очередь работы (преимущественно о поле интеллекта), написанные учениками Трира: Г. Фишером, Г. Хюнгеном, Т. Шнейдером, Г. Бехтольдтом, М. Трелле и др. См. о них в указанных работах А. И. Кузнецовой (стр. 19—22), Ст. Ульмана (стр. 156—160) и К. Ройнинга (стр. 14), а также в указанной статье Ф. Шейдвейлера (стр. 268—272).

Наиболее глубоко теория ЛСГ разработана в исследованиях Л. Вейсгербера, Ф. П. Филина и С. Д. Кацнельсона.

Концепция словесных полей (Wortfelder) Л. Вейсгербера по своим теоретическим установкам очень близка к концепции Трира. Как и Трир, он считает значение слова не самостоятельной единицей, не автономной (хотя бы относительно) составной частью поля, а его чисто реляционным структурным компонентом. «Словесное поле живет как целое (als Ganzes), — пишет он, — поэтому, чтобы понять значение отдельного его компонента, надо представить все поле и найти в его структуре место этого компонента»³⁶. Некоторые значения поля, по мнению Л. Вейсгербера, не имеют даже соответствий в самой реальной действительности. Так, например, для слова *grau* «серый» в ряду *weiss — grau — schwarz* нет прямого коррелята в спектре цветов, оно обозначает переходные от белого к черному тона; поэтому слова *weiss* «белый», *grau* «серый» и *schwarz* «черный» семантически ограничивают друг друга³⁷. В действительности нет также делений типа *сорняки — злаки — овощи — фрукты — плоды* и под., они существуют лишь в языке и обусловлены ролью этих реалий в жизни людей. На взгляд Вейсгербера, все это свидетельствует о том, что семантическое членение языковой системы определяется не реальными отношениями в объективной действительности, а теми принципами (ср. дифференцирующие факторы Р. Мейера), которые заложены в самом языке, в его семантической структуре (= Zwischenwelt), отождествляемой автором с системой понятий³⁸. Каждый народ имеет свои принципы членения внешнего мира, свой взгляд на окружающую его действительность, вследствие чего семантические системы (resp. системы понятий) разных языков, равно как и конституирующие их поля, не совпадают. Поэтому, в отличие от Трира, Л. Вейсгербер считает необходимым «извлекать принципы, лежащие в основе членения словарного состава на поля, из самого

языка»³⁹. Другого пути выделения семантических полей (Вейсгербер предпочитает пользоваться терминами Wortfeld и Sprachfeld), по его мнению, нет.

Языковые поля, т. е. лексико-семантические группы, Вейсгербер ограничивает от тематических, предметных групп (Sachgruppen), выделяемых, например, Ф. Дорнзейфом⁴⁰, хотя, впрочем, он указывает также на трудность их разграничения. Первые, по его словам, соотносятся с семантической системой языка (Zwischenwelt'ом), а последние — с внешним миром (Aussenwelt'ом)⁴¹. Языковые (словесные) поля он подразделяет в свою очередь на однослойные (einschichtige) и многослойные (mehrschichtige Felder)⁴². Членение однослойных (одномерных) полей обусловлено какой-то одной точкой зрения, т. е. опирается на какой-то один признак, один аспект. Примером такого членения могут быть ряды чисел, термины родства и под. Членение же многослойных (многомерных) полей опирается на различные точки зрения. В качестве примера таких полей Вейсгербер приводит группу глаголов с опорным (ядерным) значением «умирать, лишаться жизни»⁴³.

Теория полей Вейсгербера, как, впрочем, и вся его языковая концепция, получила в научной литературе весьма противоречивую оценку. Одни ученые считают ее глубокой, ясной и практически полезной⁴⁴, другие, напротив, — в высшей степени отвлеченной и абсолютно непригодной для исследования словарного состава языка⁴⁵. Наиболее справедливой нам представляется оценка С. Д. Кацнельсона: «Сознательная установка на изучение конкретного содержания языковых единиц в их функциональной свя-

³⁹ L. Weisgerber, указ. соч., стр. 195.

⁴⁰ F. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 6-te Aufl., Berlin, 1965.

⁴¹ L. Weisgerber, указ. соч., стр. 198.

⁴² Там же, стр. 117—192. См. также: А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 30—37.

⁴³ См. диаграмму этого поля на стр. 187 цитируемой книги. Ср. также: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 97—98. В названной книге Вейсгербера можно найти много интересных наблюдений и над другими ЛСГ, например глаголами восприятия, глаголами побуждения и т. д.

⁴⁴ K. Reuning, указ. соч., стр. 10; St. Ullmann, указ. соч., стр. 160—164.

⁴⁵ А. А. Уфимцева, Теории «семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 99, примеч. 42.

³⁶ L. Weisgerber, указ. соч., стр. 185.

³⁷ Там же, стр. 170

³⁸ Идеалистическая сущность учения Л. Вейсгербера о промежуточном мире (Zwischenwelt) хорошо показана в следующих работах: Л. С. Ермолаева, Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании, сб. «Проблемы общего и частного языкознания», М., 1960, стр. 47—85; М. М. Гухман, Лингвистическая теория Л. Вейсгербера, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 123—162; С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 87—103.

зи и взаимодействии не могли не сказаться на результатах исследования Вейсгербера, избыливающего ценными и тонкими наблюдениями. Нельзя, однако, пройти мимо того факта, что конкретные результаты этих работ находятся в явном противоречии с предвзятыми теоретическими положениями, которыми руководствовался исследователь»⁴⁶.

Ф. П. Филин пользуется для обозначения словесных семантических полей термином «лексико-семантические группы». Под ЛСГ он понимает «лексические объединения с однородными, сопоставимыми значениями», представляющие собой «специфическое явление языка, обусловленное ходом его исторического развития»⁴⁷. К ним относятся, по его мнению, синонимы, антонимы и другие группы слов, связанных общностью каких-либо семантических отношений, например такие группы, как *день — ночь, горький — кислый — сладкий, вкусный — безвкусный — невкусный — аппетитный — неаппетитный — лакомый, сытный — питательный — голодный, колотить — ударять, битья — сражение — бой и под.* Частной разновидностью ЛСГ являются и родо-видовые группы. От ЛСГ Ф. П. Филин отграничивает словопроизводные («гнездовые») объединения слов, грамматические классы комплексы значений многозначных слов и тематические группы (например, названия частей человеческого тела, термины скотоводства и под.). Последние, по мнению автора, обычно перекрещиваются и даже иногда полностью совпадают с ЛСГ⁴⁸.

Ясная постановка вопроса о ЛСГ в рассмотренной статье Ф. П. Филина получила одобрение и признание со стороны многих лингвистов⁴⁹. Вместе с тем она явилась теоретическим фундаментом целого ряда практических исследований по лексико-семантическим группам.

Несколько иной подход к ЛСГ (понятиям полям, по терминологии автора) мы находим в книге С. Д. Кацнельсона «Содержание слова, значение и обозначение». Не отрицая важности исследования других отношений в языке (например, синонимических, метафорических, метонимических и т. д.), он считает необ-

ходимым также изучение структуры понятийных полей. Под понятийным полем автор понимает «противоположенные повятий, ищущее выражение в языке»⁵⁰. По характеру своей структуры понятийные поля Кацнельсона подразделяются на бинарные и полярные. «В случае бинарного понятийного поля речь идет о соотношении двух дополнительных множеств А и В, в совокупности образующих надмножество С»⁵¹, например: *день — ночь — сутки* (1), *женит — невеста — жених и невеста* (2), *лев — львица — левы* (3а), *кот — кошка — кошки* (3б). Напротив, в полярных полях «противостоящие одно другому множества А и В не полностью исключают друг друга; между ними лежит более или менее обширная полоса постепенных переходов»⁵². Классическим примером таких полей С. Д. Кацнельсон считает группу слов со значением цвета (ср. также оценочные слова типа *хорошо, плохо и под.*).

Целесообразность изучения выделяемых С. Д. Кацнельсоном понятийных полей, являющихся, по существу, тоже частными разновидностями ЛСГ, не подлежит никакому сомнению.

На наш взгляд, термином ЛСГ можно обозначать любой семантический класс слов (лексем), объединенных хотя бы одной общей лексической парадигматической семей (или хотя бы одним общим семантическим множителем). К тематическим же группам следует относить лишь такие классы слов, которые объединяются одной и той же типовой ситуацией или одной темой (ср. такие темы, как «транспорт», «спорт», «магазины», «театр» и под.), но общая идентифицирующая (ядерная) тема для них не обязательна.

2. Синонимы и антонимы. Работа по изучению ЛСГ тесно связана с изучением синонимов и антонимов, являющихся тоже разновидностями семантических полей, в частности ЛСГ. Впервые синонимы и антонимы начал рассматривать как семантические поля А. Йоллес⁵³. Впрочем наряду с ними он относит к своим полям (Йоллес предпочитает термин «смысловая группа») также семантические структуры (Bedeutungsgefüge) типа *пáтер — vís* «отец — сын»⁵⁴. Ф. П. Филин, как мы знаем, тоже считает синонимы и антонимы разновидностями ЛСГ⁵⁵.

⁵⁰ С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 77.

⁵¹ Там же, стр. 77 (примеры на стр. 77—78).

⁵² Там же, стр. 77.

⁵³ A. Jolles, указ. соч.

⁵⁴ Там же, стр. 106—108.

⁵⁵ Ср. также: А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 43—44; Л. М. Васильев, Синонимические группы и семанти-

⁴⁶ С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 95.

⁴⁷ Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 537—538 и 529.

⁴⁸ В качестве примера ЛСГ, совпадающей с тематической группой, приводятся следующий ряд слов: *город, пригород, предместье, селение, поселение, поселок, село, сельцо, слобода, посад, станция, деревня, хутор, выселок, починок* (там же, стр. 528).

⁴⁹ См., например: J. Filipěs, *Ceská synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie*, Praha, 1961, стр. 40, 43, 226.

Единого понимания синонимов до сих пор не выработано⁵⁶. Синонимами считают нередко и словоформы, тождественные по одной лексической или даже по одной грамматической семе (наиболее широкое понимание синонимии), и словоформы, тождественные по всем лексическим и грамматическим семам (наиболее узкое понимание синонимии). Между этими двумя полярными случаями очень сложная шкала степеней синонимичности (идентичности) тех или иных лексических единиц. Однако из чисто практических соображений под лексическими синонимами целесообразнее все же понимать семантические классы слов (словоформ), тождественных по всем лексическим и грамматическим семам, свойственным доминанте данного класса. Иными словами, все семы (или семантические множители) словоформ-доминанты должны повторяться как инвариант в значениях абсолютно всех членов синонимической группы. Следовательно, объем и структура синонимической группы как семантического поля обуславливаются тем, какую словоформу-семему мы берем в качестве идентификатора (ядра, доминанты)⁵⁷.

Понятие антонима тоже имеет относительный характер. Подлинные антонимы — это не что иное, как семантические классы слов (словоформ), члены которых связаны антонимическими эквивалентными оппозициями⁵⁸, например: *мчатся* «перемещаться очень быстро», *стремительно* — *тащится* «перемещаться очень медленно, с трудом». Таким образом, одни и те же слова могут быть одновременно и синонимами, и антонимами.

ческие поля, «Вопросы общего и романогерманского языкознания. Тезисы докладов», 1, Уфа, 1965; Э. И. Родичева. О семантических полях антонимов, «Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов лингвистической конференции», Новосибирск, 1967.

⁵⁶ См.: А. П. Евгеньева, Основные вопросы лексической синонимии, в кн.: «Очерки по синонимике современного русского литературного языка», М. — Л., 1966 (в этой же книге опубликована наиболее полная библиография отечественных работ по синонимике, составленная С. Ф. Геккер).

⁵⁷ См.: Л. М. Васильев, Идентификация и дифференциация лексических синонимов, сб. «Вопросы теории и методики русского языка», Ульяновск, 1969.

⁵⁸ См.: Л. М. Васильев, Типы семантических оппозиций в глагольной лексике, «Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов лингвистической конференции», вып. 2, ч. 1, Новосибирск, 1969, стр. 54.

3. Семантемы. Так мы называли условно совокупности (комплексы) связанных друг с другом значений полисемантического слова, т. е. глобальное содержание лексемы (словоформы). Поскольку семемы, составляющие семантему, имеют обычно общие признаки (семы или семантические множители), их можно рассматривать тоже как семантические поля. Именно так и поступил А. Рудскогер, выделяя наряду с «понятийными полями» (resp. значениями) многозначного слова его «понятийные сферы», т. е. совокупности (классы) его близких друг к другу значений⁵⁹.

4. Словообразовательные парадигмы. В историко-этимологическом плане словообразовательные («морфо-семантические, по его терминологии) поля впервые были исследованы П. Гиро⁶⁰, в синхронном — М. Конрадт-Хикинг⁶¹. Морфо-семантическое поле Гиро — это «комплекс отношений форм и смыслов, образуемых совокупностью слов»⁶², а словесное поле Конрадт-Хикинг — класс сложных слов, характерных семантической и звуковой общностью отдельных их компонентов (например, *Eulennest* «совиное гнездо», *Eulenaugen* «совиные глаза» и под.). О синхронном аспекте словообразовательных полей пишут также О. Г. Ревзина и Г. С. Зенков⁶³.

О парадигматических словообразовательных полях допустимо говорить, видимо, только по отношению к одной части речи. В качестве примера таких полей можно назвать существительные со значением действия или состояния, существительные со значением лица и под. (см. подробный их анализ в указанной книге О. Г. Ревзиной). Что же касается

⁵⁹ A. Rudskoger, *Fair, foul, nice, proper. A contribution to the study of polysemy*, Göteborg, 1952, стр. 12—13. Ср.: А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 53—55.

⁶⁰ P. Guiraud, *La sémantique*, Paris, 1964, стр. 89—93. Ср.: О. Н. Трубачев, К вопросу о реконструкции различных систем лексики, «Лексикографический сборник», 6, М., 1963; А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы, стр. 57—58.

⁶¹ M. Konradt-Hicking, указ. соч., стр. 222—234 (см. также: А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 25—26). Ср.: L. Weisgerber, указ. соч., стр. 214—243; М. Д. Степанова, «Словообразование, ориентированное на содержание» и некоторые вопросы анализа лексики. ВЯ, 1966, 6.

⁶² P. Guiraud, указ. соч., стр. 89.

⁶³ О. Г. Ревзина, Структура словообразовательных полей в славянских языках, М. 1969; Г. С. Зенков, Вопросы теории словообразования, Фрунзе, 1969, стр. 144—149.

синтаксического словообразования (А. И. Смирницкий называл его конверсией)⁶⁴, то связанные с ним семантические поля имеют не парадигматический, а синтагматический характер.

5. Части речи и их грамматические категории. Части речи — это тоже парадигматические поля, т. е. семанτικο-грамматические классы слов⁶⁵, тождественных по синтагматическим семам предметности, атрибутивности, предикативности и под. Поскольку в основе тождества этих классов лежат синтагматические семы и соответствующие им синтаксические позиции, их по праву называют также синтаксическими классами⁶⁶. Как наиболее общие семанτικο-синтаксические классы слов части речи имеют двойное внутреннее членение: с одной стороны, они подразделяются на такие подклассы слов («грамматико-лексические поля»⁶⁷), как одушевленные и неодушевленные существительные, качественные и относительные прилагательные, глаголы действия и состояния и под., с другой — на классы словоформ (специфические для каждой части речи грамматические поля⁶⁸), объединенных инвариантными грамматическими значениями (категориями) падежа, числа, лица, времени, наклонения и под. Известно, что одно и то же значение («понятийная категория»⁶⁹) может выражаться в одном и том же языке, не говоря уже о разных языках, и лексическими, и грамматическими средствами. В таких случаях мы имеем дело с понятийными (функционально-семантическими) полями⁷⁰. От семантических (по способам

выражения — лексических, грамматических и лексико-грамматических) классов слов и словоформ следует отличать формально-грамматические классы, например, прилагательные и наречия или предлоги и союзы в их противопоставлении друг другу, типы склонения у существительных, типы спряжения у глаголов и под. Последние выделяются не по смысловым, а по чисто формальным признакам слов⁷¹.

Б. Синтагматические поля. Классы слов, тесно связанных друг с другом по употреблению, но никогда не встречающихся в одной синтаксической позиции, можно назвать синтагматическими семантическими полями. Первым такие поля начал изучать В. Порциг⁷². В частности, он обратил внимание на семантически обусловленные соотношения слов типа *wiehern* — *Pferd*, *bellen* — *Hund*, *blühen* — *Pflanze*, *vorsetzen* — *Speise*, *gehen* — *Füsse*, *fahren* — *Wagen*, *sehen* — *Auge*, *hören* — *Ohr*, *blond* — *Haar*, *taub* — *Gehör* и под., объединяющие в своем составе глагол и существительное со значением субъекта действия (агенса), глагол и существительное со значением объекта действия, глагол и существительное со значением средства (орудия, инструмента) или органа, прилагательное и существительное и т. д.⁷³. Дальнейшее развитие эта теория поля получила в названной выше статье Г. Мюллера «Словесное поле и языковое поле». Под словесным полем (Wortfeld) автор этой работы понимает «понятийное поле», а под «языковым полем» (Sprachfeld) — «синтаксическое поле», т. е. ряд слов (словоформ), объединенных каким-либо синтаксическим значением (значением синтаксического отношения)⁷⁴.

Синтагматические поля В. Порцига и Г. Мюллера отражают реальные группировки слов по их валентным свойствам. Эти группировки, как показали мно-

⁶⁴ А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 71 и сл.

⁶⁵ Ср.: О. П. Суник, Общая теория частей речи, М.—Л., 1966, стр. 20—21.

⁶⁶ См., например: А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 420—434; Ch. C. Fries, The structure of English, New York, 1952, стр. 65—141.

⁶⁷ Ср.: Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Грамматико-лексические поля в современном немецком языке, М., 1969.

⁶⁸ Ср.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 47—51; его же, О подлинной точности при анализе грамматических явлений, «Проблемы языкознания», М., 1967, стр. 25—27.

⁶⁹ И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 195—198; его же, Понятийные категории в языке, «Труды военного института иностранных языков», 1945, 1; О. Есперсен, Философия грамматики, 1958, стр. 399.

⁷⁰ Ср.: А. В. Бондарко, К проблеме функционально-семантических категорий, ВЯ, 1967, 2.

⁷¹ См.: Л. М. Васильев, К проблеме типологии грамматических категорий, «Уч. зап. Башкирк. ун-та», 21, Серия филол. наук, 9 (13), 1964. Ср.: Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, М., 1959, стр. 397—418.

⁷² W. Porzig, указ. соч.; его же, Das Wunder der Sprache, 3-te Aufl., Berlin — München, 1962, стр. 117—135. Наряду с синтагматическими В. Порциг выделяет также словообразовательные поля типа *reiten*, *Reiter*, *Reiterin*, *Bereiter*, *abreiten* и под. И те и другие он называет «элементарными семантическими полями».

⁷³ Подробнее о полях В. Порцига см. в указанных работах А. А. Уфимцевой (стр. 46—50) и А. И. Кузнецовой (стр. 40—42).

⁷⁴ G. Müller, указ. соч., стр. 156—158 (краткий анализ этой работы см.: А. И. Кузнецова, указ. соч., стр. 26—27).

гочисленные исследования последних лет по лексической и грамматической сочетаемости, могут быть двух типов. С одной стороны, слова объединяются в синтагму (синтагматическое поле) только на основе общности их синтагматических сем, т. е. семантической сочетаемости. К таким семантическим синтагмам относятся, например, как наиболее абстрактные группы типа «субъект + предикат», «субъект + предикат + объект», «субъект + атрибут», «предикат + атрибут»⁷⁵, так и менее абстрактные группы типа «глагол со значением поведения + субъект поведения + оценка поведения» и под. С этой точки зрения прилагательное *вороной* и существительное *платье* относятся к одному синтагматическому полю, ибо семантически (но не лексически!) они сочетаются друг с другом. С другой стороны, слова объединяются в синтагму не только на основе общности их синтагматических сем (семантической сочетаемости), но и на основе общности их нормативных валентных свойств (лексической и грамматической сочетаемости). К таким синтагмам относятся, например, группы типа «существительное + прилагательное», «глагол + наречие» или типа *ржать* +

+ *лошадь*, *топорщице* + *топор*⁷⁶, *белокурый* + *волосы* и под. Группировки первого типа представляют собой смысловые (или семантические) синтагматические поля, группировки второго типа — формальные (или нормативные) синтагматические поля. Поскольку в основе обоих этих типов лежат синтагмы (семантические или грамматические, формальные), их структура определяется валентными свойствами членов синтагмы.

В. Комплексные поля. При сложении парадигматических и синтагматических смысловых полей образуются комплексные поля. Такими полями являются, например, словообразовательные ряды, включающие слова разных частей речи вместе с их парадигматическими коррелятами (например, *Учитель* / *преподаватель* ... / *учит* / *наставляет* ... / *ученика* / *студента* ...); неоднородные по инвариантным значениям частей речи лексико-семантические группы (например, *слово*, *речь*... — *говорить*, *рассказывать* ...) и под. Вообще говоря, с комплексными семантическими полями мы имеем дело во всех тех случаях, когда позиции абстрактной семантической синтагмы заполняются не отдельными конкретными семемами, а их парадигматическими классами (=парадигматическими полями).

Л. М. Васильев

⁷⁵ Ср.: О. Есперсен, указ. соч., стр. 105—121; Э. Р. Атаян, Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968, стр. 220—222.

⁷⁶ Ср.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 74—75.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГРАММАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

На изучение турецкого языка, который в силу исторических причин был и остается в центре внимания европейских тюркологов, не могла не повлиять грамматическая традиция, выработанная при исследовании индоевропейских языков. Хотя агглютинативный строй турецкого языка и своеобразие его синтаксиса, резко отличающие его от флективных индоевропейских языков, требовали максимального отвлечения от привычных норм традиционных европейских грамматик, тем не менее в большинстве старых и ряде современных грамматик турецкого языка многие специфические явления турецкого синтаксиса объяснялись и описывались путем сопоставления с соответствующими явлениями в языках другого строя, что, естественно, не позволяло в полной мере выявить синтаксические категории, присущие это-

му языку. Инерция индоевропеистической грамматической традиции обусловила преобладание морфологизма при описании синтаксиса турецкого языка, следы чего можно заметить и в современных грамматиках.

В ранних европейских грамматиках турецкого языка разработка синтаксиса проводилась более или менее единообразно: в части синтаксиса словосочетаний описывались сочетательные свойства имен и глаголов¹, а что касается

¹ См. разделы «Сочетание имени с именем» («Concordantia nominis cum nomine»), «Согласование номинатива с глаголом» («Concordantia nominativi cum verbo») и т. п. в кн.: «Francisci à Mesgnien Meninski, Institutiones linguae turcicae...», II, Vindobonae, 1756, стр. 11, 35; раздел «О согласовании имени существительного

синтаксиса предложений, то обычно ограничивались исследованием порядка слов и средств связи в простом и сложном предложениях²; строение словосочетаний и предложений в этих грамматиках не описывалось. В старых грамматиках турецких авторов, созданных под влиянием арабской грамматической школы, раздел синтаксиса вообще отсутствовал³.

Путем анализа разработки синтаксиса во многих грамматиках турецкого языка можно обнаружить ряд методологических и теоретических положений, препятствующих выявлению специфики синтаксических структур турецкого словосочетания и предложения.

В большинстве грамматик турецкого языка европейских авторов до настоящего времени грамматически разнородные конструкции в различных языках приравниваются к индоевропейскому типу. Так, турецкие синтаксические конструкции — обороты с неличными формами глагола (масдарами, причастиями и деепричастиями), которые представляют собой особый тип подчинительных словосочетаний, свойственных тюркским языкам, приравниваются к придаточным предложениям в индоевропейских языках; естественно, что такой способ изучения не может помочь установить структурные и функциональные свойства этих оборотов и их место в системе турецкого синтаксиса. Тем не менее в последние столетия именно такой подход к описанию турецких подчинительных словосочетаний этого типа был широко распространен: турецкие обороты рассматривались как эквиваленты немецких придаточных предложений, в том числе с относительными

местоимениями *was, wer* или *daß*⁴, французских⁵ и русских («сокращенных») придаточных предложений.

Таким образом, вместо описания специфической турецкой синтаксической конструкции — оборота с неличной формой глагола — она приравнивается к принципиально отличным от нее придаточным предложениям в языках другого строя на основе сопоставления значений этих различных типов синтаксических категорий.

Как известно, в общем языкознании словосочетание стало рассматриваться как самостоятельная синтаксическая единица иного уровня, нежели уровень, к которому принадлежит предложение, сравнительно недавно; естественно, что и в тюркологии синтаксическая проблема словосочетаний стала специально разрабатываться только в последние десятилетия⁷. Во многих грамматиках турецкого языка словосочетания как самостоятельный предмет синтаксиса не выделяются и рассматриваются в разделах или морфологии, или синтаксиса, но в последнем случае — недифференцированно от предложений. При этом можно наметить три подхода к описанию и анализу словосочетаний и предложений. В соответствии с одним из них, словосочетания рассматриваются как предложения, в силу чего структурные и смысловые критерии предложений и словосочетаний-оборотов становятся расплывчатыми; не различаются

с другим» (гл. III) в кн.: П. Хольдсман, Турецкая грамматика., перевод Р. Габлица, М., 1777; разделы «Синтаксис имен и местоимений» («*Syntaxe des nomes et des pronomes*»), «Синтаксис глаголов» («*Syntaxe des verbes*») в кн.: M. Viguier, *Elements de la langue turque*, Constantinople, 1790, стр. 214, 233, как и в кн.: J. Preindl, *Grammaire turque*, Berlin, 1790, стр. 94—102; разделы «Конструкция имени с именем» («*Construction du nom avec le nom*»), «Глагольная конструкция» («*Construction du verbe*») в кн.: J. W. Redhouse, *Grammaire raisonnée de la langue ottomane*, IV, Paris, 1846, стр. 244. См. раздел «О сочетания слов» в кн.: А. Казембек, Общая грамматика турецко-татарского языка, 2-е изд., Казань, 1846, стр. 362.

² См.: J. Preindl, указ. соч., стр. 102; J. W. Redhouse, указ. соч., ч. IV; А. Казембек, указ. соч., стр. 420 и сл.

³ Сб. об этом: А. Н. Кононов, Из истории грамматической разработки турецкого языка, «Труды МИВ», 4, 1947, стр. 97—104.

⁴ A. W a h r m u n d, *Praktische Grammatik der osmanisch-türkischen Sprache*, Giessen, 1869, стр. 404; G. Weil, *Grammatik der osmanisch-türkischen Sprache*, Berlin, 1917, стр. 239. Ср. также раздел «Перевод немецких придаточных предложений» (*Übersetzung deutscher Nebensätze*) в кн.: L. Peters, *Grammatik der türkischen Sprache*, Berlin, 1947, стр. 134; раздел «Сопоставление немецких союзных предложений и их передачи в турецком языке» (*Zusammenstellung deutscher Konjunktionalsätze und ihrer Wiedergabe im Türkischen*) в кн.: H. J. Kissling, *Osmanisch-türkische Grammatik*, Wiesbaden, 1960, стр. 219.

⁵ См. раздел: «Группы, эквивалентные дополнительным (обстоятельным) предложениям» [*Groupes équivalant à des propositions complétives (circonstancielles)*] в кн.: R. Godel, *Grammaire turque*, Genève, 1945, стр. 149, 151.

⁶ В. А. Гордлевский, Грамматика турецкого языка, М., 1928, стр. 113, 118, 125.

⁷ См.: С. С. Майзель, Изафет в турецком языке, М.—Л., 1957; М. Б. Балакаев, Основные типы словосочетаний в казахском языке, Алма-Ата, 1957; Ю. М. Сеидов, Словосочетания в азербайджанском языке. Автореф. докт. диссерт., Баку, 1965; Е. А. Поцелуевский, Тюркский трехчлен, М., 1967.

даже словосочетания — конструкции с *verbum indefinitum* и предложения с *verbum finitum*⁸. Ж. Дени первым ввел для обозначения словосочетаний с *verbum indefinitum* термин «квази-предложение» (*quasi-proposition*)⁹ и тем самым разграничил эти генетически разные конструкции.

Согласно другому методу описания синтаксических конструкций, словосочетания настолько абсолютизируются, что и предложения рассматриваются как предикативные разновидности словосочетаний. Так, Л. Петерс все синтаксические конструкции рассматривает в разделе под общим заголовком «Группы слов» (*Die Wortgruppen*), причем предложения отнесены к разряду «Глагольно-именных определительных групп» (*Nominalverbale Bestimmungsgruppen*) и названы «предикативными группами» (*Die Prädikativgruppen*)¹⁰. Не избежал смещения атрибутивных и предикативных конструкций Л. Б. Свифт — он рассматривает словосочетания и предложения в одном ряду, исходя из формальных критериев оформленности конституирующего члена (определяемого в словосочетании и сказуемого в предложении)¹¹.

В соответствии с третьим типом подхода, словосочетания рассматриваются в разделах морфологии как формы распространения знаменательных частей речи или подаются в качестве иллюстративного материала к способам связи слов и, таким образом, не выделяются в самостоятельную синтаксическую категорию. Синтаксическое исследование словосочетаний, целью которого является выявление их структурных свойств, при этом фактически подменяется изучением функций тех или иных морфологических и лексико-семантических категорий в составе предложения или словосочетания. Такой подход имеет давнюю традицию в османистике. Изафет, например, рассматривается в морфологической части (*Formenlehre*) под рубрикой «Генитивная связь и композита» (*Genitivverbindungen und Komposita*)¹² или же в разделе «Имя» (соответственно деепричастные обороты — в разделе «Герундий», адъективные обороты — в разделе «Прилагательное»)¹³.

⁸ См.: A. W a h r m u n d, указ. соч., стр. 405.; G. W e i l, указ. соч., стр. 231, 236; Г. Д. Г ъ л ъ б о в, Турска грамматика, София, 1949, стр. 357—371.

⁹ J. D e n y, *Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli)*, Paris, 1921, §§ 1168, 1251.

¹⁰ L. P e t e r s, указ. соч., стр. 170.

¹¹ L. B. S w i f t, *A reference grammar of Modern Turkish*, Bloomington, 1963, стр. 195—196.

¹² G. W e i l, указ. соч., стр. 46.

¹³ См.: A. M ö r e r, *Grammaire de la langue turque théorique et pratique*,

Подобная «морфологизация» синтаксического описания в своих истоках восходит к работам М. Вигье, Ж. Прайндла, Р. Ж. Пикере¹⁴, в которых рассматривались не синтаксические свойства словосочетаний и предложений, а синтаксис имен и глаголов. Такой подход к исследованию синтаксических единиц имеет место и в современных грамматиках турецкого языка. Так, у А. Дж. Эмре в основу исследования грамматики положено слово, которое является главным предметом изучения на всех языковых уровнях¹⁵. При таком подходе к синтаксису на первом плане оказываются функциональные и лексико-семантические свойства отдельных слов в составе синтаксических конструкций. То же самое относится и к тем работам, где основное внимание уделяется морфологическому составу словосочетаний и сочетательным возможностям отдельных частей речи¹⁶.

Наиболее полное описание синтаксического строя языка достигается при учете данных всех языковых уровней, начиная с фонетического; при этом, однако, нельзя забывать, что все эти уровни находятся в субординационном отношении к синтаксическому уровню и должны использоваться в этом случае для наиболее полного освещения собственно синтаксических категорий. Такой анализ единиц несинтаксического уровня, например семантического или морфологического, сам по себе не дает исчерпывающих результатов для синтаксического исследования, хотя и может отразить один из его аспектов. Трудность любого синтаксического исследования заключается, с одной стороны, в выборе вспомогательных средств несинтаксического уровня для разрешения той или иной синтаксической задачи.

Istanbul, 1961, стр. 18, 135; H. E d i s k u n, *Yeni türk dilbilgisi*, Istanbul, 1963, стр. 117, 146 (в разделе синтаксиса — «Sözdizimi» — разбираются исключительно предложения); T. N. G e n c a n, *Dilbilgisi*, Istanbul, 1966, стр. 107—114; G. L. L e w i s, *Turkish grammar*, Oxford, 1967, стр. 41, 45.

¹⁴ См.: M. V i g u i e r, указ. соч., стр. 213; J. P r e i n d l, указ. соч., стр. 94; P. J. P i q u e r é, *Grammatik der türkisch-osmanischen Umgangssprache*, Wien, 1870, стр. 213.

¹⁵ См. разделы «Слова с точки зрения значения» (*Anlam bakımından kelimeler*), «Слова с точки зрения их образования» (*Yapılış bakımından kelimeler*), «Слова с точки зрения синтаксиса» (*Dizim bakımından kelimeler*) в кн.: A. C. E m r e, *Türk dilbilgisi*, Istanbul, 1945.

¹⁶ См., например, раздел «Распространение имен» (*Erweiterung des Nomens*), где рассматриваются словосочетания, в кн.: H. J. K i s s l i n g, указ. соч., стр. 126.

ческой проблемы, а с другой стороны, в установлении необходимой пропорции между этими средствами и собственно синтаксическими средствами. Любое несоответствие между освещением единиц синтаксического и несинтаксического уровня является недостатком такого исследования, и, напротив, пропорциональное использование единиц всех уровней дает наибольший эффект в синтаксическом исследовании. Поэтому понятно стремление исследователей к максимальному использованию всех средств лингвистического исследования при анализе на высшем синтаксическом уровне, что успешно достигается в «Грамматике современного турецкого литературного языка» А. Н. Кононова. Предложение в этой грамматике описывается на основе двух классификаций: семантической и структурной. Согласно семантической классификации, все предложения подразделяются на: 1) повествовательные, 2) вопросительные, 3) восклицательные, 4) модальные. Согласно структурной классификации, предложения подразделяются на простые и сложные, в свою очередь, простые делятся на нераспространенные и распространенные, выделяются также полные и неполные, односоставные и двусоставные предложения¹⁷; а сложные — на сложносочиненные и сложноподчиненные. В разделе «Словосочетание» здесь рассматриваются не словосочетания как таковые, а только способы (приемы) сочетаний слов...»¹⁸.

Во многих современных грамматиках турецкого языка турецких авторов раздел синтаксиса включает описание словосочетаний и предложений. Словосочетания, или «детерминативные группы» (*belirtme grupları*), подразделяются на ряд типов, устанавливаемых по лексико-морфологическому признаку: именные, ишафет (*isim tamlamaları*), адъективные (*sıfat tamlamaları*), адвербиальные (*zarf grupları*), приложения (*ünvan grupları*)¹⁹. Наряду с данными типами рассматриваются сочинительные словосочетания (*bağlama grupları*), сочетания с послелогом (*edat grupları*), сочетания объекта с глаголом (*fiil grupları*) и ряд других. Однако синтаксический принцип отбора типов словосочетаний нарушается включением в номенклатуру описываемых типов морфологических и лексико-семантических категорий, например: сложные имена (*bileşik isimler*), составные числительные (*sayı gurubu*) и даже аббревиатуры (*kısaltma grupları*)²⁰.

¹⁷ А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М. — Л., 1956, стр. 494.

¹⁸ Там же, стр. 374.

¹⁹ М. К. Bilgegil, Türkçe dilbilgisi, Ankara, 1964, стр. 115—163.

²⁰ M. Ergin, Türk dil bilgisi, İstanbul, 1962, стр. 353—375.

Тем не менее, сам факт фиксации всех типов словосочетаний является шагом вперед в изучении турецкого синтаксиса.

В новых турецких грамматиках классификация предложений производится по ряду структурных и лексико-грамматических признаков: типы предложений устанавливаются с учетом именного или глагольного сказуемого (*yüklemlerine göre cümleler*), порядка следования членов предложения (*öğelerin dizilişine göre cümleler*), строения предложений (*yapılarına göre cümleler* — имеется в виду простой и сложный состав предложений), наконец, их значения (*anlamlarına göre cümleler* — имеется в виду модальный характер предложений)²¹. Таким образом, можно отметить серьезное и плодотворное развитие проблем синтаксиса в работах турецких языковедов, исследования которых представляют особый интерес, поскольку проводятся самими носителями языка.

Среди современных работ по турецкому языку «Справочная грамматика современного турецкого языка» Л. Б. Свифта, выделяется применением методов дескриптивной лингвистики, в частности, метода непосредственно составляющих, а также методов актуального и ритмико-интонационного членения. При анализе синтаксических конструкций используются единицы различных уровней. На фонологическом уровне в качестве меры ритмико-интонационного членения, расцениваемой как структурный показатель, рассматривается «сегмент» (*segment*). Единицами логико-грамматического членения признаются «тема» (*topic*) и «объяснение» (*comment*)²². Единицами формального синтаксического уровня признаются «определитель» (*qualifier*) и «конституирующий член» (*head*); при этом Л. Б. Свифт отталкивается от атрибутивной и предикативной формы синтаксической связи.

Анализ разработки синтаксиса турецкого языка свидетельствует о стремлении к наиболее полному описанию синтаксических явлений; при этом основным предметом изучения являются словосочетания и предложения, используются различные способы синтаксического исследования. При таком изучении привлекаются языковые единицы всех уровней — от фонетического до синтаксического. Однако собственно синтаксический анализ, базирующийся на учете единиц всех этих уровней, прежде всего предусматривает использование собственно синтаксических единиц, к которым можно отнести способы синтаксической связи, порядок слов, форму и значение двух типов син-

²¹ См.: Н. Ediskun, указ. соч., стр. 355; М. К. Bilgegil, указ. соч., стр. 51; T. N. Gencan, указ. соч., стр. 53.

²² L. B. Swift, указ. соч., стр. 173.

таксической связи — атрибуции и предикации, определяющих в конечном счете структуру синтаксических конструкций. Актуальное и ритмико-интонационное членение предложения может рассматриваться как «надбазисный» аспект синтаксического исследования, поскольку оно накладывается на формальную синтаксическую структуру, а само по себе не имеет выражения.

Для разработки турецкого синтаксиса прежде всего необходимо выявить и описать структурные типы (модели) словосочетаний и предложений и их расклассифицировать. Только после такой инвентаризации возможен общий анализ и выявление основных типологических черт турецкого синтаксического строя, в том числе и актуализации. Причиной отсутствия работ по актуальному членению в турецком языке является недостаточная разработка структурных черт турецкого синтаксиса, а отнюдь не то, что в тюркских языках якобы совпадают планы формально-грамматический и актуальный.

Выявление основных структурных типов (моделей) словосочетаний и предложений в турецком языке возможно прежде всего при условии четкого разграничения их как двух синтаксических категорий, отражающих две формы человеческого мышления: конкретизацию (дифференциацию) и обобщение (интеграцию) через два способа синтаксической связи — атрибуцию и предикацию.

И словосочетание, и предложение, как и любое языковое явление, включает в себя две стороны — формальную и содержательную, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, и это необходимо отразить при описании структурных типов словосочетаний и предложений. Для синтаксического описания содержательная сторона той или иной синтаксической конструкции важна в том случае, когда семантика обуславливает строевые особенности конструкции. С учетом вышеизложенного для описания словосочетаний и предложений можно предложить следующие схемы.

Словосочетания как номинативные синтаксические единицы могут быть описаны в следующих двух планах.

1. Структурно-грамматический план предусматривает два уровня: а) лексико-морфологический уровень, на котором словосочетания подразделяются на именные или глагольные по принадлежности конституирующего члена — определяемого — к категориям имен или глаголов. Такое подразделение необходимо, поскольку именные и глагольные словосочетания различаются в отношении форм синтаксической связи своих членов; б) синтаксический уровень, на котором словосочетания подразделяются по типам синтаксической связи на сочинительные и подчинительные, а также по способам подчинительной связи между составляющими их членами (примыкание, управление, согласование). По количеству сочетающихся членов словосочетания подразделяются на простые (двучленные) и сложные (многочленные).

2. Функционально-семантический план: лексико-семантические и синтаксические свойства определяемого члена словосочетания обуславливают его функциональные свойства, в соответствии с чем словосочетания подразделяются на субстантивные и атрибутивные. Деление словосочетаний на свободные и связанные определяется главным образом их семантикой и представляет интерес для синтаксического анализа лишь в том случае, если «связанность» словосочетания обусловлена тем или иным его структурным свойством.

Предложения как коммуникативные синтаксические единицы в плане выражения могут быть исследованы в отношении их структурно-синтаксических, морфологических и фонетических черт, а в плане содержания — в отношении их лексико-семантических, модальных и логико-грамматических черт. Однако сложная предикативная природа предложения чрезвычайно затрудняет разделение этих черт предложения, поэтому планы, в которых возможно исследование предложения, тесно переплетаются и устанавливаются условно.

1. Структурно-грамматический план предусматривает два уровня: а) морфологический уровень, на котором предложение классифицируется по принадлежности конституирующего члена — сказуемого к категории имен или глаголов; в соответствии с этим предложения подразделяются на именные, сказуемые которых выражены именем с глагольной связкой, и глагольные. Такие предложения различаются не только семантически, но и структурно; б) синтаксический уровень, на котором предложения подразделяются по следующим своим структурным свойствам: 1) по составу, т. е. по наличию конституирующих членов, на односоставные — двусоставные, полные — неполные, 2) по пространственности: на нераспространенные — распространенные, простые — сложные, 3) по порядку следования своих членов на предложения с прямым и инвертированным порядком слов.

2. Модальный план: двуплановая сущность модальности как синтаксической категории заключена в выражении отношения, с одной стороны, содержания предложения к реальной действительности и, с другой стороны, отношения говорящего к содержанию предложения. Таким образом, в одном предложении модальность выражается двояко путем целого комплекса формальных языковых средств: интонации, форм гла-

гольного наклонения, порядка слов, модальных слов и частиц²³.

Проблема модальности в языкознании является неразрешенной, границы между ее грамматическим и логическим аспектами устанавливаются различно²⁴. Разграничение содержательной и выразительной стороны категории модальности к тому же затруднено тем, что существует множество формальных средств ее выражения.

Модальность — общепризнанное свойство предложения; ввиду того, что модальность выражает два указанных типа отношений, можно допустить существование двух подсистем модальности в предложении. Одна подсистема, выражающая степень достоверности действия, передает отношение содержания предложения к реальной действительности и реализуется при помощи форм глагольного наклонения. Другая подсистема, выражающая целевую установку действия, отражает отношение говорящего к содержанию предложения и реализуется при помощи лексико-грамматических средств.

3. Логико-грамматический план определяет коммуникативное

²³ См. об этом: Ф. Р. Зейналов, Категория модальности и способы ее выражения в тюркских языках, «Советская тюркология», 1970, 2, стр. 96.

²⁴ См.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М.-Л., 1963, стр. 43—56.

назначение предложения. Данный аспект еще не получил достаточной разработки в тюркологии²⁵. При рассмотрении предложения в логико-грамматическом плане учитываются как структурные его особенности (порядок слов), так и данные синтаксической фонетики (амфаза, логическое ударение, ритмико-интонационное деление). Следует принимать во внимание также и лексико-грамматические элементы, обуславливающие актуальное членение (например, энклитики, артикли, аффиксы модальности).

Только учет всех перечисленных планов позволит с возможной полнотой описать основные единицы синтаксиса словосочетания и предложения в турецком, как и в других тюркских языках.

А. Н. Баскаков

²⁵ На материале тюркских языков актуализация исследовалась в работах: И. Распалов, К. Закирьянов, Основные функции порядка слов в русском языке, «Р. яз. в нац. шк.», 1965, 4; А. Садыков, К вопросу о типологии выражения предикативности (на материале некоторых индоевропейских и тюркских языков). Автореф. канд. диссерт., М., 1969; Л. Ю. Тугушева, Порядок слов в определительных конструкциях (на материале татарского языка). Автореф. канд. диссерт., М., 1969.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ М. А. ТРИАНДАФИЛИДИСА

Языкознание Новой Греции почти неизвестно советским языковедам. Поэтому для них было бы, вероятно, интересно познакомиться с кратким обзором трудов одного из выдающихся греческих лингвистов нового времени — Манолиса А. Триандафилидиса¹.

Особенностью языкознания в Новой Греции является его тесная связь с общественной жизнью греческой нации в

целом. Это объясняется чрезвычайно сложной, не имеющей себе сейчас аналогичной языковой ситуацией в Греции, где до сих пор еще не решен вопрос о едином стиле национального языка, который выступал бы в качестве нормы во всех сферах общественной жизни (распространенное мнение о существовании в Новой Греции «двух языков» — кафаревусы и димотики — является сильным огрублением реальности; как показали Г. К. Папагеотис и Дж. Макрис, языковая ситуация в Греции гораздо сложнее²). Поэтому почти любая работа, посвященная новогреческому языку и написанная в Греции, так или иначе должна касаться так называемого «языкового во-

¹ М. А. Триандафилидис родился в 1883 г. Он учился в Афинском университете у основателя научного языкознания в Греции Г. Н. Хадзидакиса (1848—1941), а затем в Германии у выдающегося византолога и неологиста профессора Мюнхенского университета К. Крюмбахера. Под руководством последнего Триандафилидис подготовил и в 1908 г. защитил докторскую диссертацию. Вернувшись в Грецию, Триандафилидис был профессором Фессалоникского университета (с 1926 г.), а также работал в Министерстве образования. Умер Триандафилидис в 1959 г.

² Ср.: G. C. Papageotes, J. Macris, The language question in modern Greece, «Papers in memory of George C. Papageotes», New York, 1964, стр. 53—59. Согласно Папагеотису и Макрису, в Греции сейчас существуют четыре стиля устной и семь стилей письменной греческой речи, которые используются в различных сферах.

проса», суть которого сводится к тому, следует ли сохранять в ряде сфер общественной жизни тот или иной из традиционных архаизованных письменных стилей новогреческого языка (совокупность которых и называют кафаревусой) или же последние должны повсеместно быть заменены димотикой — единым литературным стилем, созданным на базе живой народной речи. В силу этого новогреческое языкознание в целом не носит отвлеченного характера, почему и представляет определенный интерес для историка Новой Греции вообще и историка ее культуры, в частности.

Упомянутая особенность новогреческого языкознания ярко проявляется, в частности, в работах Триандафилидиса, ученого и педагога, всю жизнь боровшегося за победу димотики. Этой борьбе служили его многочисленные оригинальные исследования (написанные не только по-гречески, но и на других европейских языках) по истории новогреческого языка, новогреческой диалектологии и новогреческой грамматике. Многие его работы носят поэтому полемический характер, что отражается даже в их названиях.

Большинство работ Триандафилидиса вошли в полное собрание его трудов в восьми томах³, которое издавалось в 1963—1969 гг. основанным им Институтом новогреческих исследований при Аристотелевском университете Фессалоник.

Первый том «Полного собрания» содержит два больших исследования — «Изнанание или равноправие?» (стр. 1—297, 1905 г. — здесь и далее в скобках, кроме страниц, указывается год первой публикации) и «Займствованные слова в среднегреческой народной литературе» (стр. 299—493, 1909 г.). В первой работе прослеживается история лексических заимствований в новогреческом языке и положение их в начале XX в. В этом исследовании довольно подробно рассматривается также положение лексических заимствований в других европейских языках, особенно немецком. Триандафилидис выступает здесь против стремления «очистить» новогреческий язык, «изгнать» из него заимствования, высказывая мнение о несостоятельности и антиисторичности этого стремления. Второе исследование — в которое вошла составной частью докторская диссертация Триандафилидиса — представляет собой введение к подготовленному Триандафилидисом словарю заимствований в среднегреческом языке. С точки зрения тематики и методики это исследование является продолжением исследований заимствований в новогреческом языке,

начатых Г. Майером⁴. Триандафилидис, используя обильный материал, детально анализирует фонетику, семантику, словопроизводство и культурно-историческую роль этой интересной категории слов.

Из работ, включенных во второй том, следует отметить, прежде всего, интересные исследования по условным языкам: «Ντόρικα» Эвритании — вклад в изучение «μαστόρικα» Греции⁵ (стр. 33—45, 1923 г.), «Цыганско-греческий тайный язык» (стр. 46—85, 1924 г.), «О тайных языках» (стр. 86—89, 1925 г.), «Греческие тайные языки» (стр. 90—140, начала публиковаться в середине 20-х гг.) и «Греческие условные языки» (стр. 299—320, 1953 г.). Затем нужно отметить исследования по сложным проблемам новогреческой грамматики: «Родительный падеж уменьшительных имен существительных на -ιχ и система новогреческого склонения» (стр. 141—171, 1926 г.), «Ударение в родительном падеже пропароксютонных имен мужского рода на -ος и среднего рода на -ο» (стр. 172—185, 1926 г.), «Δῶς μοῦ το — δῶς μέ το»⁶ (стр. 200—205, 1936 г.), «Устойчивость неаналогизированных „ученых“ форм»⁷ (стр. 216—225, 1948, 1950 гг.), «Закон ударного гласного»⁸ (стр. 234—240, 1949 г.), «Неравносложные имена в новогреческом склонении» (стр. 241—242, 1949 г.), «Множественное число оксютонных имен существительных мужского рода на -της» (стр. 243—262, 1951, 1956 гг.), «Родительный падеж единственного числа имен существительных среднего рода на -ις» (стр. 321—325, 1957 г.), «Βουλευτίνα»⁹ и образование имен существительных женского рода, обозначающих профессии» (стр. 326—334, 1959 г.). Истории новогреческого языка посвящены работы «Греческое приращение, его отпадение и различие омонимичных глагольных форм» (стр. 206—215, 1936 г.) и «Влияние „ученой“ морфологии на новогреческий язык» (стр. 226—233, 1949 г.). Две работы этого тома посвящены диалектологии: «Греческий язык у греков в Америке» (стр. 269—298, 1953 г.) и «Доклад

⁴ См. G. Meyer, Neugriechische Studien, Wien, 1894—1895.

⁵ Ντόρικα — условный язык дортидов — эвританских цыган, μαστόρικα — условный профессиональный язык.

⁶ Суть проблемы заключается в выборе формы показателя косвенного объекта.

⁷ Под «учеными» формами понимаются формы кафаревусы.

⁸ Суть установленного Триандафилидисом закона заключается в том, что «ученые» морфологические элементы с ударным гласным обнаруживают большую устойчивость при выравнивании по аналогии.

⁹ Βουλευτίνα — женщина-депутат.

³ «Απλота Μανόλη Τριανταφυλλίδη, I—VIII, Γενικό Εργαστήριο, Θεσσαλονίκη, 1963—1969.

о языковедческой командировке в северо-западную Грецию в 1915 г.» (стр. 368—388, 1920 г.). Во втором томе имеются также работы по ономастике — «Новогреческие фамилии» (стр. 263—268, 1954 г.) — и по лексикологии — статья о принципах отбора формы новогреческого слова для словаря, озаглавленная «Лемма» (стр. 344—362, 1915 г.), «Докладная записка о собрании профессиональных технических терминов» (стр. 389—397, 1920 г.) и «Докладная записка об историческом словаре» (стр. 398—453, 1920 г.). Лексикографические работы Триандафилидиса и его доклад о командировке, в северо-западную Грецию были связаны с его участием в деятельности созданного в 1908 г. и руководимого Г. Н. Хадзидакисом комитета для подготовки исторического словаря греческого языка. Наконец, во втором томе помещены рецензии на работы по новогреческому языкознанию А. Бутураса и К. Хёге (стр. 1—21 и 186—199), рецензия на «Thesaurus linguae latinae» (стр. 337—343) и статья «Происхождение языка и фрейдианская психология» (стр. 22—32, 1915 г.).

Третий том представляет собой широко известную работу Триандафилидиса «Новогреческая грамматика — Историческое введение», (1938 г.) являющуюся систематическим обзором происхождения и истории новогреческого языка. Значение данной работы, помимо систематизации обширного исторического материала, заключается и в том, что здесь Триандафилидис продолжает и развивает то, что начал в своих работах Г. Н. Хадидакис¹⁰, а именно доказательство закономерности и естественности новогреческих форм и опровержение теории «порчи» греческого языка в период турецкого господства. «Историческое введение» состоит из снабженного библиографией очерка истории греческого языка с древнейших времен до 30-х годов XX в., включая и новогреческую диалектологию (стр. 3—169), сборника исторических и диалектных текстов, снабженных подробными комментариями и библиографией (стр. 173—404), и — также снабженного библиографией — сборника различных высказываний по поводу новогреческого языка, особенно его литературной формы, и сведений о языковой ситуации в Греции в разные эпохи (стр. 405—533). В конце работы помещены разные дополнения к отдельным параграфам очерка истории греческого языка (стр. 534—610, 648—651), подробная библиография по новогреческому языку и его истории (стр. 611—647) и указатель (стр. 651—652). Работа

снабжена воспроизведением древнегреческих надписей, палеографическими снимками, картами и диаграммами.

В той части очерка истории греческого языка, которая освещает новое и новейшее время, Триандафилидис, естественно, уделяет димотике очень много места.

Четвертый том содержит работы Триандафилидиса, посвященные языковой ситуации в Греции. Как уже было сказано выше, Триандафилидис активно боролся за внедрение димотики во все сферы общественной жизни. Этим целям посвящены его исследования «Два письма по языковому вопросу» (стр. 3—7, 1906 г., стр. 8—34, 1907 г.), «Наше образование и наш язык» (стр. 57—92, 1912 г.), «Языковой вопрос в Греции» (стр. 93—110, 1911—1912 гг.), «Наш язык в школах Македонии» (стр. 253—283, 1916 г.), «Наш язык в общественной жизни» (две работы — стр. 284—299, 1915 г. и стр. 300—305, 1916 г.), «Наш язык в 1914—1916 гг.» (стр. 306—425, 1918, 1920 гг.), «К возрождению образования» (стр. 426—446, 1919 г.) и «Quo-usque tandem» (стр. 447—549, 1919 г.). В последней из этих работ Триандафилидис выступил против Г. Н. Хадзидакиса, наиболее авторитетного защитника кафаревусы, считавшего, что димотика не может обслуживать весь неозеллинизм в целом (именно такая позиция Хадзидакиса обусловила его протест против одного из важнейших мероприятий правительства Э. Венизелоса — издания в мае 1917 г. закона о введении димотики в школьное обучение — и его борьбу с основанной при участии Триандафилидиса в 1910 г. Учебной Ассоциацией, готовившей перевод школьного образования на димотику, вырабатывавшей норму димотики как языка школы, науки и литературы, создававшей на димотике учебники, а позднее принимавшей участие в проведении в жизнь закона (1917 г.).

Целям борьбы за димотику служили также статья, относящаяся к истории греческого языка под заглавием «Евангелия и аттицизм» (стр. 111—118, 1913 г.), подборка высказываний греческих и иностранных писателей и ученых о новогреческом языке под названием «Апология димотики» (стр. 119—252, 1914 г.) и подробная рецензия на известное описание новогреческого языка, выполненное А. Тумбом¹¹ (стр. 35—56, 1912 г.).

Тематика работ пятого тома аналогична тематике работ четвертого. Это «Лексика новых хрестоматий» (стр. 3—13, 1920 г.), продолжающая полемику с Хадидакисом статья «Об истории» (стр. 14—29, 1921 г.), работы «Прежде чем они сгорят — Правда о хрестоматиях на димотике» (стр. 30—167, 1921 г.),

¹⁰ См. его: «Einleitung in die neugriechische Grammatik», Leipzig, 1892 и «Σύντομος ἱστορία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης», Ἀθήναι 1915.

¹¹ A. T h u m b, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Strassburg, 1910.

«Димотикизм — Письмо нашим учителям» (стр. 168—239, 1926 г.), «Молодежь и языковой вопрос» (стр. 240—277, 1934 г.), «Показание на суде И. Ф. Какридиса»¹² (стр. 453—482, 1942 г.) и два варианта работы под названием «Нынешнее состояние языкового вопроса в Греции» (стр. 483—490, 1949 г., и стр. 491—497, 1951 г.). Поводом для написания некоторых из этих работ послужила начатая в 1921 г. противниками димотики борьба за сожжение школьных учебников, подготовленных Учебной Ассоциацией, и за предание суду тех, кто их распространял.

В пятом томе помещены также работы по истории языкового вопроса и новогреческого языка в целом — «Из нашей языковой истории. Вернардакис — Кондос — Хадзидакис»¹³ (стр. 278—307, 1935 г.), «Этапы нашей языковой истории» (стр. 308—365, 1937 г.) — и некрологи выдающихся деятелей димотикизма: Психариса (стр. 366—380, 1929 г.), Палиса (стр. 381—439, 1937 г.) и Фотиадидиса (стр. 440—451, 1946 г.)¹⁴.

Шестой том содержит последнюю большую работу Триандафилидиса — «Димотикизм и реакция», — которую он начал писать в 1949 г., когда Афинская Академия решила не объявлять вакантной кафедру языковедения с тем, чтобы не допустить в Академию Триандафилидиса с его димотикистской программой. В этой работе Триандафилидис обобщает всю историю «языкового вопроса» с конца XIX в., считая, в частности, позицию, занимаемую Академией по отношению к литературному языку, нереалистической.

Большинство работ седьмого тома посвящено истории и состоянию в XX в. сложной и запутанной проблемы новогреческой орфографии. Это две ра-

боты с одинаковым названием «Наша орфография» (стр. 3—155, 1913 г., и стр. 331—392, 1948 г.), работы «Новогреческая орфография и противоречия г-на Скаяса»¹⁵ (стр. 156—166, 1919 г.), «Проблема нашей орфографии» (стр. 167—238, 1932 г.), отрывок из письма Триандафилидиса по вопросу о возможности применения латинского алфавита к новогреческому языку (стр. 324, 1934 г.), «Орфографическая проблема: αὐτό или ἄρτο»¹⁶ (стр. 325—330, 1943 г.) В работе «Академия и языковой вопрос» (стр. 239—323, 1933 г.) Триандафилидис рассматривает позицию Афинской Академии по отношению к литературному языку и, в частности, по отношению к новогреческой орфографии. Кроме того, в седьмом томе имеются работы «Об одном швейцарском женском лице» (стр. 395—406, 1912 г.) и «Иностранные языки и воспитание» (стр. 407—562, 1946 г.), в которой Триандафилидис излагает, в частности, свою программу развития национального греческого литературного языка в связи с общими проблемами изучения чужих и родного языков.

Восьмой том содержит небольшие работы (нередко публицистического характера) по самым разнообразным вопросам (в том числе и не лингвистическим). Из этих работ следует отметить работу «О психологии сторонников кафаревусы» (стр. 166—172, 1915 г.), написанную в связи с полемикой с Хадзидакисом работу «Наука и характер» (стр. 336—431, 1924 г.), две статьи о деятельности Учебной Ассоциации (стр. 3—10, 1916 г., и стр. 11—29, 1921 г.) и работу «Греки Америки» (стр. 65—144, 1952). В восьмом томе помещено также много рецензий на труды греческих и зарубежных лингвистов (в частности, на неоязыковедческие труды А. Тумба, Ю. Пэрно, А. Хайсенберга, П. Кречмера, Ф. Востандзоглу, П. Властоса, Р. М. Докинса, Г. Н. Хадзидакиса, А. А. Дзарданоса и др.), на произведения греческих писателей и на другие работы.

В качестве приложения к «Полному собранию» был издан том указателей.

Из работ, полностью или частично принадлежащих Триандафилидису и не вошедших в «Полное собрание», важнейшей является «Новогреческая грамматика (димотики)»¹⁷. Эту грамматику подготовил возглавленный Триандафилидисом комитет греческих лингвистов, учрежденный 14 декабря 1938 г. Она имеет громадное значение как первая

¹² И. Ф. Какридис (род. 1900 г.) — профессор Фессалоникского университета, филолог. Будучи убежденным димотикистом, он стремился провести смелую орфографическую реформу. За это он подвергся осуждению со стороны руководства Философского факультета Афинского университета.

¹³ Д. Вернардакис и К. Кондос — греческие филологи конца XIX в. Первый был умеренным димотикистом, второй — крайним кафаревусианином.

¹⁴ Я. Психарис (1854—1929) — писатель и лингвист, профессор Парижской Школы восточных языков, один из основателей французской неоязыковедческой школы. Он первым начал открытую борьбу за димотику как представитель крайнего димотикизма. А. Палис (1851—1938) — ученик Психариса, поэт, создатель нашумевших переводов Илиады и Нового Завета на димотику. Ф. Д. Фотиадидис (ум. в 1938 г.) — греческий филолог первой трети XX в.

¹⁵ А. Ская, греческий филолог конца XIX — начала XX в., выступивший против орфографической реформы, предложенной Учебной Ассоциацией.

¹⁶ Проблема заключается в выборе графического обозначения фонемы [v].

¹⁷ «Νεοελληνική Γραμματική (τῆς Δημοτικῆς)», ἐν Ἀθῆναις, 1941.

государственная стандартизация димотики. Для Триандафилидиса выпуск этой грамматики знаменовал вершину его деятельности как теоретика димотикизма, а сам факт ее выпуска в качестве государственной грамматики явился крупной победой димотикистов. Как стандартная грамматика она играет в высшей степени важную роль в истории греческого языка, начиная с 40-х годов XX в. Полагают, что морфологическая норма «Новогреческой грамматики (димотики)» ляжет в основу морфологии будущего единого новогреческого языка.

Грамматика эта, написанная по традиционной схеме, содержит очень подробное описание фонетики, орфографии, лексики, словопроизводства и морфологии димотики, краткую историю греческого языка, фонетическое введение, библиографию и указатель. В 1949 г. Триандафилидис выпустил сокращенный вариант этой грамматики¹⁸.

Наконец Триандафилидис — один или в соавторстве с другими — выпустил ряд книг в основанной им под названием

«Новогреческая библиотека» серии пособий для преподавания димотики в школах¹⁹.

Заканчивая этот краткий обзор, следует особо подчеркнуть, что результаты более чем пятидесятилетней научной деятельности Триандафилидиса имеют не историческое, а актуальное значение²⁰. Знание трудов Триандафилидиса представляется необходимым для каждого, кто занимается вопросами новогреческого языкознания. Необходимо знакомство с ними и балканистам. Наконец, большой интерес его работы представляют для тех, кто занимается типологией языковых ситуаций.

К. И. Логачев

¹⁸ Μ. Α. Τριανταφυλλίδης, Λεξιλογικές ασκήσεις, Ἀθήνα, 1947—1949 (пять выпусков); его же, Παροιμιακές φράσεις, Ἀθήνα, 1947 (два выпуска); Μ. Οἰκονόμος, Θ. Σταύρου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Ἡ γλώσσα μου, Ἀθήνα, 1955.

²⁰ Идеи Триандафилидиса продолжает и развивает сейчас Фессалоникская школа греческих языковедов, возглавляемая учеником Триандафилидиса профессором Н. П. Андриотисом.

¹⁸ «Μικρὴ Νεοελληνικὴ Γραμματικὴ», Ἀθήνα, 1949.

РЕЦЕНЗИИ

«Вопросы социальной лингвистики». — Л., изд-во «Наука», 1969. 418 стр.

Этот сборник статей, выпущенный Ленинградским Отделением Института языкознания АН СССР, представляет собой, как указано в предисловии, «первый результат двухлетних занятий группы „Язык и общество“» (стр. 4), организованной при отделении Института; авторы, принявшие в нем участие, — ученые Ленинграда, Саратова, Горького, Пензы, Душанбе, Харькова, Тбилиси. Книга стоит в ряду довольно многочисленных в последние годы работ, посвященных изучению условий функционирования языка и речи и связи языка и экстралингвистических факторов. Исследование этого круга проблем составляло, как известно, сильную сторону отечественного языкознания 1920—1930-х годов. Конечно, далеко не все то, что тогда казалось или считалось научной истиной или важным открытием (как, например, теория стадийного развития языка в более или менее близком соответствии со сменой общественных формаций, как бытовавшие в то время концепции происхождения языка, как многие попытки установления прямых воздействий на язык со стороны факторов социальной действительности и др.), прошло испытание временем: многое из этого было на самом деле плодом поспешных, а иногда — фантастических предположений или вульгаризацией верных исходных предпосылок. Но остались и подлинные достижения, которые сохраняют свою ценность и новаторское значение до сих пор; к их числу принадлежат в первую очередь работы о территориальной и социальной дифференциации языка (В. М. Жирмунский, Национальный язык и социальные диалекты, Л., 1936; статьи Б. А. Ларина о «языке города» конца 20 — начала 30-х годов; книга А. Иванова и Л. Якубинского «Очерки по языку», Л., 1934 и некот. др.) и взаимодействию языков. Именно с этими исследованиями более всего перекликаются современные труды по социальной лингвистике, продолжающие и развивающие их традиции в более широком масштабе.

Вообще можно констатировать, что сейчас область социальной лингвистики (или социологии языка) расширилась в соответствии с расширением всей сферы современного языкознания, обусловленным разработкой новых направлений и интенсивным применением точных методов. Об этом свидетельствует широкий диапазон проблематики, отраженной в рецензируемом сборнике. Наряду с работами на «классические» темы социологии языка (статья В. Д. Бондалетова «Социально-экономические предпосылки отмирания условно-профессиональных языков и основные закономерности этого процесса») в нем представлены и работы, посвященные изучению проблем на современном этапе и связанные с применением структурных методов (статья Н. Д. Андреева «Язык в обществе, использующем кибернетические машины» и Р. Г. Пшотровского «Экстралингвистические и внутриязыковые вопросы при переработке текста в системе „человек — машина — человек“»).

Что касается «классических» тем, то они выступают ныне в новом освещении, так как при их рассмотрении используется система уточненных понятий и принципов. Для авторов сборника характерно пристальное внимание к явлениям и процессам, связанным с социальной дифференциацией языка в его функционировании и отражающимся на его структуре. Б. Н. Головин в статье «Вопросы социальной дифференциации языка» различает семь «плоскостей» дифференциации функционирующего языка — от дифференциации по территории (диалекты) до дифференциации по авторам словесных произведений (индивидуальные стили); в этой классификации объединяются территориальный и социальный критерии при главенстве критерия функционального, объединяющего их.

Композиция сборника хорошо отражает разновидности современной социолингвистики. В нем четыре части. В первой («Общие вопросы») помещена статья В. М. Жирмунского «Марксизм и соци-

альная лингвистика», посвященная социальному аспекту истории языка и диалектологии. В статье содержится критический обзор отечественных и зарубежных работ (преимущественно с 1920-х годов и новейших) по этим проблемам и дается характеристика основных понятий (в частности, полудиалекта или городского диалекта как важной промежуточной ступени от деревенского говора к литературному языку). В этой же части помещены статьи Н. Д. Андреева и Р. Г. Пиотровского, относящиеся к сфере «футурологии».

Три статьи, входящие во вторую часть сборника, объединены темой «Взаимодействие языков». В. В. Акуленко строит свою статью «Вопросы изучения лексических интернационализмов и процессов их образования» на материале разнообразных языков целого ряда ареалов и анализирует в плане синхронии результаты контактов между ними. М. А. Бородина в статье «Влияние иноязычных систем на развитие языка» рассматривает четыре языка Швейцарии — немецкий, французский, итальянский и ретоманский, из которых последний служит объектом воздействия первых трех. Статья Г. А. Меновщикова «О некоторых социальных аспектах эволюции языка» посвящена во второй своей части изменениям в контактирующих языках (алеутским и русским), а в первой — более общей социолингвистической проблеме влияния на эволюцию языка социальных условий жизни данного общества (конкретно — отражению в лексике алеутского языка понятий, относящихся к материальному быту и географической обстановке).

Третья часть книги озаглавлена «Образование языковых единств». Она включает статьи Д. А. Ольдерогге «О некоторых этнолингвистических проблемах Африки», П. А. Баранникова «Хинди и урду: их возникновение, развитие и взаимодействие», Ю. В. Маретина «Особенности бахаса Индонезии как государственного языка Республики Индонезии» и Е. А. Реферовской «Французский язык в Канаде». Первые три статьи дают анализ чрезвычайно сложных процессов развития языков. В работе Д. А. Ольдерогге сложность этнолингвистической картины определяется и многочисленностью рассматриваемых языков — как разнородных, так и родственных в той или иной степени, и многообразием их связей с диалектами, разграничение с которыми далеко не всегда ясно, и принадлежностью их то племенн, то народности, и резко различными масштабами территориального распространения, и пестротой контактов и т. д. Достаточно сложную картину являет также история и современное состояние хинди и урду как двух языков, выполняющих для различных частей населения двух государств

(Индии и Пакистана) разные функции (см. стр. 180—181). Весьма специфично также положение государственного языка Индонезии в силу его взаимоотношений с множеством близкородственных языков и диалектов в районе Малайского архипелага. Этот язык выдвинулся на первое место, несмотря на то, что еще сравнительно недавно на нем говорило население весьма незначительной территории. Исследуя все эти случаи функционирования языков и контактов между ними, авторы статей отмечают для того или иного языка роль его структуры как фактора, облегчающего или затрудняющего его использование в определенной социально-исторической обстановке. Статья Е. А. Реферовской по характеру описанного в ней материала и связанных с ним проблем в некоторой мере примыкает к тематике второй части (взаимодействие языков), но также предвосхищает одну из тем четвертой части. В этой работе прослеживаются основные моменты развития французского языка в Канаде (в отрыве от коренного французского языка): сохранение ряда архаических элементов, контакты с языком туземного индейского населения, с английским языком, приобретение диалектных особенностей — все это нашло выражение на разных уровнях языковой структуры.

«Территориальные и социальные варианты языка» — таков круг вопросов, проходящих через девять статей последней и самой большой части книги. Географический охват явлений, исследуемых здесь, колеблется в пределах от континента (Г. В. Степанов «Социально-географическая дифференциация испанского языка Америки на уровне национальных вариантов») до совсем небольшой территории, занимаемой носителями одного из абазинских диалектов — тапантского (К. В. Ломтатидзе «К вопросу о звуковых соответствиях в речи мельчайшего языкового коллектива»). Исторический диапазон работ, помещенных в этой части, также широк — от классической древности (И. М. Тронский «О диалектной структуре греческого языка в раннем античном обществе») до современности, затрагиваемой в остальных статьях. Последние шесть статей основаны на материале русского языка, его диалектов и одного из арг. Не случаен интерес, проявленный несколькими авторами к разговорной речи — той форме функционирования языка, где связь с социальным фактором, с условиями общения выступает особенно отчетливо. Эту тему освещают статьи О. Б. Сиротининой «Разговорная речь (Определение понятия, основные проблемы)», представляющая собой опыт установления исходных категорий и классификации существенных признаков, статья Л. С. Ковтун, по своему содержанию более широкая, чем это

предполагается заглавием («О центрах изучения русской разговорной речи»), — она характеризует существенные лексико-семантические особенности современной живой речи, — и статья А. А. Никольского «О методике магнитофонной записи разговорной речи», которая представляет и социальный аспект, поскольку вопрос касается характера разнообразных ситуаций, когда может быть применена запись. Кроме того, тема разговорной речи неоднократно возникает в богатой обобщениями исторического порядка статье Л. И. Баранниковой «К проблеме социальной и структурной изменчивости диалекта», где факты диалектологии соотносятся с разговорной разновидностью литературного языка, и в называвшихся выше статьях Б. Н. Головина и В. Д. Бондалетова (последний, занимающийся «тайными условно-профессиональными языками», т. е. арготом, имеет в виду устную форму их бытования).

Этот по неизбежности краткий обзор подтверждает, прежде всего, широту лингвистической проблематики, связанной — и в плане диахронии и в плане синхронии — с социальными условиями существования языков. Самые формы связи языка с жизнью общества показаны — в соответствии с их сущностью — как чрезвычайно разветвленные и дифференцированные. Недаром М. А. Бородин, говоря о социальных факторах как внешних «по сравнению с внутренними закономерностями», вносит уточняющую оговорку, что они «в свою очередь могут быть внутренними и внешними» (стр. 89); под «внутренними» понимается так называемая «внешняя» история языка (т. е. «в основном влияние культурно-социального и политико-экономического развития данной страны», стр. 90), а под «внешними» — влияние других языков (случай адстрата, суперстрата и инстрата). Если спорны или не вполне неудачны здесь в силу своей двусмысленности термины «внутренние» и «внешние», то разграничение затрагиваемых понятий обосновано. Характерно, что воздействие социальных условий на язык (на элементы всех уровней его структуры) предстает в сборнике в высшей степени опосредованным, многоступенчатым. Какие-либо прямые констатации непосредственного влияния фактов экстралингвистического порядка на язык, кроме простейших случаев (например, контакта языков в результате контакта их носителей), отсутствуют.

Исследованиями охвачены все типы территориальных и социальных вариантов языка; за пределами классификации остаются индивидуальные авторские стили, учитываемые лишь Б. Н. Головиным. То, что авторы сосредоточили внимание на территориальных (национальных) и социальных вариантах языка, вполне закономерно, поскольку это позволяет со-

поставлять полученные данные на близких уровнях. Но несомненно также, что изучение индивидуальных стилей — художественных, публицистических, научных — как систем, испытывающих более непосредственное влияние идеологии, преломляющих и отражающих его, а вместе с тем участвующих в процессах развития литературного языка как целого, представляет большую ценность для социальной лингвистики. Широкое осуществление этой задачи именно как социолингвистической еще впереди.

Все положения, выдвигаемые авторами статей, строго и тщательно подкреплены языковыми фактами. Теоретические выводы (социо-лингвистического характера) выглядят иногда подчеркнуто скромно и сдержанно по сравнению с масштабами аргументации. Это, в частности, касается обеих «футурологических» статей, где вопрос о будущем языка ставится в связь с влиянием на него переработки текста в электронно-вычислительных машинах. Оба автора весьма осторожны в своих прогнозах, остаются в пределах предположений и не вдаются в уточняющие конкретные детали. Так, Р. Г. Пиотровский свою статью завершает короткой гипотетической формулировкой: «Можно ожидать, что функционирование базовых языков в системе „человек — машина — человек“ будет оказывать влияние на развитие и функционирование естественного языка. Вероятно, это воздействие будет выражаться в более строгой его нормализации, сокращении омонимии и многозначности, частичном устранении синонимии» (стр. 64). Несколько более категоричен, но тоже осторожен, Н. Д. Андреев, когда он говорит о роли языка-посредника для «ускорения конвергенции национальных языков (по крайней мере на уровне их научно-технического подязыка)» (стр. 38). Эта сдержанность и осмотрительность прогнозирования закономерна для современного состояния социальной лингвистики, которая внимательно учитывает всю сложность и многогранность языкового развития, не допускающую каких-либо прямых предсказаний.

С такой же обоснованной осторожностью относятся авторы других статей к этно-социологическим понятиям племенности, народности, национальности, когда речь идет о носителях языка либо диалекта в некоторых весьма специфических случаях языкового развития в странах Африки и Азии (работы Д. А. Ольдерогге и Ю. В. Маретина). В их исследованиях дана неупрощенная и неслегка упрощенная картина весьма сложной этнолингвистической обстановки в тех районах планеты, где путь развития языка в его связях с социальными процессами отличается существенными особенностями от пути, по которому он протекает в Европе или других районах Азии.

Почти в каждой статье — обширная библиографическая информация как по специальной социолингвистической проблеме, так и по исследуемому материалу. В ряде случаев даются экскурсы в историю вопроса, сжатые критические обзоры научной литературы, ее оценка. Это — реальная помощь будущим исследователям.

Элемент нового, полученный авторами, значителен. Он и в разработке фактов, и в теоретических положениях. Если тезис о роли социальных факторов языкового развития в общей своей форме вряд ли требует новых доказательств, то актуальной задачей остается дальнейшее выяснение и определение того, какими путями, при каких условиях, на каких уровнях языка и через какие посредствующие звенья осуществляется в тех или иных случаях воздействие социально-исторической среды на язык. Эту задачу — каждый на своем материале — решают авторы. Наиболее плодотворным и богато аргументированным выводом (в масштабе всего сборника) должен быть признан тот, что взаимодействие языков — результат контакта народов, как и развитие языка в отрыве от исконной территории его распространения, вызывает

изменения на всех уровнях структуры при различии в темпах этих изменений. Другим важным общетеоретическим результатом является уточнение тех закономерностей, какие обнаруживаются в соотношении между диалектами, с одной стороны, и, с другой, между диалектами (а также арго) и общенародным (литературным) языком на разных этапах общественного развития. В области проблемы функционально-социальной дифференциации языка углублено понятие специфики разговорной речи в ее соотношении с функциональными стилями и с общественными условиями.

Все это — ценные итоги. Они, хотя и не сформулированы вместе и не обобщены воедино, очевидны, как очевидно и единство сборника, обусловленное общностью интересов и устремлений авторов и цельностью его композиции. Это заслуга и редколлегии в составе чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкой, акад. В. М. Жирмунского, Л. С. Ковтун. Литература по социальной лингвистике обогатилась новым весьма ценным трудом, существенно продвигающим исследование всего круга затронутых вопросов.

А. В. Федоров

«Словарь синонимов русского языка (в двух томах)». I (А — Н). — Л., изд-во «Наука», 1970. 680 стр.

Синонимы привлекали внимание мыслителей и филологов еще с глубокой древности. Синонимические словари стали составлять очень давно (в Китае они известны с I в., в Индии — с XI—XII вв.). К настоящему времени существует большое количество словарей синонимов для многих языков мира (особенно многочисленных для французского и английского). Русскому языкознанию прошлого известны также в основном не доведенные до конца попытки составления словарей синонимов¹. Самыми последними являются «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой (выдержавший два издания: М., 1956 и М., 1961) и «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой (М., 1968).

Словари синонимов, особенно в начальный период их появления, обычно строились на интуитивно воспринятой общности значения, а не на твердой основе семантического характера (сами научные основы семасиологии, как отрасли языкознания, были заложены лишь в

конце XIX в.)². Последующие словари шли по линии как можно большего охвата лексики в рамках отдельных синонимических групп, сознательного расширения этих рамок, в результате чего все более размывались и так недостаточно четкие с теоретической точки зрения контуры явления синонимии в языке³.

² Счастливым исключением был словарь: B. Lafaye, Dictionnaire des synonymes de la langue française avec une introduction sur la théorie des synonymes, Paris, 1853.

³ А между тем одной из предпосылок определения синонимичности является, по Б. В. Горнунгу, следующая: «... синонимы должны составить замкнутый синонимический ряд, который для данного синхронного состояния языка в идею не может ни расширяться, ни сокращаться...» («О природе синонимии в языке и теоретических предпосылках составления синонимических словарей», ВЯ, 1965, 5, стр. 98). Ср.: С. Г. Березжан, Синонимические и несинонимические противопоставления семантически близких слов, «Известия на Института за български език», XV, София, 1967.

¹ См.: С. Ф. Геккер, Библиография по синонимике русского языка, сб. «Очерки по синонимике современного русского литературного языка», М.—Л., 1966 (раздел II, стр. 220—226).

Стремление включать все интуитивно воспринятые как близкие по значению слова в словари синонимов — фундаментальная ошибка современной синонимической практики, ибо составленные на такой основе словари перестают быть, по сути дела, словарями синонимов. Их синонимические ряды перерастают в ряды идеографические или тематические и таким образом появляется новый специальный тип словаря, образцом которого может служить французский аналогический словарь⁴ или польский словарь близких по значению слов⁵.

И вот теперь коллектив Словарного сектора Института русского языка АН СССР под общим руководством А. П. Евгеньевой выпустил первый в истории русской филологии капитальный труд — «Словарь синонимов русского языка» (далее — ССРЯ)⁶.

ССРЯ отличается от всех отечественных и зарубежных словарей синонимов обширностью предлагаемой информации, подробным лингвистическим описанием языковых особенностей членов каждой приводимой группы синонимов. Это особый тип, так сказать, «дескриптивного» словаря. Составители ССРЯ проделали колоссальную по объему работу, сопоставляя смысловые структуры многих десятков тысяч полисемичных слов (с тем, чтобы обнаружить совпадение отдельных элементов их значений) по существующим толковым словарям, проверяя их сочетаемость и частотность по картотеке Словарного сектора ИРЯ АН

СССР и отбирая по этой же картотеке наиболее подходящие иллюстрации к каждому отдельному члену синонимических групп.

Остановимся на исходных теоретических установках, лежащих в основе ССРЯ. Подробное изложение основной концепции словаря и принципов его построения дано во вступительных частях ССРЯ: во «Введении» (стр. 5—14) и в статье «Построение словаря» (стр. 15—19), написанных А. П. Евгеньевой. Основное достоинство ССРЯ включает в себя, как это ни парадоксально, и принципиальный, на наш взгляд, недостаток работы в целом.

Традиционный критерий семантической близости оказался, как показал опыт многих словарей синонимов, недостаточно надежной основой синонимичности, ибо на этой основе беспрдельно раздвигались рамки синонимии, и коллектив авторов ССРЯ встал на другие позиции. Если большинство предшествующих словарей синонимов шло по направлению объединения в одну синонимическую группу как можно большего количества воспринимаемых как близких по смыслу слов, то ССРЯ ломает эту традицию, он идет в обратную сторону, в сторону дробления многочисленных рядов семантически близких слов на более тесно спаянные по смыслу подгруппы. Эта ориентация представляет собой коренное достоинство словаря, его новаторский вклад в теорию и практику синонимии. Но, проявив стремление к сужению рамок синонимии, составители ССРЯ не решились идти дальше и полностью отказаться от критерия «близости» значения. Они ограничились внесением ясности в понимание этой «близости», предлагая считать близкими по смыслу «только те слова, которые употребляются для обозначения одного и того же понятия» (стр. 10), и тем самым остановились на полпути. ССРЯ основывается на том, что синонимы — это «слова близкого, смежного, почти одного значения». Неоднократно подчеркивается, что такие слова являются предельно близкими, но что «именно различия между синонимами и обуславливают их жизнь в языке» (стр. 9).

Последний тезис бесспорно верен; между синонимами имеются, как правило, существенные различия (точнее, противопоставления), но, не отделив смысловую близость от смыслового тождества, нельзя по-настоящему вникнуть в суть складывающихся между лексическими единицами языка взаимоотношений на семантическом уровне. Тождественность и близость представляют собой разные языковые явления, предполагающие и различные отношения между соответствующими единицами: в первом случае между ними устанавливаются парадигматические отношения (противопостав-

⁴ Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les idées, des idées par les mots d'après les principes de P. Boissière. Rédigé sur un plan nouveau par M. Charles Maquet, agrégé de grammaire, Paris, 1936.

⁵ «Słownik wyrazów blizkoznacznych», pod red. St. Skorupki, Warszawa, 1957.

⁶ Главный редактор А. П. Евгеньева. Редакторы тома: А. П. Евгеньева (А — З), В. В. Розанова (И — Н). Составители: Л. П. Алекторова, С. Л. Баженова, Г. П. Галаванова, И. Л. Городецкая, Е. А. Иванникова, З. Т. Короткевич, Т. Н. Поповцева, Г. А. Разумникова, В. В. Розанова, М. Н. Судоплатова, В. А. Тихомирова, Т. А. Фоменко, В. Н. Цыганова. Помощники редакторов: С. Ф. Геккер (А — З), Т. А. Фоменко (И — Н). После предварительной обработки имеющихся материалов и составления проекта словаря (А. П. Евгеньева, Проект словаря синонимов, М., 1964) в апреле 1964 г. в Москве был создан специальный симпозиум для обсуждения этого проекта, а также основных теоретических проблем синонимии (его материалы опубликованы в сб.: «Лексическая синонимия», М., 1967).

ления) только стилистического порядка, во втором — семантического (устанавливающиеся при этом и стилистические противопоставления играют подчиненную роль). В основе установления соответствующих единиц лежат разные критерии: для тождественных единиц — это полное совпадение по смыслу, а для близких — это пересечение или вложение смыслов друг в друга (на уровне семем или элементарных значений). Рассматривать и представлять эти единицы следует отдельно. В противном случае в одну и ту же синонимическую группу попадают, с одной стороны, семантически тождественные элементы, а с другой, элементы, близкие по значению.

Случаев такого рода немало в ССРЯ. Например, группа *Бестолковый, несообразительный, непонятливый, недогадливый, тупой, глупый, безмозглый* (стр. 64) явно охватывает две подгруппы тождественных между собой элементов, которые по отношению одна к другой являются семантически близкими. Ведь если первые четыре единицы действительно означают «лишенный понятливости, сообразительности», то последние три означают «крайне несообразительный, непонятливый», даже «неспособный соображать». Непонятным остается при этом, почему в ту же группу не были влиты не менее близкие по значению члены других рядов: *Глупый, неумный, недалекий, безголовый, пустоголовый, безмозглый* (стр. 234), *Неразумный, несмышленый, дурацкий* (стр. 657), *Нелепый, несообразный, несуразный* (б) (стр. 641), *Ограниченный, тупой* (ссылка на этот ряд дана в статье *Глупый*, стр. 235). Что дает основание считать, что *тупой, глупый и безмозглый* ближе к *бестолковому, чем, скажем, неразумный, безголовый или ограниченный*, которые выведены из данного ряда? И что послужило поводом для отнесения последних трех к трем самостоятельным рядам? Едва ли можно будет избежать субъективности и прибегая к помощи понятий. На наш, тоже субъективный взгляд, *неразумный* или *безголовый* гораздо меньше отличаются от слова *бестолковый* (они, по-видимому, выражают одно и то же понятие), чем *жрать, лопать, трескать* от *есть, кушать*, ибо последние два означают просто «принимать пищу», а первые три имеют значение «есть много и с жадностью» (по нашему мнению, они выражают разные понятия). Тем не менее эти элементы фигурируют в словаре в одной синонимической группе (стр. 323). Группы *Красный, алый, пунцовый, кровавый, рубиновый* (стр. 490) и *Багровый, багряный, пурпурный, кровавый* (стр. 35) различаются между собой только степенью признака (также как *тупой, глупый, безмозглый* от остальных членов группы *Бестолковый*). А степень признака относится, согласно исходным установкам (стр. 10), к различиям,

не нарушающим синонимичность. О «предельной близости» этих двух рядов говорит и то, что у них имеется общий член: *кровавый*, выражающий основной признак «окраска крови» (понятие цвета, значит, в обоих рядах одно и то же). Критерий единства или различия понятия не дает, как видно, достаточных оснований для однозначного решения вопроса. К таким противоречивым решениям приводит нерасчлененность семантических явлений тождества и близости (омосемии и парасемии), которые находятся не в родо-видовых отношениях (принять считать, что тождество — это частный случай близости), а являются гомогенными разновидностями смысловых отношений между языковыми знаками: каждое из них имеет собственное основание.

По нашему мнению, исходной ячейкой словаря синонимов должна быть группа тождественных в семантическом отношении слов (по линии, конечно, отдельных своих значений.) При этом значительное количество признанных синонимическими групп распалось бы на два, а то и на три ряда с тождественными элементами. Члены этих рядов противопоставлялись бы друг другу только по сферам употребления, по стилистическим особенностям (эмоциональным, экспрессивным) и по сочетаемости. Не было бы нужды тратить столько сил и времени для определения так! называемых «оттенков значения» (которые, кстати, никем однозначно не определены⁷). Для каждого близкого по смыслу, но самостоятельного ряда было бы сформулировано соответствующее толкование значения, а на близость (вернее, родственность) отдельных рядов было бы указано ссылками (так, как это и делается в словаре). Такая группа, скажем, как *Есть, кушать, жрать, лопать, трескать*, распалась бы на два четко разграниченных ряда (с соответствующими комментариями и иллюстрациями): *Есть, кушать*. Принимать пищу. Ср.: *жрать. Жрать, лопать, трескать*. Есть много и с жадностью. Ср.: *есть*. Следует заметить, однако, что перераспределение материала словаря на одни тождества далеко не во всех случаях легко осуществимо. Оно требует еще очень большой работы и является поэтому делом будущего.

⁷ На этом основании мы предлагали отказать от понятия «оттенок значения» (С. Г. Бережан, К семасиологической интерпретации явления синонимии, сб. «Лексическая синонимия», М., 1967, стр. 53). К тому же выводу, что «понятие оттенка оказывается излишним» и что «все существенные вопросы теории лексических синонимов можно обсуждать и без обращения к понятию оттенка значения», пришел и Ю. Д. Апресян (Ю. Д. Апресян, Синонимия и синонимы,

Одной из наиболее важных положительных сторон ССРЯ является регулярный учет при подаче синонимических единиц их семантического объема, т. е. многозначности, которая либо совсем не учитывалась в прежних словарях синонимов (см., например, словарь В. Н. Ключевой), либо представлялась весьма условно, без надлежащей строгости. В ССРЯ синонимические группы каждого значения многозначного слова поданы раздельно, в особых статьях, пронумерованных арабскими цифрами (наподобие тому, как подаются омонимы). Такая подача намного удачнее, на наш взгляд, чем разбрасывание синонимов по значениям полисемичного слова внутри одной статьи (как, скажем, в словаре З. Е. Александровой и во многих других словарях), ибо читателю отчетливее представляется весь синонимический блок⁸ многозначного слова с точным указанием количества включающихся в него рядов. Это важно потому, что в явной форме выступает коэффициент многозначности каждой единицы, обуславливающий степень ее двусмысленности в речи⁹. К сожалению, однако, не обеспечивается полный охват информации данного рода: она налицо только у той части слов, которая выступает в качестве опорного элемента. Что касается слов, находящихся внутри разных рядов и никогда не выступающих в качестве основных, то образуемые ими синонимические блоки остаются скрытыми. Например, слово *непристойный* входит в три разных синонимических ряда (при слове *бесстыдный* и дважды при слове *неприличный*). Значит, оно само образует трехрядный блок:

<i>непристойный</i>	— <i>неприличный</i> «противоречащий правилам приличия»
	— <i>неприличный, нецензурный, похабный</i> «недопустимый с этической точки зрения»
	— <i>бесстыдный, циничный</i> «проявляющий грубую откровенность»

Однако этот блок в словаре не фигурирует. Данный пробел предполагается восполнить с помощью «Словозаказателя», помещенного в конце второго тома, в котором будут даны все слова с указанием на содержащиеся их группы.

В этой связи необходимо отметить еще одно обстоятельство. Признание того факта, что многозначное слово может входить одновременно в несколько синонимических групп (по линии разных своих значений), в корне противоречит исходному допущению о смысловой близости слов-синонимов. Ведь самыми «близкими» в смысловом отношении являются

ся, естественно, именно разные значения одного слова. Они же отнесены в словаре к различным синонимическим группам (как обозначающие разные, но смежные понятия). В то же время в качестве синонимов к разным значениям того же слова принимаются другие слова, тоже близкие по значению. Таким образом, уходя от близости на одном уровне, словарь приходит к ней на другом. Один пример. Различные значения глагола *бросать* распределены в пять самостоятельных синонимических групп (стр. 95—97), причем *бросать* одной группы отличается от *бросать* другой группы иногда только сочетаемостью (ср. *бросать слова, бросать взгляд, бросать тень*). В то же время в качестве синонимов к первому значению этого глагола, помимо тождественных по смыслу (т. е. действительно синонимичных) *кидать* и *швырять*, приводятся семантически близкие (только вкладывающиеся по смыслу) слова *метать, пускать, запустить*, составляющие особую группу. Ясно, что коль скоро считается несинонимической очевидная близость разных значений многозначных слов, то тем более закономерно было бы придерживаться того же принципа и в отношении различных единиц.

Важным достижением ССРЯ является широкая подача сведений, касающихся внутрисистемных отношений между установленными синонимами. Имеется в виду информация относительно парадигматических (функциональных и стилистических) и синтагматических (сводящихся к разным типам сочетаемости) свойств членов выделенных синонимических

групп.

Сведения о парадигматических свойствах синонимов даны в легенде словарной статьи. Здесь можно обнаружить весьма подробные (или дающиеся посредством помет) характеристики сфер употребления, эмоционального или экспрессивного содержания синонимов, а также их частотности в речи. Отметим, например, словарные статьи *Бегемот, гиппопотам; Взвешивать, весить, вешать; Гармония, созвучие, строй, согласие; Любимец, любимчик, фаворит; Младший, меньший* (разг.), *меньшой* (прост.); *Наряд, разнарядка* (спец.). Можно было бы, конечно, упорядочить как пометы, так и сведения, указанные в легендах, в более строгую систему основных парадигматических противопоставлений (по сфере употребления, по частотности, по экспрессивности и т. д.) с соответствующими символическими обозначениями. Это осмыслило бы составителей от необходимости

⁸ См.: С. Г. Бережан, Совпадение отдельных элементов смысловой структуры слов как основа синонимичности, ИАН ОЛЯ, 1967, 3, стр. 258.

⁹ Ср.: E. Vasilîu, Elemente de teorie semantică a limbilor naturale, [Bucureşti], 1970, стр. 251.

давать каждый раз аналогичные текстовые комментарии в разных формулировках, что придало бы словарю большую стройность и значительно сократило бы его объем.

Сведения о синтагматических свойствах поданы также отчасти в легендах, отчасти в виде специальных помет. Они относятся к особенностям лексической сочетаемости тех или иных (или всех) членов синонимической группы, а также к некоторым сторонам их синтаксической и семантической сочетаемости (ср. статьи *Бездушный, черствый, холодный; исходить* (из чего), *отправляться* (от чего); *бедный, нищенский, небогатый, убогий, скудный* и др.).

Несомненным достоинством ССРЯ является и то, что он характеризует единицы, относящиеся к лексико-семантической системе «современного литературного языка, живой общенациональной разговорной речи» (стр. 7). В соответствии с этой концепцией архаические, областные, жаргонные и узкоспециальные (профессиональные, терминологические) элементы, даже тождественные по значению со словами общенародного распространения, синонимами не считаются. Это полностью теоретически оправдано, если иметь в виду, что синонимические группы — это лексические микроструктуры, элементы которых взаимообусловлены и взаимодействуют в одной действующей на данном синхронном срезе системе как функциональные единицы, противопоставляющиеся по различным параметрам. Исследование смыслового совпадения лексических единиц во времени (в системах, свойственных различным хронологическим срезам) и в пространстве (в одновременно существующих, но различных системах одного национального языка) не касается механизма функционирования совокупностей этих единиц в речи — оно производится в целях познания исторического развития смыслового содержания слов, лексической дифференциации диалектов, в интересах перевода и т. д. Эти два плана нельзя совмещать в одном исследовании. ССРЯ содержит (в качестве справочного материала) очень много примечаний исторического или диалектологического характера, но они приводятся в конце статьи под знаком * *нонпарелью*.

ССРЯ ценен и тем, что в нем отражены основные особенности синонимию русского языка в отличие от других языков. В частности, следует обратить внимание на наличие в словаре, с одной стороны, многочисленных групп однокоренных синонимов с разными аффиксами одного значения (*закал, закалка, закаливание; снеговой, снежный; немолчный, безумолчный; умолкнуть, смолкнуть, замолкнуть*), а с другой стороны, одноаффиксных (преимущественно одноприставочных) единиц, которые не повторяют

синонимические отношения непроемных элементов (*вывернуть, вывинтить, выкрутить; зажить, закрыться, затянута, зарости, зарубцеваться; бессознательный, безотчетный*). Это объясняется богатством и подвижностью словообразовательных морфем в русском языке, что составляет один из наиболее продуктивных источников синонимию данного языка.

В конце многих словарных статей приводятся антонимические единицы (ср. *Большой* — *Антоним: Здоровый*), ряды производных слов, состоящих из того же количества элементов (*грязь, слякоть — грязный, слякотный; жмурить, щурить — жмуриться, щуриться*), даются ссылки на другие близкие или смежные ряды (*гибель* — ср. *смерть*). Последние лучше было бы использовать еще более последовательно и отсылать также и к группам, образованным на базе другого значения того же слова; например, если дается: 1. *Большой* ... — ср. *Громадный*; 2. *Большой* ... — ср. *Громадный*, то закономерными должны быть и ссылки: 1. *Большой* ... — ср. 2. *Большой*; 2. *Большой* ... — ср. 1. *Большой*). Отсылка см. призвана пополнять сведения о составе синонимического блока заглавного слова теми его рядами, в которых оно не выступает основным. Но поскольку эти сведения содержатся в «Словуказателе», то эту ссылку можно было не употреблять.

Кроме указанных уже непоследовательностей общего характера, в работе имеются и некоторые более мелкие неудобства, на которых однако нет нужды останавливаться особо, так как они не представляют собой принципиальных промахов и неизбежны в трудах таких размеров. В целом же принятые в ССРЯ принципы выдерживаются четко и последовательно на всем протяжении работы — а ведь речь идет по сути дела о сплошном охвате лексических единиц современного русского языка; весь корпус словаря подвергся самой тщательной унификации.

ССРЯ — плод долголетнего упорного труда группы наиболее компетентных в данной области лексикологов-русистов. Этот незаурядный труд синтезирует теоретические достижения советского и зарубежного языкознания и применяет их к огромному фактическому материалу сквозь призму целостной в своей основе концепции. Словарь открывает широкие перспективы для применения в дальнейшей синонимической лексикографической практике новых идей, касающихся основ явлений смыслового совпадения и смысловой близости. Практическая его ценность огромна: в нем выдерживается принятая основа синонимичности, учитывается семантический объем сопоставляемых словарных единиц, фиксируются внутрисинонимические взаимозависимости (парадигматического и синтагма-

тического планов). Значение академического «Словаря синонимов русского языка (в двух томах)» выходит поэтому далеко за рамки русской лексикографии и лексикологии. Это несомненный вклад в общую лексикологию, в ту ее область, где по сути дела еще никогда не было единства мнений и общепризнанной теории.

СССРЯ безукоризненно выполнен технически и полиграфически. Удачно

скомбинированные шрифты (корпус, петит, полпирель) и использованные способы выделения (полужирным, курсивом и в разрядку), а также внутренняя организация словарной статьи предельно ясно передают современными средствами печати все намерения составителей и редакторов.

С. Г. Бережан

С. И. Котков. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII ввек. — М., изд-во «Наука», 1970. 318 стр.

После завершения обобщающего труда по истории фонетической и морфологической систем южнорусского наречия XVII в. («Южновеликорусское наречие в XVII столетии. Фонетика и морфология», М., 1963) С. И. Котков закономерно обращается к лексике тех же южнорусских говоров.

Фундаментальное исследование С. И. Коткова открывается «Введением» (стр. 5—16). Автор показывает научную значимость изучения южновеликорусского наречия для построения «вполне обоснованной истории русского языка национального периода» и справедливо указывает на причину, вызвавшую явную недооценку южновеликорусских данных и ограничение вследствие этого «базы исследования истории русского языка исключительно кругом северно- и средневеликорусских памятников» (стр. 6). Причина эта заключается в некорректном принятии большинством лингвистов ошибочного представления историков о южновеликорусской степи XIV—XVI вв. «как области полного запустения, вызванного татаро-монгольской опасностью» (стр. 6).

Южновеликорусские сведения XVI—XVIII вв. незаменимы при исследовании истории южного наречия, его участия и роли в образовании русского национального языка, они необходимы для более точной характеристики диалектных зон русского языка в их прошлом и современном состоянии. Особенно важны южновеликорусские памятники для выяснения исторического взаимодействия между тремя восточнославянскими языками (русским, украинским, белорусским), так как они написаны на территории, бывшей, во-первых, колыбелью их общего основания — древнерусского языка до XIV в., во-вторых, зоной наиболее активных и длительных контактов русского языка с украинским и белорусскими языками, а через них и с другими славянскими языками. Кроме того, юж-

норусское наречие, соприкасаясь с тюркскими языками, могло служить мостом, по которому тюркизмы попадали в общерусский (литературный) язык.

Основным источником для изучения словарного состава южновеликорусского наречия для автора служат материалы старой русской письменности XVI—XVIII вв. южновеликорусского происхождения: челобитные (индивидуальные и коллективные), сказки (показания местных людей по различным вопросам), воеводские отписки, описи, купчие записи, отказные книги, книги таможенных и явочные, писцовые книги городов, уездов, книги бортных ухажий, «грамотки» (письма приказчиков, сельских старост, выборных крестьян), расходные, приходные, ужинные и умолотные книги старост и целовальников, а также духовные завещания, рядовые, меновые, раздельные и другие записи. Автор привлекает и памятники неюжновеликорусского происхождения, поскольку только на фоне лексики всего русского языка той поры и можно составить представление о лексике южновеликорусской области. Данные, извлекаемые из памятников письменности, в доступных пределах сопоставляются с показаниями современных говоров, особенно южновеликорусских, а также с лексикой произведений писателей-реалистов, «жизнь и творчество которых связаны с южновеликорусской областью» — И. С. Тургенева, И. С. Никитина, Н. С. Лескова, А. И. Левитова, А. И. Эртеля, А. И. Бунина и др.

Название и замысел работы определил круг исследуемой лексики. «В круг исследуемой лексики включаются и локальные элементы и элементы общерусского значения» (стр. 7).

В пределах специфически южнорусского словаря С. И. Котков выделяет три типа диалектизмов: 1) собственно диалектизмы — слова, бывшие некогда общерусскими, но затем утратившиеся в север-

новеликорусском наречии и среднерусских говорах и задержавшиеся только в южнорусском наречии (слова-историзмы); 2) диалектизмы-заимствования — слова, попавшие в южновеликорусские говоры (и не распространившиеся за их пределы) из других славянских и неславянских языков; 3) диалектизмы-локализмы — слова, которые появились в южновеликорусской зоне как отражение специфически южных природно-климатических или исторических условий.

Включение в сферу анализа, помимо собственно южновеликорусской, также лексики общерусской, в частности, лексических элементов, которые свидетельствуют об исторической общности или связях южновеликорусского наречия с другими восточнославянскими образованиями — языками и диалектами» (стр. 7), вполне оправдано. Это отвечает требованию системного подхода к языку. Кроме того, диалектизмы южновеликорусского ареала распространения чаще всего являются величиной не данной, а искомой. Поэтому при отборе материала для анализа необходимо учитывать как бесспорно собственно южновеликорусские факты, так и лексические элементы, отнесение которых к данному наречию (в современном или историческом его понимании) еще требует доказательств или, напротив, нуждается в опровержении. Хотя идеальным было бы сопоставление (конфронтация) всего лексического материала памятников южновеликорусской письменности XVI—XVIII вв. с соответствующими лексическими данными других (неюжновеликорусских) территорий русского языка, с выделением сначала общего для них словарного фонда, а затем лексико-семантических «наречных» добавок и определением недостающих (по сравнению с противоположным наречием) элементов, однако на данном этапе развития исторической лексикологии это не выполнимо. «Пока не имеется обобщающих исследований южно- и северновеликорусской лексики, нет южно- и северновеликорусских словарей, мы не можем ставить перед собой задачи сравнения того и другого наречий в широком лексическом плане и, естественно, сосредоточиваем в основном внимание на том, что представлено в старой южновеликорусской письменности, а не на том, чего в ней нет по сравнению с северновеликорусским словарем», — пишет С. И. Котков (стр. 8).

Обширный круг обследованных источников (рукописных, печатных), впервые вводимых исследователем в научный оборот, дал С. И. Коткову обильнейший лексический материал по самым разнообразным сферам жизни и деятельности человека. В целях удобства изложения С. И. Котков отбирает наиболее интересный материал (нуждающийся в первоочередном рассмотрении), располагая его

по лексико-тематическим группам. Всего им рассмотрено восемь групп (каждой посвящен самостоятельный раздел): лексика, связанная с полеводством и сенокосением, садоводством и огородничеством; названия животных; названия строений; названия одежды и обуви; термины родства; названия людей по ремеслу или занятиям; прозвищные наименования людей; глагольные обозначения некоторых действий и состояний. При характеристике слов каждой группы учитываются факторы как «внешней истории слов» (история реалей, взаимодействие южновеликорусского наречия с остальными говорами русского языка, контакты со славянскими и неславянскими народами и т. п.), так и их «внутренняя история» (системные связи с другими словами, эволюция значений, стилистические сдвиги и под.).

Все тематические разделы читаются с большим интересом. Помимо собственно лексического материала (какие слова были в ходу на Юге 200—400 лет тому назад, что сеяли южновеликорусские крестьяне, что выращивали в огороде, какие животные были в хозяйстве, на каких зверей охотились в степях и лесах, как называли помещение для человека, части дома, постройки для животных, хозяйственного инвентаря, какие виды одежды и обуви носили в то время, какими ремеслами занимались, наконец, какими прозвищами — именами и фамилиями — называли друг друга и т. д. и т. п.), книга содержит весьма ценную информацию по истории края, по этнографии, устному народному творчеству, топонимии, а также по истории отдельных слов, их этимологии, словообразовательным, акцентологическим и стилистическим особенностям.

Так, например, из первого («сельскохозяйственного») тематического раздела узнаем, что в основе южновеликорусского полеводства лежал трехпольный севооборот, что сельскохозяйственными культурами были *рожь, пшеница, полба* (разновидность пшеницы), *овес, ячмень, просо, греча (гречиха), горох, лен, конопля*, а также (в XVIII в.) *кукуруза*, что для обозначения конопли было два варианта: *конопли* (он преобладал на западе южновеликорусского края) и *конопи* (в восточной части), что тот и другой варианты слова употреблялись почти исключительно во множественном числе, что в XVI—XVIII вв. на Юге пахали в основном *созой* (редкие упоминания о плуге идут с северной и южной периферии — из Новосила и Чугуева), что бороновали (*скородили*) землю *скородой*, хлеба *жали* (не косили!) *серпами*, снопы вязали *связлом* (травяным жгутом), сжатый хлеб исчисляли *копнами* (*копами*), в которых было по 52 снопа, что на гумнах ставились *одонья* и *скирды*, перед обмолотом хлеб сушили в *овинах*, обмолоченный хлеб

хранили в *житницах* (*житнях*), что время полевых работ, в особенности жатвы, называлось *рабочей порой*, что слово *целина* внесено в литературный язык южнорусской стихией.

Весь анализ лексики, проведенный С. И. Котковым, можно назвать в ином, как переоценкой ценностей. Ни одно из ранее высказанных мнений не оставляется без внимания: оно либо подкрепляется дополнительными аргументами (обычно лингвистического, но нередко и историко-культурного порядка), либо опровергается как несостоятельное. Так, автор довольно часто указывает на неточности или неполноту в толковании значений слов в «Толковом словаре» В. И. Даля (см., например, о словах *хоботье* и *мякина* на стр. 50, о словах *рабочая* и *рабочая пора* на стр. 50—51 и др.). Он указывает на неправильно-сти (вызванные слабым знанием южновеликорусских фактов) в объяснении причин появления тех или иных форм слов (например, форма множественного числа у существительных *ржи*, *овсы*, *сена* на стр. 75, а также *зелена* на стр. 78—80).

Не меньший интерес представляют и «попутные» замечания, например, о рязанском происхождении автора «Задонщины» — на основании слова *ковыля* (стр. 61), о текстологических новшествах в былине «Три года Добрынюшка стольничал» (стр. 95) и др.

Однако особенно систематичны опровержения С. И. Коткова ошибочных мнений о южновеликорусской или, напротив, о северновеликорусской прикреплённости тех или иных слов. «Известная в научной литературе трактовка противоположений *изба — хата*, *волк — бирюк*, *конь — лошадь*, *сарафан — паньева*, *лонской — прошлогодний* и некоторых других как северо- и южновеликорусских в историческом отношении представляется несостоятельной» (стр. 291). Это заявление подтверждено большим и разнообразным фактическим материалом (из памятников письменности XVI—XVIII вв., новыми данными диалектологических атласов, примерами из художественных текстов реалистического характера). Указывается, что «в исследованных южновеликорусских материалах вплоть до середины XVIII в. нам не удалось встретить ни одного употребления слова *хата* в южновеликорусской среде» (стр. 135), что «слово *хата* проникло в южновеликорусские говоры не частью, а полностью извне» (стр. 135), что «название *волк* не только на Севере, но и в южновеликорусской области было общеупотребительным» (стр. 128), что актуальность в XVII—XVIII вв. на Юге образований от слова *конь* не согласуется с отнесением его исключительно к Северу (стр. 93), что «*сарафан* бытовало и на Юге, в заведомо южновеликорусской среде» (стр. 150), что «глагол

бросать известен был и южновеликорусам...» (стр. 287). См. также материал на слова *пожня* (стр. 64, 65), *лонись*, *лонской* (стр. 97, 98), *вешка* (стр. 133), *тын* (стр. 144) и др., а также общий вывод о данной группе слов: «Исторически необоснованным является отнесение слов *пожня*, *овин*, *вешка*, *бросать* и некоторых других в генетическом плане непременно к Северу» (стр. 291). Применительно к исследуемой эпохе С. И. Котков доказывает также общерусский (а не только южновеликорусский) характер бытования и таких слов, как *зипун*, *кафтан*, *кушак*, *через* и др.

Привлекает внимание ономастический (точнее антропонимический) раздел книги. Автор показывает довольно широкий репертуар «прозвищных» имен, выражаемых именами существительными: *Белый*, *Бессон*, *Волохита*, *Гуляй*, *Дружина*, *Ждан*, *Истомка*, *Кубышка*, *Нехорошко*, *Томила*, *Третьяк*, *Утеш*, *Чужим*, *Ярыга* и др. Еще более широким был репертуар прозвищ-прилагательных: *Безбожий*, *Безбородый*, *Носатый*, *Щербатый*, *Чалый* и под. (в работе их приведено свыше 80).

Однако приходится пожалеть о том, что ономастический раздел посвящен не всей антропонимической системе, а лишь ее отдельному участку [в стороне оставлены, в частности, личные имена, усвоенные русскими с христианством (*Иван*, *Сава* и т. п.), а также производные от них отчества и фамилии (*Иванов*, *Савин* и т. п.)] — стр. 243]. Очерковый характер книги, естественно, повлек за собою неразвернутость и недостаточно полную проработанность материала и по другим разделам книги.

Поскольку «Очерки» С. И. Коткова — первый солидный труд по лексике южновеликорусского наречия в целом, то весьма желательно было бы поместить в нем карту южновеликорусской области с указанием на ней пунктов, откуда идут исследуемые памятники письменности. Не помешал бы и алфавитный перечень этих пунктов (городов, селений).

В работе материал XVI—XVIII вв. соотносен с южнорусскими данными нашего времени. Хотелось бы в связи с этим знать, заметны ли были на материале лексики в исследуемый период современные группы южного наречия или все диалектные различия южновеликорусского массива касались лишь его восточной и западной зон.

Наконец, сделаем несколько частных замечаний. В содержательном этюде о слове *зель* «карман, мошна; сумка, котомка; карман-лакомка» автору все же не удалось показать широкого распространения *зель* на Юге, где, по его мнению, могло произойти заимствование этого тюркизма русскими. Пути проникновения данного слова в русский язык и более широкое его бытование на Севере

все еще остаются загадкой. При дальнейшем выяснении вопроса следует учитывать и такие факты, как: 1) наличие слова *зепь*, *зеп* «карман» в ряде финно-угорских языков, ср. мордов. (эрзянск. и мокшанск.) *зепе*, коми *зеп* «карман» и др.; 2) наличие слова *зепь*, *зеть* «карман» в некоторых русских условных языках (арго), расположенных также в северных областях (например, в «жгонском» языке костромских шерстобитов).

На стр. 44 говорится о развитии в слове *добре* «противоположного значения» в сопоставлении с семантикой прилагательного *добрый* и приводится пример-иллюстрация: «Все хлеба-то *добре* поскохли» (Левитов). Нам кажется, что в таком контексте *добре* имеет наречное значение «очень, сильно». Об этом же сказано у Даля.

Рассматривая прозвищное имя *Булгак*, автор приводит объяснение слова *булгак*, данное А. М. Селищевым: «беспокойный, суматошный человек». Целе-

сообразно было бы усилить «статью» на *булгак* дополнительными примерами однокоренных слов, например, из словаря Даля: *булга* смб. склока, тревога, суета, беспокойство. *Булгачить*, *булгачить* твр., пен., влд. тревожить, беспокоить, будоражить, полошнить, баламутить... *Булгачник* м. -ница, *булагать* м. кто булгачит, суматошит».

Язык и стиль «Очерков» точный. Хорошо воспроизведены тексты памятников. Большую ценность представляет «Указатель», в котором приведено свыше 1800 слов, впервые извлеченных из памятников южновеликорусской письменности (большая часть слов подвергнута анализу в «Очерках»).

«Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков», несомненно, послужат образцом для исследователей истории словарного состава русского народного языка.

В. Д. Бондалетов

В. С. Перебийнис. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. — Київ, «Наукова думка», 1970. 272 стр.

Монография В. И. Перебийнис «Количественные и качественные характеристики системы фонем современного украинского литературного языка» — первое в украинистике и, пожалуй, единственное для славянских языков фундаментальное исследование фонологической системы, объединяющее парадигматический и синтагматический аспекты, системные и количественные характеристики и базирующееся на обширном словарном и текстовом материале. Автор не предлагает оригинальной фонологической концепции (что, впрочем, положительно), задача сводится к опробованию различных известных методов фонологического описания на исчерпывающем материале одного языка. Тем не менее, эта работа оказывается весьма значительной и в теоретическом отношении — не только благодаря тщательной теоретической и методической разработке отдельных частных вопросов украинской фонологии, но прежде всего благодаря объективному смыслу своих приемов и заключений.

В современной фонологии отчетливо прослеживается одна (но, разумеется, не единственная) примечательная линия, закономерно отсутствовавшая в трудах создателей этой дисциплины. Речь идет о все усиливающейся тенденции строить фонологические описания на обширном, по возможности — исчерпывающем, лексическом материале и формулировать выводы с учетом всех осо-

бенностей «фонологического узуса»¹. Классическая фонология не требовала большого материала. Она устанавливала логические отношения звуковых единиц (оппозиции) на базе минимального числа диагностических фактов и не нуждалась в сплошном обследовании словаря или текстов. Однако уже следующий этап, когда выяснилась неодинаковая статистическая значимость и функциональная лексическая нагрузка логически равноправных элементов (фонем), потребовал введения понятий ядра и периферии² и привлек внимание к фонологической структуре словаря. В то же время без учета всего корпуса лексики оказалось невозможным разрабатывать вопросы фонологической синтагматики (сочетаемости фонологических единиц друг с другом, структуры слога, структуры слова), а распространение дистрибутивного метода установления инвентаря фонем означало введение лексического критерия также и в парадигматическую фонологию. И, наконец, новые задачи фонологического описания, связанные с исследова-

¹ В первую очередь см.: М. В. Панов, Русская фонетика, М., 1967; затем — J. Vachek, Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, Praha, 1963. Кстати, подобная тенденция наблюдается и в морфологии.

² См.: «Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue», Prague, 1966 (TCLP, 2).

нием различного жанрового и стилистического функционирования фонологических единиц, не позволяют уже ограничиться словарем и требуют статистического анализа фонологических особенностей текстов.

Согласившись принципиально с новыми требованиями, предъявляемыми к современному фонологическому описанию, каждый исследователь остановится перед практической проблемой выбора «лексического источника» для своего описания. В сущности выбирать приходится между наиболее (или хотя бы — достаточно) полным словарем описываемого языка и статистически достаточной совокупностью текстов на данном языке. При этом очевидны преимущества и недостатки каждого источника. Словарь обеспечивает максимальный охват лексики, чего не может гарантировать никакая по величине и разнообразию выборка текстов. В то же время словарь не приводит косвенных словоформ, могущих с фонологической точки зрения существенно отличаться от исходных (словарных) словоформ (при том, что частота косвенных словоформ не уступает словарным), тогда как текст содержит такие формы. Можно, наконец, как это и делает В. И. Перебийнос, использовать одновременно оба источника, тем более что их сопоставление позволяет выдвинуть и разрешить еще одну важную задачу — определить соотношение ядерной, наиболее употребительной части лексики в ее наиболее распространенных формах, прежде всего отражаемых текстами, с периферийными лексическими элементами, которые фиксируются главным образом или исключительно словарем.

Однако нетрудно убедиться, что даже и такое сочетание источников не дает желаемой полноты материала. В самом деле, если обозримая выборка текстов не гарантирует употребления всех лексем, то она тем более не может обеспечить встречаемости всех словоформ каждого слова. Следовательно, ни один из источников, взятых в их непосредственном виде, ни даже их сочетание не могут удовлетворить в полной мере современного исследователя фонологической системы одного языка. Выход состоит, по-видимому, в том, чтобы с помощью некоторых элементарных операций устранить недостатки полного источника, т. е. словаря. Как известно, вообще preparation словарей широко используются в самых разных целях: составляются, например, списки односложных, двусложных и т. д. слов, однородных слов, списки слов по различным морфологическим или словообразовательным признакам, не говоря уже об обратных индексах. Для полного фонологического описания словарь должен быть развернут (разумеется, мысленно) таким образом, чтобы каждому слову соответствовал пол-

ный ряд его словоформ. Только такое развертывание может дать исчерпывающую картину функциональной нагрузки каждой фонемы и тем более — фонемных сочетаний. При учете «развернутого словаря» окажутся упущенными лишь некоторые, наиболее регулярные категории производных слов (например, с приставками *не-*, *наи-* и т. п. или уменьшительными суффиксами), часто не получающие отражения в словаре. Но, во-первых, такого рода случаи тоже нетрудно предусмотреть, а во-вторых, подобные упущения несравнимы с теми, которые неизбежно возникнут при обращении к одним лишь текстам или к неразвернутому словарю. Не менее важно и то, что ориентация на развернутый словарь освобождает от влияния таких внефонологических факторов, как частота слов, и вообще снимает проблему фонологической однородности, столь существенную при статистическом анализе текстов.

Не пытаясь здесь решить окончательно вопрос об оптимальном источнике (источниках) для полного фонологического описания, подчеркнем лишь совершенно очевидную необходимость в любом случае сознательно контролировать то, в какой степени и какие именно логические выводы и количественные результаты исследования обусловлены характером выбранного материала.

Сознательный подход к выбору и оценке источников составляет, на наш взгляд, важную отличительную особенность монографии В. И. Перебийнос. В качестве источников избраны: 1) «Українсько-російський словник» под ред. В. С. Ильина, Київ, 1964 (около 64 тыс. реестровых слов), 2) список однородных словоформ протяженностью от одного до шести звуков, составленный на основе этого словаря и насчитывающий 4069 единиц (18 193 звука), 3) тексты общим объемом 300 тыс. фонемуупотреблений. При решении конкретных вопросов украинской фонологии автор разумно ставит выбор источника в зависимость от непосредственной цели. Так, вопросы парадигматики (состав фонем и их системные отношения) решаются на основе самого ограниченного из используемых в работе источников — списка однородных словоформ, тогда как синтагматический анализ (сочетаемость фонем друг с другом, инвентарь сочетаний разной длины) базируется на всех трех источниках, причем каждый из них исследуется независимо от других, а затем результаты сопоставляются. Если учесть, что словарь использовался в его непосредственном, т. е. неразвернутом виде, то различия между показаниями словаря и текстов легко могут быть интерпретированы в связи с упомянутыми выше особенностями этих двух источников. Более того, принадлежность только к одному из них или одновременно к обоим может служить формальным кри-

терием отнесения того или иного явления к ядру или периферии. Значительно труднее с фонологической точки зрения истолковать характеристики, присущие одноморфемным словоформам и отличающие их от показателей, полученных при анализе словаря и текстов. Строго говоря, оправданием для выделения этой категории фактов (одноморфемных словоформ) может быть лишь стремление ограничить влияние морфологические значимых позиций, широко представленных как в словаре, так и в тексте (морфемные границы, принадлежность к служебным морфемам, отличающимся заметной монотонностью фонемного состава, и т. п.). И все же остается неясным, в какой мере расхождения между одноморфемным списком и, например, словарем можно отнести исключительно за счет морфологии, — ведь не могут не сказываться здесь и такие различия, как существенно меньший объем первого источника и наличие во втором большого числа самостоятельно не употребительных корневых морфем.

Таким образом, речь идет о том, что выбор корпуса одноморфемных словоформ, словаря и совокупности текстов как независимых, самостоятельных объектов фонологического исследования в книге В. И. Перебийнос не вполне убедительно обоснован: с одной стороны, эти три массива фактов не являются достаточными для решения поставленных задач (в частности, отграничения морфологически обусловленных явлений или учета всех синтагматических возможностей комбинирования фонем во всех реально существующих словоформах), с другой стороны, ни один из них нельзя признать абсолютно необходимым.

Этот недостаток тем не менее не влияет на объективную ценность результатов исследования, поскольку каждое заключение, сделанное его автором, строго соответствует совершенно определенному разряду фактов и в принципе может быть проверено самим читателем. Столь же эксплицированы и основанные на анализе фактического материала теоретические рассуждения, обобщения количественных данных и общемонологические выводы, лишенные категоричности и в большинстве случаев предусматривающие все возможные трактовки обсуждаемого явления с подробной оценкой каждой из них.

Стремление к объективности выводов, отрицание произвольных и противоречащих фактам решений обусловило внутренний замысел книги — поиск количественных (как наиболее объективных) характеристик фонологической системы украинского литературного языка и возможностей их фонологической интерпретации, так же как и обратное — проверку и подтверждение основных добытых логическим путем фонологических

характеристик количественным анализом сплошного лексического материала.

Книга содержит пять основных разделов, посвященных: 1) установлению системы фонем современного украинского литературного языка, 2) описанию системы фонем в терминах дифференциальных признаков, 3) комбинаторным свойствам фонем, 4) некоторым вопросам фонемной структуры слова, 5) анализу минимальных пар. Каждому разделу предпосылается теоретическое введение, включающее также и обоснование применяемой автором методики исследования. Чрезвычайно ценный фактический материал содержится в тринадцати приложениях: 1) знаки фонетической транскрипции, используемые в работе, 2) сочетания двух согласных в разных позициях в слове, 3) трехфонемные сочетания согласных в разных позициях в слове, 4) частота четырехфонемных сочетаний, 5) парные сочетания фонем в позициях 1 + 2 и 2 + 3 трехфонемного сочетания согласных, 6) попарная сочетаемость согласных в четырехфонемных сочетаниях, 7) попарная сочетаемость согласных в разных позициях пятифонемных сочетаний, 8) место ударения в трехсложных словах, 9) минимальные пары, образованные двухфонемными словоформами, 10) минимальные пары, образованные трехфонемными словоформами (противопоставления по первой, второй и третьей фонеме), 11) минимальные пары, образованные четырехфонемными словоформами (противопоставления по первой, второй, третьей, четвертой фонеме), 12) минимальные пары, образованные пятифонемными словоформами, 13) минимальные пары, образованные шестифонемными одноморфемными словоформами. Приложения 2—8 включают полный материал по каждому из трех источников — инвентарю одноморфемных словоформ, словарю и текстам.

В теоретическом отношении наиболее существенными для всего последующего изложения являются первые два раздела, посвященные парадигматической характеристике фонем украинского языка. Следуя и здесь своему принципу максимальной объективности, В. И. Перебийнос из всех известных фонологических концепций и диктуемых ими процедур фонологического анализа выбирает те, которые ей кажутся наименее субъективными и наиболее контролируемые фактическим материалом. Для установления инвентаря фонем используется дистрибутивный метод в сочетании с операторным методом отождествления фонем на парадигматической оси, предложенным С. К. Шаумяном. Поскольку автора интересует не только абсолютный фонологический статус каждой звуковой единицы украинского языка (фонема — не фонема), но и их соотносительная функциональная значимость, в исследовании предлагается

усложненная процедура независимого анализа пяти лексических массивов — одноморфемных словоформ длиной в два, три, четыре, пять и шесть звуков, для каждого из которых отдельно устанавливается инвентарь фонем. Затем на основании сопоставления этих результатов, а также статистического анализа встречаемости фонем в речи делается заключение о принадлежности фонемы к ядру или к периферии фонологической системы украинского языка. Таким образом, в работе В. И. Перебийнос впервые успешно применены формальные критерии для определения ядра и периферии, подтвердившие объективную ценность этих понятий и продуктивность использования их в фонологии.

В книге подробно разработан вопрос о характеристике системных отношений фонем через их дифференциальные признаки. Метод парадигматической идентификации фонем по их ДП, заимствованный из работ Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле, применен здесь к украинскому языку в существенно измененном виде, скорее как логическая схема, тем более что автор не может опереться на акустический анализ украинских звуков и потому исходит из их артикуляторных признаков. Для описания украинской фонологической системы потребовалось 12 из 13 универсальных бинарных противопоставлений (не используется абруптивность — небруптивность): 1) вокальность — невокальность, 2) консонантность — неконсонантность, 3) компактность — некомпактность, 4) диффузность — недиффузность, 5) низкая тональность — высокая тональность, 6) бемольная тональность — простая тональность, 7) дизная тональность — простая тональность, 8) назальность — неназальность, 9) прерывность — непрерывность, 11) резкость — нерезкость, 12) звонкость — незвонкость, 13) напряженность — ненапряженность. Каждая фонема характеризуется по тому, какие значения этих ДП выбираются для ее идентификации. В зависимости от этого определяется и степень близости каждой фонемы к каждой другой фонеме в системе, а этот показатель (фонологическое расстояние) в свою очередь служит формальным критерием для распределения фонем по классам: гласные, сонорные, звонкие, глухие. Соотношение этих классов таково, что наибольшей близостью к другим классам отличаются сонорные, занимающие центральное положение в многомерном фонологическом пространстве, тогда как остальные три класса образуют периферийные области этого пространства.

Этим по существу исчерпывается парадигматический раздел. Отсутствие таких традиционно включаемых в область парадигматики (хотя бы и иначе формулируемых) вопросов, как структура позиционных подсистем и объем фонологиче-

ских противопоставлений в разных позиционных подсистемах, вопросы нейтрализации фонологических противопоставлений и т. п., не является случайным и объясняется, как кажется, исходной концепцией, в соответствии с которой, по-видимому, постановка этих проблем (в частности и прежде всего — нейтрализации) правомерна лишь за пределами фонологии, в рамках морфофонологического анализа автоматических (позиционно обусловленных) чередований, поскольку она требует привлечения явно экстрафонологического критерия тождественности морфов.

Самым обширным по объему и самым детальным по разработке является безусловно раздел, посвященный сочетаемости фонем на синтагматической оси. Здесь впервые систематически и на исчерпывающем материале рассмотрены допустимые в украинском языке двух-, трех- и т. д. — фонемные сочетания в разных позициях в слове (начало, середина, конец слова), сформулированы правила комбинирования фонем друг с другом, вычислены и содержательно интерпретированы количественные характеристики, отражающие особенности структуры и функционирования фонемных комбинаций в украинском языке.

При сегодняшнем состоянии синтагматической фонологии для большинства славянских языков установление исчерпывающих инвентарей допустимых в них фонемных сочетаний разной длины в разных позициях слова все еще остается главной задачей. Исследование В. И. Перебийнос решает в целом эту задачу для украинского языка, хотя, как уже говорилось, характер использованных в нем источников не гарантирует абсолютной полноты фактов (в частности, нет уверенности в том, что учтены все консонантные исходы и интервокальные группы, характерные для косвенных словоформ украинского языка, поскольку они не фиксируются словарем и явно не могут быть полностью отражены в обследованных текстах). Несмотря на вероятную неполноту, материал рецензируемой книги вполне достаточен для того, чтобы судить о главных синтагматических чертах украинской фонологической системы. Выводы, к которым приходит автор на основании тщательного количественного анализа фонемной сочетаемости, подтверждают универсальный характер большинства явлений украинской синтагматики. Подтверждаются прежде всего основные факторы, влияющие на комбинаторные свойства фонем, — длина последовательности и позиция ее в слове. Минимальной единицей сочетаемости следует считать двухфонемную группу, сохраняющую свои особенности (предпочтительный порядок следования фонем, степень сцепления с гласной и т. п.) в составе более протяженных последователь-

ностей. Различия в структуре маргинальных (начальных и конечных) и срединных сочетаний определяются в значительной степени не фонологическими, а морфологическими обстоятельствами, тогда как специфика начальных групп по отношению к конечным в большей мере допускает фонологическое объяснение. Весьма показательны в связи с этим, что априорное представление о зеркальном отношении между начальными и конечными консонантными группами подтверждается в украинском языке (причем не абсолютно, а вероятно) только для двух-элементных групп. Количественный анализ фонемных сочетаний позволил автору сделать также ряд интересных наблюдений над зависимостью синтагматических свойств фонем от их парадигматических характеристик: на синтагматическом уровне отчетливо прослеживается различие между тремя парадигматическими классами согласных (сопоровые, звонкие, глухие), между согласными, принадлежащими к основному (ядерному) и периферийному инвентарю; ряд запретов и ограничений в области фонемной сочетаемости прямо связан со значением различных ДП фонем. В то же время оказалось, что фонологическое состояние, измеряемое числом общих и различных значений ДП, в общем не играет существенной роли в комбинировании фонем.

Следует специально остановиться на способах содержательной, фонологической интерпретации количественных показателей фонемной сочетаемости, которыми оперируют подобные исследования. Обычно используются следующие показатели: 1) отношение к теоретически возможному числу сочетаний данного типа (степень заполненности матрицы), например, числа реально засвидетельствованных сочетаний типа «гласная + гласная» к теоретически допустимому числу таких сочетаний; 2) лексическая мощность каждого допустимого сочетания (число слов или морфем, включающих это сочетание) или типа сочетания; 3) частота отдельного сочетания или типа сочетаний в тексте. На основании этих трех критериев делается заключение о большей или меньшей фонологической значимости, характерности или «правильности» конкретных сочетаний фонем в языке, причем предпочтение отдается сочетаниям (типам), которые в наибольшей степени реализуют имеющиеся возможности, отличаются наибольшей лексической мощностью и самой высокой частотой в тексте. Трудность, однако, состоит в том, что показатели этих трех видов, характеризующие одно и то же сочетание (тип), не всегда согласуются друг с другом. Так, сочетания типа «гласная + гласная» в украинском языке максимально реализуют теоретические возможности, тогда как в словаре особенно в тексте они обнаруживают

весьма низкую частоту. Вопрос о том, какому показателю в подобных случаях приписать больший вес, требует, по-видимому, дополнительной разработки. Казалось бы, наименьшее значение следует придавать третьему показателю, на который влияет преимущественно частота слов, а не фонологически существенные факторы. В то же время несомненно, что фонологически и лексически мало мощная, относительно редкая комбинация, многократно воспроизводимая в составе какого-либо высокочастотного слова, способна в большей мере повлиять на формирование фонологической «нормы», чем фонологически привычная, лексически репрезентативная, но редко употребляемая комбинация. обстоятельный анализ украинских фактов с этой точки зрения в книге В. И. Перебийнос позволяет детальнее и глубже поставить проблему «фонологической правильности» и отграничения нефонологических факторов, с которыми неизбежно сталкивается фонолог при обращении к материалу любого языка. По всей вероятности, здесь нельзя будет ограничиться одними лишь количественными критериями, но и количественный подход, как показывает анализ украинского материала, весьма перспективен.

Два последних раздела монографии носят достаточно автономный характер и демонстрируют возможности количественного анализа при решении частных вопросов фонологического описания. Глава, посвященная фонемной и просодической структуре одноморфемных словоформ, частично восполняет тот пробел, который обычно создается в фонологических описаниях отсутствием сведений о фонологической структуре единиц высших уровней. Корпус одноморфемных словоформ, уже использованный в предыдущих разделах как один из описываемых массивов, оказался удачным объектом, позволившим сделать интересные выводы, касающиеся одновременно структуры слога (так как подавляющее большинство самостоятельно функционирующих слогов входит в этот массив), фонемной и слоговой структуры морфемы (с тем лишь уточнением, что речь идет только об изолированно употребляемых морфемах) и — в меньшей степени — структуры слова (только частный случай — слова, кратчайшие в отношении морфемного и слогового состава). Очень ценны и заслуживают дальнейшего распространения наблюдения над местом удерения в украинском слове.

Заключительный раздел «Анализ минимальных пар» содержит любопытный материал, показывающий смысловозначительную способность фонем в последовательностях разной длины, возможности каждой фонемной позиции в слове противопоставлять фонемам друг другу и, наконец, различную способность разных

фонологических оппозиций занимать то или иное положение в слове. Этот небольшой этюд, отличающийся изяществом и тонкостью наблюдений, вместе с тем воспринимается как фрагмент, недостаточно органический в монографии, строго подчиненной единому замыслу и методу.

В настоящее время, по-видимому, трудно оценить во всем объеме перспективы подхода и метода, примененного В. И. Перебийнос к фонологии украинского

языка. Очевидно во всяком случае то, что эта монография — не только надежный источник обширных сведений по парадигматике и синтагматике украинской фонологической системы, но и первое успешное воплощение идеи фонологического описания, целиком ориентирующегося на количественные характеристики и их содержательную интерпретацию.

С. М. Толстая

«Symposion über Syntax der uralischen Sprachen». Im Auftrage der Akademie in Göttingen herausgegeben von W. Schlachter.—Göttingen, 1970. 232 стр. («Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen». Philolog.-hist. Kl., III. Folge, № 76)

В рецензируемой книге опубликованы материалы симпозиума по синтаксису уральских (финно-угорских и самодийских) языков, происходившего под руководством проф. В. Шляхтера в июне 1969 г. в Гёттингене. В симпозиуме приняли участие более двадцати известных лингвистов — специалистов по уральским языкам: 17 человек выступали с докладами; кроме того, каждый из докладчиков дважды выступал с содокладом; в прениях принимали активное участие многие участники симпозиума.

Бросается в глаза исключительно четкая организация и проведение работы симпозиума: хорошо подобрана тематика докладов, каждый доклад сопровождался двумя содокладами и заканчивался краткой дискуссией по обсуждаемой синтаксической проблеме. В рецензируемой книге опубликованы все 17 докладов, 34 содоклада, а также дано краткое содержание пятидесяти с лишним выступлений в прениях.

А. Алхониеми (Турку, Финляндия) осветил вопрос о функциях весьма многозначного падежа, отвечающего на вопрос «куда?», в марийском языке. Й. Балас (Будапешт — Рим) в докладе «К образованию древнейших уральских синтагматических сочетаний» проводил мысль о том, что при образовании подобных сочетаний важную роль играли местоименные элементы (указательные слова). Эти местоимения могли стоять не только перед определяемым словом, но и после него; например: фин. *se, poika* «тот (именно) мальчик»; *poika* «мальчик», (именно) *von tott*. В таких сочетаниях местоименные элементы еще имели на себе ударение; когда же в сочетании *se, poika* ударение передвинулось на главный член, то местоимение превратилось в артикль, как, например, в венг. *a fiú* «тот мальчик» > «мальчик (известный)»; в сочетании *ház te* «дом ты» > *házad* «твой дом» местоимение стало зависимым

членом, потеряло ударение и превратилось в аффикс. Интересна судьба вопросительных местоимений и наречий — они образованы из двух указательных слов: эст. *kesse* «кто», *misse* «что» < **ke-se* «кто» и «это», **mi-se* «что» и «это», селькуп. *kut* «кто?» < **ka-ta* «кто» и «это» и т. д.

Л. Бенке (Будапешт, Венгрия) в докладе «К вопросу об уральском имени-глаголе (Nomenverba) в свете истории венгерского языка» заметил, что в современных языках имя и глагол, имеющие одинаковую корневую морфему, как правило, дифференцированы синтаксически, морфологически и семантически. По мере продвижения в глубь истории языка различие между этими частями речи постепенно уменьшается и в конечном счете совсем исчезает. В этом случае можно говорить об имени-глаголе (Nomenverbum), об амбивалентных корневых морфемах типа совр. венг. *nyomt* «след; колея» и «жать; давить». В современном венгерском языке созвучных пар слов такого типа насчитывается свыше 200, но при рассмотрении данной проблемы значительную часть из них можно использовать только условно, поскольку они существенно отошли от первоначального вида.

Д. Дечи (Гамбург, ФРГ) в докладе «Глаголы существования (Existenzverb) в предикативных конструкциях селькупского языка» дал структурный анализ разных видов составного сказуемого, содержащих вспомогательный глагол «быть».

Г. Ганшов (Мюнхен, ФРГ) в докладе «Методы описания структуры простого предложения хантыйского языка» предложил новую модель для описания структуры простого предложения хантыйского языка; эта модель пригодна также при изучении синтаксиса других уральских языков.

Й. Гуя (Будапешт) в докладе «Актив, эргатив и пассив в ваховском

диалекте хантыйского языка» на большом фактическом материале, взятом из работ К. Карьялайнена, Э. Вертеш и Н. И. Терешкина, произвел краткое описание структур предложения этого диалекта, пользуясь методом синхронной дистрибуции; намечены семь типов конструкций предложения.

П. Хайду (Сегед, Венгрия) в докладе «О синтаксисе отрицательных форм глагола в самодийских языках», пользуясь трансформаторно-порождающим методом, дал детальную характеристику структуры этих форм.

О. Никола (Турку, Финляндия) рассказал о подготовке к машинному синтаксическому анализу финских диалектных текстов в Туркуском университете, где хранятся богатейшие собрания материалов в виде микрофильмов (оригиналы этих микрофильмов находятся в Хельсинки в колоссальных размерах — около 11 тысяч часов магнитофонных записей).

Э. Кенгасмаа-Минн (Турку, Финляндия) в своем докладе сообщила о номинализации предложений в марийском языке.

Ш. Карой (Будапешт) посвятил доклад рассмотрению проблемы «Связи между грамматической синонимией и семантикой» в плане сравнительного изучения категории падежа.

М. Корхонен (Хельсинки) исследовал способы выражения неопределенного субъекта в активном предложении саамского языка.

К. Редей (Будапешт) в докладе «Русское влияние на синтаксис коми-пермяцкого языка (О явлениях интерференции у глагола)» отметил, что в коми-пермяцком языке число русских заимствованных слов превышает 5000; такое большое число заимствований свидетельствует об интенсивных соприкосновениях с русскими, даже о состоянии, близком к двуязычию; естественно, поэтому, что явления интерференции встречаются не только в лексике, но также на других уровнях языка. Через русские лексические заимствования, по мнению докладчика, получили право гражданства новые фонемы *ф, х, ы, р'*; заимствованы отдельные словообразовательные суффиксы: *-овой* < русск. диалектн. *-овоц*, коми-перм. *-корт* «железный» (корт «железо»), *-ок* < русск. *-ок* (туйок «дорожка» от туй «дорога») и т. д.

В области синтаксиса глагольных форм коми-пермяцкого языка К. Редей считает русскими заимствованиями такие факты как, например: 1) *менё кытё* «меня знобит», *вайн кыртёс берег* «водой размыло берег» и др. Представляется, что в подобных безличных предложениях, встречающихся во всех коми диалектах и удмуртском языке, нельзя видеть русское влияние (ср. коми *менё восдбб*, удм. *монэ ыскытэ* «меня тошнит, рвет», коми *гыр-*

кёс йёртё «запор у меня» буквально: «мою внутренность запирает» и т. д.); 2) элементы *-ко, -те*: *мунам-ко* «пойдемте-ка», *мунам-те кино* «пойдемте в кино!»; 3) бы сослагательного наклонения: *вермис бы лоны* «могло бы быть»; 4) употребление вежливой формы мн. числа: *мый вистамат?* «что Вы говорите?». Следует заметить, что К. Редей и его содокладчики значительно преувеличивают степень влияния русского языка на коми-пермяцкий в отношении числа заимствований как в лексике (5000 слов составляют 30—40% всей лексики), так и в фонетике (*ф, х, ы, р'*; содокладчик Ш. Карой считает заимствованиями даже звуки *м', б', н'*) и в грамматике (употребление формы русского инфинитива: *попроведать*, бытование целых фраз: *сыметана сызлал* и т. п.). При решении проблемы русских заимствований в коми-пермяцком языке следует подходить дифференцированно к различным территориям распространения языка и к различным социальным группам носителей языка. Вряд ли можно сомневаться в том, что образованные специалисты, с одной стороны, и широкие народные массы, с другой, заметно различаются между собой по языку. В то же время есть места, где население полностью двуязычно (Оньковский сельсовет, верховье Камы). На таких диалектах, обычно окраинных, говорит ограниченное количество населения (5—6%). Кстати сказать, аналогичные диалекты существуют почти у всех народов. При изучении вопросов взаимовлияния языков двух народов надо в том и в другом случае ориентироваться на язык массы его носителей и на литературный язык, базирующийся на языке народных масс. Тогда получится совсем иная картина.

Очень небольшой процент народных масс употребляют новые фонемы (*ф, х, ы, р'*), губные мягкие (*п', б', м'*), вообще не употребляют. В бытовой речи употребляют сравнительно немного русских лексических заимствований. Мы провели приблизительный подсчет заимствованных слов, встречающихся в первом коми-пермяцком романе В. Климова «Гавкалён бедь» (Кудымкар, 1968), где широко отражена бытовая речь. Результаты подсчета: русских заимствований 20%, из них половина — союзы (*и, а, но, да, ни*), которые и в бытовой речи являются весьма употребительными элементами; слов с заимствованными фонемами встречается только единицы и то, по-видимому, существуют только в написании. Вышеупомянутые морфемы русского происхождения (*-овоц, -ок, бы* и т. п.) а равно и многие русские синтаксические конструкции действительно являются широко употребительными в коми-пермяцком языке. Однако без специального исследования трудно решить, что в коми-пермяцком синтаксисе заимствовано из

русского языка и что является самобытным.

П. Саукконен (Оулу, Финляндия) исследовал соотношение ряда типов синтаксических и аналитических конструкций в финском языке.

П. Сиро (Тампере, Финляндия) в докладе «Проблема финно-угорского спряжения» не соглашается с широко распространенным мнением об отсутствии в финно-угорском языке спрягаемых глагольных форм¹ и критикует ту точку зрения, в соответствии с которой финитные формы, образованные путем присоединения личных местоимений, вначале якобы именными категориями. П. Сиро сомневается в том, что некогда в языке существовали только именные формы с притяжательными суффиксами; скорее всего, процесс возникновения личных окончаний глагола и притяжательных суффиксов имен протекал одновременно, параллельно.

Г. Стипа (Гёттинген — Хельсинки) рассмотрел безличные предложения в коми языке — преимущественно те из них, в которых логический субъект стоит в косвенном падеже (вин., дат., местн. и

¹ Ср.: Bárczi G., *A magyar nyelv életraja*, Budapest, 1963, стр. 57; Berger J., *Magyar történeti mondattan*, Budapest, 1957, стр. 175.

И. П. Севбо. Структура связного текста и автоматизация реферирования. — М., «Наука», 1969, 135 стр.

Изучение внутренней организации текста становится одной из актуальных проблем лингвистики, как прикладной, так и теоретической. Во-первых, знание законов построения текстов необходимо в самых различных областях гуманитарного знания — без него бессмысленно создание приемлемых методов автоматического реферирования и индексирования в информатике¹, исследование психологии чтения², композиции литературных произведений и даже разработка адекватной

¹ В нашей рецензии мы касаемся в основном первой, посвященной структуре текста и представляющей общелингвистический интерес части книги И. П. Севбо; ее более специальная вторая часть посвящена применению найденных закономерностей организации текста к созданию лингвистически обоснованных методов аннотирования и реферирования.

² См. лингвистически наивную и в то же время весьма симптоматичную попытку представления структуры текста в кн.: Л. П. Д о б л а е в, Психологические основы работы над книгой, М., 1970, стр. 11—19.

род.). Выделяются следующие типы безличных предложений: 1) *батъбля янджим* «отцу стыдно»; 2) *сбблм вылас Варукулы вблйконы* «на душе у Варвары было легко»; 3) *пелын тиньб* «в ухе звенит»; 4) *Миккулдн* (род.) *эз узьсы* «Николаю не спалось» (буквально: «у Николая не спалось»); 5) *менб дышбдс* «меня взяла лень; мне стало лень» (*дышбдс* — глагольная форма фактитива, образована от прилагательного *дыш* «ленивый»). Г. Стипа, сопоставляя выделенные им типы безличных предложений с соответствующими оборотами речи других финно-угорских языков, а также русского языка, считает, что третий тип возник под влиянием русского языка; его же содокладчик — К. Рееди — видит русское влияние также в четвертом и пятом типах. Последнее вызывает сомнение, так как в четвертом типе, например, глагол русского языка управляет дат. падежом, а глагол коми языка — род. падежом.

В последнем докладе симпозиума, сделанном Б. Викманом (Уппсала, Швеция), рассматривалось употребление объектного спряжения, имеющегося в ряде уральских языков.

В целом рецензируемый сборник полезен уже тем, что в нем затронут целый ряд актуальных вопросов синтаксиса уральских языков.

В. И. Лыткин

математической теории семантической информации. Во-вторых, без знания этих законов остается незавершенным здание самой лингвистики. Владение языком на практике проявляется именно в построении текстов (высказываний), в которых строение отдельного предложения зависит от строения других предложений того же текста. Поэтому, занимаясь структурой текста, лингвистика не выходит за пределы своей основной задачи — изучения законов организации человеческой речи.

Между тем основные достижения лингвистики были до недавнего времени связаны с изучением организации единиц, не превосходящих предложения. В исследовании целых текстов впереди оказались литературоведы, показавшие, как тексты определенного типа (жанра) — например, волшебная сказка или басня, — складываются из своего рода стандартных блоков — мотивов или функций³,

³ См.: В. Я. Пропп, *Морфология сказки*, 2-е изд., М., 1969; М. Л. Гаспаров, *Сюжет и идеология в эзоповских баснях*, ВДИ, 1968, 3.

или отрезков, написанных с разных «точек зрения»⁴. Однако при этом организация текста лишь сводилась рекурсивно к организации субтекстов, каждый из которых мог в свою очередь иметь довольно большую длину. Разрыв между предложением, организацию которого изучали лингвисты, и теми крупными блоками, из которых исходили литературоведы, не был ликвидирован, и потому проблема организации текста оставалась по существу открытой: как, например, описать структуру текста, внутри которого не происходит смены точек зрения? Правда, еще Б. В. Томашевский указывал, что анализ композиции, понимаемый как разложение текста на части, обладающие тематической самостоятельностью и единством, должен доводиться до разбиения на отдельные предложения и что «в сущности — каждое предложение обладает своим мотивом»⁵. И все же правил перехода от организации предложения к организации текста и наоборот — не существовало.

Прогресс в этой области наметился лишь тогда, когда лингвисты обратились к исследованию языковых средств связи между предложениями. Начавшись с введения понятия сложного синтаксического целого (Н. С. Поспелов), эти исследования вскоре привели к возникновению представления о существовании воплощенной в чисто языковых средствах структуры (организации) целого текста. Правда, в вопросе о характере этих языковых средств единодушия не было. Самая распространенная точка зрения наиболее четко выражена в работе И. А. Фигуровского, который, сказав в общем определении, что «структура текста выражается» в специальных знаках начала и конца текста, «в синтаксисе отдельных предложений, в сочетаниях смежных предложений, в строении и сочетании соединений предложений», на практике рассматривает лишь те связи предложений и частей текста, которые выражены с помощью союзов и соотносительных слов⁶.

⁴ См. обобщающую работу по «точкам зрения»: Б. А. Успенский, *Поэтика композиции*, М., 1970.

⁵ Б. В. Томашевский, *Теория литературы*, Поэтика, 5-е изд., М.—Л., 1930, стр. 131, 136—137. Ср.: П. С. Кузнецов, *Об основных единицах речи и словесного произведения*, «Русская речь», 1970, 1, стр. 35—36, а также трактовку понятия «темы» в работе: Г. Гольденберг, *Понятия темы, мотива и сюжета*, в кн.: «Родной язык в школе», кн. 2, М., 1927, стр. 41—51.

⁶ И. А. Фигуровский, *Структура текста художественного произведения* (тезисы доклада), в кн.: «Вопросы русского языка, диалектологии и методики преподавания», Воронеж, 1965, стр. 4, 6 («Уч. зап. Липецк. пед. ин-та», IV).

Иначе подошли к организации текста исследователи, потребовавшие, чтобы каждое последующее предложение текста было связано с предыдущими логическим следованием определенного вида⁷. Подобное требование представляется и слишком слабым (трудно говорить о логических связях между элементами, например, пейзажного описания типа *Уж небо зеркало. Воды струились тизло. Жук жуужжал*), и слишком сильным, поскольку из двух текстов, содержащих доказательство некоторого утверждения и его отрицания, связным, согласно данному определению, заведомо может быть только один.

Требование логической выводимости можно, однако, ослабить, заменив требованием отсутствия подмены «объекта речи», т. е. предполагая либо сохранение утверждаемого предиката (хотя бы и для других термов), либо, наоборот, сохранение термов, хотя бы и для иного предиката. Так мы приходим к явлению связи предложений (или групп предложений) посредством лексического повтора⁸ — именно этот тип связи и является основным объектом внимания в рецензируемой книге И. П. Севбо.

Прежде чем описывать устройство текстов, исследовательница приводит тексты к некоторому стандартизованному виду. Предложения, составляющие текст, могут быть самыми разными — от *Маши ела кашу* до сложнейшего периода, занимающего несколько страниц. Средняя длина предложения является, бесспорно, важной стилистической характеристикой естественного текста, но ведь тем длиннее и сложнее предложение, тем более его внутреннее строение само будет напоминать строение целого текста. Поэтому И. П. Севбо дает совокупность правил, которая позволяет автоматически заменять каждое предложение набором максимально простых («канонических») фраз, каждая из которых действительно выражала бы одну «элементарную мысль». Например, если в предложении два однородных сказуемых или подлежащих, то-

⁷ См.: Г. В. Дорофеев, Ю. С. Мартеньянов, *Логический вывод и выявление связей между предложениями в тексте*, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 12, М., 1969.

⁸ Не случайно И. Беллерт, определяя речь как последовательность предложений, в которой семантическая интерпретация каждого предложения зависит от интерпретации предыдущих, на практике сводит это определение к требованию повтора лексических единиц. — I. Belleret, *On a condition of the coherence of texts*, Warszawa, 1968, стр. 1—2. [Препринт к Международной конференции по семиотике в Казимеже].

это предложение будет разбито на два элементарных (вместо *Охотник зажмурился и выстрелил* будем иметь *Охотник зажмурился* и *Охотник выстрелил* — по существу здесь производится своего рода раскрытие грамматических «скобок»). Одновременно И. П. Севбо заменяет все местоимения 3-го лица теми существительными, вместо которых стоят эти местоимения (например, предложение *Игорь вышел и вместо него к столу сел Алик* будет заменено на *Игорь вышел и Вместо Игоря к столу сел Алик*). После того как все предложения приведены к такому стандартному виду, И. П. Севбо приступает к изучению способов их соединения в связный текст.

Рассмотрение именно лексических повторов не является для И. П. Севбо случайным — основная идея ее исследования состоит в том, что отличительной чертой связного текста является повторение одинаковых слов на протяжении соседних или близко расположенных предложений. В самом деле, если мы возьмем два случайных предложения — одно из учебника по сопрату, а другое, например, из стихов Фета, — то предложения будут говорить о разных вещах, а потому и знаменательные слова в этих предложениях будут разными. В связном же тексте соседние предложения обычно связаны единством объекта мысли («темы» или «героя» повествования), а потому название этого объекта должно повторяться. Так, если текст начинается с предложения *Зоя ударила Аню*, то в зависимости от того, пойдет ли дальше речь о Зое, Ане или о том, что «драться не хорошо», мы вправе ожидать, что в ближайших предложениях встретим либо имена *Зоя* или *Аня*, либо слово *ударить*. Такое повторение знаменательных слов И. П. Севбо назвала «нанизыванием».

Нанизывание оказывается одним из главных средств передачи смысла, организующим текст в единое целое. Используя это понятие, можно строить схему структуры текста. И. П. Севбо приводит схемы нанизывания для целого ряда детских рассказов Л. Н. Толстого и их переводов на славянские языки (схема нанизываний для текста и его переводов практически одинакова) и выделяет типы элементарных схем. Если в крупных текстах линии действующих лиц могут образовывать самые разные конфигурации, то в пределах небольших кусков текста их переплетения могут быть сведены всего к трем типам парных соотношений линий. В рассказе *Зоя ударила Аню*. *Аня в ответ стукнула Зою*. *Зоя убежала от Ани*, где каждое из имен попеременно оказывается то подлежащим, то дополнением, мы имеем дело с «взаимодействием». В тексте же *Маша достала пакет с пшеном*. *Маша отмерила стакан пшена*. *Маша высыпала пшено в кастрюлю* мы будем иметь дело с односторонним

«воздействием» *Маши* на *пшено*: первое слово во всех предложениях является подлежащим, а второе всегда попадает в группу сказуемого. Наконец, в известной народной «Повести о Фоме и Ереме» *Ерема был крив*. *Фома с бельмом*. *Ерема плещив*. *Фома шелудив* мы сталкиваемся с «параллельным действием» *Фомы* и *Еремы*: нет ни одного предложения, где бы эти два имени встретились вместе, фактически тут два перемежающихся и переплетающихся текста.

Линия, соединяющая вхождения некоторого слова, есть линия поведения соответствующего «объекта речи» в данном тексте; совокупность таких линий поведения для всех знаменательных слов текста есть представление его структуры, его композиции. Правда, взаимоотношения этих линий отражают взаимоотношения денотатов не непосредственно (схемы для текстов *У индейца был слон*. *Индеец плохо кормил слона* и *Индеец имел слона*. *Индеец плохо кормил слона* будут разными), но составляя схему именно структуры текста, а не структуры описываемых событий, исследователь вряд ли вправе игнорировать грамматические различия типа залоговых или конверсивных.

Конечно, разбиение предложения только на группу подлежащего и группу сказуемого неполно отражает синтаксическую и тем более логико-коммуникативную (актуальное членение) структуру предложения, но несомненно, что ввиду сравнительной простоты разбиения предложения на группу подлежащего и группу сказуемого начинать надо было именно с него. При этом делаемое самой И. П. Севбо допущение, что «во многих случаях» группа подлежащего соответствует логическому субъекту, а группа сказуемого — логическому предикату (стр. 54), является излишним — как известно, актуальное членение предложения сильно зависит от контекста и потому к его установлению резонно вернуться уже после фиксации нанизываний (то, что в данном предложении повторяет предыдущее, имеет высокие шансы на отнесение к теме, а то, что не является повтором, — к реме).

Предложенный способ представления структуры текста может быть использован также для анализа композиции художественных текстов¹⁰, в сопоставительной

⁹ В кибернетическом смысле этого термина; см.: У. Р. Эшби, Конструкция мозга, М., 1964, стр. 48. О схемах структуры текста, близких к используемому в синтаксисе графам зависимости, см.: Э. Ф. Скороходько, Автоматическая компрессия текста на основе анализа его семантической структуры, в кн.: «Проблемы прикладной лингвистики», ч. II, М., 1969.

¹⁰ В ранних исследованиях в этой области повторы систематизировались

стилистике, при обучении связной речи (прежде всего — письменной) и в литературном редактировании. И. П. Севбо несколько недооценивает свой метод, когда, признавая, что «между способами организации связности текста внутри абзаца и при соединении абзацев» «нет принципиального различия», все же почему-то считает, что описание связи между абзацами должно быть лишь «продолжением» ее исследования (стр. 31). Ни алгоритм приведения фраз к каноническому виду, ни фиксация нанизываний никак не учитывают границы абзаца, и потому ничто не мешает составить схему нанизываний для целого текста. Интерес представляет как раз обратная задача — по совокупности линий поведения объектов речи на протяжении всего текста попытаться автоматически выделить границы абзацев (или каких-то других частей текста). Опираясь на закономерность, вскрытую Е. В. Падучевой в рассказах Чехова¹¹, можно предположить, что граница абзаца должна отмечаться началом новой линии для некоторого существительного, не встречавшегося в предыдущем абзаце.

Конечно, лексические повторы не исчерпывают всех способов организации текста. И. П. Севбо на стр. 83—85 выделяет два класса текстов, для которых характерно отсутствие или во всяком случае малая частота лексических повторов — тексты, объединяемые либо «общностью ситуаций», либо «наличием семантически близких понятий». Если для описания структуры первых необходимо, на наш взгляд, учет грамматических повторов и прежде всего — повторов глагольных времен («массированным применением» таких повторов является синтаксический параллелизм)¹²,

лишь по их месту в чисто стиховых единицах, см.: В. М. Жирмунский, Композиция лирических стихотворений, Пг., 1921; Т. Фоохд-Стоянова, О композиционных повторах у Блока, «Dutch contributions to the IV International Congress of Slavists», The Hague, 1958. См. в этой связи: С. И. Гиндин, Семантический анализ композиционной структуры лирических текстов Некрасова, в кн.: «Некрасов и русская литература», Кострома, 1971.

¹¹ Е. В. Падучева, О структуре абзаца, в кн.: «Труды по знаковым системам, II», Тарту, 1965 («Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та», 181). Ср. попытку получить «реферат» рассказа Чехова путем взятия из каждого абзаца его первой или второй фразы (Л. М. Лосева, К изучению межфразовой связи, «Р. яз. в шк.», 1967, 1).

¹² Для изучения грамматических повторов может быть, по-видимому, полезен аппарат «свободных и связанных категорий», см.: Б. М. Гаспаров, О неко-

то для изучения организации текстов второй группы нужно, обобщая понятие лексического повтора, ввести понятие повтора семантического. Ослабляя требование логического следования, мы выдвинули условие сохранения предиката или его термов; ослабляя и это требование, можно выдвинуть условие близости предиката или термов предикату или термам предыдущего предложения. Так, в тексте *Время ушло. Фома убежал* нет полного повтора предиката, но есть повтор значения «движение от некоторой точки и исчезновение из поля зрения». Семантический повтор и можно определить как повтор некоторой совокупности смысловых признаков. Если при выделении лексических повторов мы отождествляли в качестве членов повтора элементы, относящиеся к одной словоизменительной парадигме, то при выделении семантических мы должны отождествлять в качестве членов повтора элементы, относящиеся к одному классу некоторого фиксированного семантического разбиения словника. Поскольку в качестве такого фиксированного разбиения можно взять существующие словообразовательные, синонимические, идеографические словари или словари лексических функций, выделение семантических повторов может быть не менее объективным, чем выделение лексических, хотя, разумеется, число и тип выделенных повторов¹³ будет зависеть от типа использованного семантического словаря.

Введение понятия семантического повтора существенно расширяет возможности анализа внутритекстовой организации. Так, если в тексте «Певучесть есть в мор-

торых лингвистических аспектах изучения структуры текста, в кн.: «III летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы», Тарту, 1968; Б. Маслов, Возможные принципы выделения сверхфразовых единиц, в кн.: «Русская филология. 3-й сборник научных студенческих работ», Тарту, 1971.

¹³ Классификацию семантических повторов в зависимости от их совмещения с тем или иным из низших (фонетический и грамматический) видов повтора см.: С. И. Гиндин, Онтологическое единство текста и виды внутритекстовой организации, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 14, М., 1971 (в печати). Другое определение смысловой связи предложений, предполагающее, в отличие от нашего, обращение к внеязыковой ситуации и умение определить близость денотатов, см. в работе: Т. Н. Рылова, Некоторые формальные критерии выявления семантических связей между предложениями текста, «Труды семинара „Автоматизация информационных работ и вопросы прикладной лингвистики“», 1, Киев, 1969, стр. 32.

ских волнах...» Ф. И. Тютчева есть лишь два лексических повтора *природе* — *нею* и *разлад* — *разлад*, не позволяющие выявить связь первой строфы с остальным текстом, то семантических повторов (включая сюда повторы корневых морфем и синонимические повторы) в нем гораздо больше, они пронизывают весь текст: *морской* — *море*, *строй* — *стройный*, *печушь* — *петь*, *гармония* — *строй* — *созвучье*, *камыш* — *тростник*, *спор* — *разлад*, *печушь* — *гармония* — *музыкальный* — *созвучье* — *гор* — *петь* и *морской* — *стихийный*. В этом же тексте хорошо видна роль грамматических повторов и параллелизмов.

Требует дальнейшего исследования вопрос об отношении понятия связности текста к понятиям единства, осмысленности и организации текста. И. П. Севбо считает, что «осмысленность текста... предполагает и его связность», делая исключение лишь для «текстов типа перечней и рубрик» (стр. 85). Нам это допущение представляется слишком сильным — связность, т. е. зацепление или частичное уподобление частей текста, естественно рассматривать как принцип организации тех текстов, в которых тип и порядок составляющих их частей не фиксированы. Другим возможным типом организации текстов является предварительная регламентация допустимых типов составляющих и их порядка внутри текста; при этом связь составляющих как бы выносится из текста в его структурную формулу и в самом тексте может никак не проявляться, ср. отсутствие языковой связи между «шапкой» заявления и его основным текстом или внешнюю бессвязность текста «выходных данных» книги. Ясно, что такая

«жесткая» организация текстов, по существу уподобляющая текст предложению, мыслима в пределах некоторого строго очерченного жанра с достаточно клишированными текстами, тогда как «гибкая» организация посредством связности годится для произвольных классов разнообразных текстов и потому имеет общезыкоуый характер¹⁴.

Ценная и актуальная книга И. П. Севбо не легка для чтения — в ней затронуто слишком много вопросов, и автор часто лишь намечает пути исследования. Затрудненность и некоторая беглость были, однако, неизбежны — как ни разнообразны и глубоко филологические корни проблемы, И. П. Севбо впервые сделала структуру текста предметом систематического лингвистического рассмотрения. Как сказал поэт: «Пусть связь речей и далека, В них неразгаданные тайны Всегда живого языка».

С. И. Гиндин

¹⁴ Ср. эффективность дескрипторных языков без грамматики при поиске по текстам с ограниченной тематикой и необходимости грамматики в информационных языках универсального назначения, а также мысль о различии «частных теорий языка», описывающих «построение определенной группы текстов (каждая свою)», и «лингвистики — общей теории языка, описывающей характерные черты всех разновидностей текстов» [Ю. В. Рождественский, Что такое «теория клише»? в кн.: Г. Л. Пермяков, От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише), М., 1970, стр. 236].

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 1965—1970 гг.

В истекшем пятилетии научные сотрудники Института языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР, члены языковедческих кафедр университета и пединститутов расширили тематику научных исследований. Количественный и качественный сдвиг в разработке лингвистических проблем достигнут общими усилиями, направленными на решение актуальных и практически важных вопросов, на исследование слабо изученных разделов таджикского языкознания.

В изучение грамматического строя таджикского языка большой вклад внес академик АН ТаджССР Б. Н. Ниязмухаммедов, сборник избранных трудов которого недавно опубликован¹. В разделе «Источники национального таджикского языка» рассматриваются — в плане их роли в развитии таджикского языка — дореволюционный таджикский литературный язык, диалекты таджикского языка, а также влияние русского языка. В разделе «Морфология» внимание автора привлекли общие и пока остающиеся спорными вопросы о частях речи, о взаимоотношении частей речи, а также грамматические признаки наречий, морфологические и лексические формы выражения мн. числа. В разделе «Синтаксис» дана стройная классификация членов предложения и перечислены основные способы их выражения; проанализированы некоторые наиболее трудные вопросы синтаксиса простого и сложного предложения (состав сложного предложения, связь частей сложного предложения и т. д.). Особенности языка и стиля писателей (основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни, Мирзо Турсунзаде, Абдулсалома Дехоти) исследованы в специальном разделе.

В юбилейном сборнике «Вопросы таджикского языкознания»², помимо очер-

ка Ш. Рустамова о научной деятельности юбиляра Б. Н. Ниязмухаммедова помещены статьи по морфологии (Х. Каримов «Вкратце о морфеме *e* (а — *йа*)» и «О некоторых особенностях слова „як“», Б. Сияев «Из истории множественного числа существительных в таджикском языке»³, синтаксису (Ш. Рустамов, «Придаточные дополнительные предложения в современном литературном таджикском языке», А. Мирзоев «Глагольные словосочетания с предлогом „аз“», С. Абдурахимов «Изафетные именные словосочетания», С. Атобуллоев «О классификации сложных предложений с придаточными подлежащими в современном литературном таджикском языке») и лексике (Н. Шарофов «Развитие лексики литературного таджикского языка в 40-е годы»).

Различные вопросы грамматического строя таджикского языка нашли отражение в специальных выпусках «Ученых записок» пед. институтов республики, материалах научных конференций⁴. В частности, на пятой межвузовской научной конференции по иранской филологии (Душанбе, 1966) выступили с докладами

³ Заметим, что столь же невелик удельный вес морфологической тематики и среди защищенных в последние годы кандидатских диссертаций. Здесь можно назвать только: К. Шукурова, «Качественные прилагательные в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1970.

⁴ См.: «Мақолаҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик [Институтҳои давлатии педагогии Душанбе, Институтҳои давлатии педагогии Ленинобод]», XXVII, Ленинобод, 1968; «Уч. зап. [Кулябского гос. пед. ин-та им. Рудаки, Душанбинского гос. пед. ин-та им. Т. Г. Шевченко]» (Филолог. серия), IV (вып. VIII), Куляб, 1969; «Материалы III юбилейной конференции молодых ученых Таджикской ССР, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», Душанбе, 1970, стр. 63—89.

¹ Б. Ниязмухаммедов, Забоншиносии тоҷик, Душанбе, 1970.

² «Масъалаҳои забоншиносии тоҷик», Душанбе, 1967.

и сообщениями 18 таджикских языковедов⁵.

К области разработки исторической морфологии относится монография Б. Сияева «Очерки по истории глагола таджикского литературного языка»⁶, написанная на материале одного из древнейших прозаических памятников таджикского (персидского) языка — «Табрихи Табары» («История Табары») с привлечением также сведений из ряда других рукописей классического периода, из современного таджикского литературного языка и многих его диалектов. Изучая наклонения глаголов, автор отмечает, что в IX—X вв. модальные глаголы, наряду с наклонениями, служили важным средством выражения модальности. На основе наблюдений над значениями модальных глаголов автор приходит к выводу о том, что уже в языке IX—X вв. модальность была сложившейся категорией.

Рассматриваются также служебные глаголы, дается их классификация, выявляются особенности употребления сложноподлежащих глаголов. На основе анализа ряда глагольных форм, таким образом, автор приходит к определенным выводам относительно состояния языка в IX—X вв.

Исследованы также особенности глагола в языке ранненовотаджикского памятника «Зайн-ал-ахбар» Гардизи (XI в.)⁷ и предлоги в среднеперсидском языке⁸.

Наибольшее внимание языковеды Таджикистана в истекшее пятилетие уделяли изучению синтаксиса. Ряд работ, в том числе и кандидатских диссертаций⁹, ка-

сается синтаксиса простого предложения.

В книге А. Халилова «Грамматические функции изафета (-и) в современном таджикском литературном языке» описана семантика изафетных определений, выраженных разными частями речи, особенности функционирования изафета, рассмотрены словообразовательные функции изафета (т. н. сложнойизафетные слова типа *Шамъигула, мардикор*), роль изафета в образовании фразеологических сочетаний¹⁰.

Работа А. Эшанджанова «Именные сказуемые и способы их выражения», помимо способов выражения и грамматических функций именного сказуемого, затрагивает такие вопросы, как взаимоотношения между подлежащим и сказуемым, место именного сказуемого в предложении¹¹.

В книге Б. Н. Ниязмухаммедова и Ш. Рустамова «Некоторые вопросы синтаксиса современного таджикского литературного языка» освещаются отдельные стороны строения как простого предложения (исследована природа обстоятельств, которые разделены на девять групп, средства их выражения, их местоположение в предложении), так и сложного (предложения с несколькими придаточными, сложные предложения условной конструкции)¹².

Интенсивная работа велась таджикскими языковедами в сравнительно мало изученной области синтаксиса сложного предложения.

В работе Д. Таджиева «Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными»¹³ рассматриваются сложные предложения с соподчиненными придаточными предложениями, которые делятся на однородные и неоднородные. Однородные придаточные предложения — те, которые относятся к одному члену главного предложения или ко всему глав-

⁵ См.: «V Межвузовская научная конференция по иранской филологии. Тезисы докладов. Тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина», Душанбе, 1966.

⁶ Б. Сияев, Очеркҳо доир ба табрихи феъли забони адабии тоҷикӣ, Душанбе, 1968.

⁷ М. Давлатова, Глагольная лексика и глагольное словообразование в «Зайн-ал-ахбар» Гардизӣ. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969.

⁸ А. Каримов, Первичные предлоги в среднеперсидском языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1970.

⁹ См., например: И. Норова, Обращение, вводные слова и предложения в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1964; С. Абдурахимов, Словосочетания с именем существительным в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1967; А. М. Мирзоев, Глагольные словосочетания с временными отношениями в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1967; М. Норматов, Порядок слов в современном та-

джикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1968; Ш. Рашидов, Простые односоставные предложения в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969; С. Рахматова, Обобщающие слова и словосочетания в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1971.

¹⁰ А. Халилов, Вазифаҳои грамматикӣи бандиҳои изофӣ (-и) дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1969.

¹¹ А. Эшонҷонов, Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавӣи онҳо, Душанбе, 1969.

¹² Б. Н. Ниязмухаммедов, Ш. Рустамов, Базе масъалаҳои синтаксисӣи забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1968.

¹³ Д. Тоҷиев, Ҷумлаҳои мураккаби тоҷикӣ сартариба, Душанбе, 1966.

ному предложению; в сложных предложениях такого типа наблюдаются два вида синтаксической связи: сочинительная, посредством которой соединяются сами однородные придаточные, и подчинительная, которая служит соединению главного и однородных придаточных предложений. Специальный раздел посвящен анализу сложных предложений с неоднородными придаточными, способов их связи (подчинительные союзы, интонация); там же рассматриваются сложные предложения с последовательным подчинением (сложные предложения с придаточными первой и второй степени). В зависимости от характера и функции сложного предложения придаточное второй степени в таджикском языке может находиться впереди придаточного первой степени.

В монографии Ш. Рустамова «Сложные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке»¹⁴ исследуются природа, функции сложноподчиненного предложения с придаточными причины, место придаточного причины в составе сложного предложения, а также синонимия придаточных предложений, с одной стороны, и инфинитивных и деепричастных словосочетаний, с другой.

Вопросы, связанные со строением и спецификой таджикского сложного предложения, исследовались в некоторых кандидатских диссертациях¹⁵.

Практические вопросы таджикской лексикологии и лексикографии рассматриваются в работах К. Тохировой «Лексика современного таджикского литературного языка»¹⁶ и М. Мухаммадиева «Очерки по вопросам лексики таджикского языка»¹⁷.

Обогащение лексики таджикского языка в советский период и, в частности, проникновение военных терминов во время Великой Отечественной войны показано в двух работах Н. Шаропова¹⁸.

¹⁴ Ш. Рустамов, Чумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1968.

¹⁵ См.: В. Н. Мещеряков, Вопросы синтаксиса сложноподчиненного предложения современного таджикского языка в аспекте конструктивной омонимии при союзе «ки». Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1964; С. Атобуллоев, Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в таджикском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969.

¹⁶ К. Тохирова, Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1967.

¹⁷ М. Мухаммадиев, Очеркҳои ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, Душанбе, 1968.

¹⁸ Н. Шаропов, Инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик бо термин-

Арабизмы и тюркизмы в таджикском языке рассматриваются в двух кандидатских диссертациях¹⁹. В республике исследуются также таджикские заимствования в русском языке²⁰.

Двухтомный «Фразеологический словарь современного таджикского языка», составленный чл.-корр. АН ТаджССР М. Ф. Фазыловым²¹, послужил своеобразным толчком для активизации научно-исследовательской работы в этой области. Различным аспектам фразеологии посвятили свои исследования Х. Маджидов и С. В. Хушенова²².

Важным событием в научной и культурной жизни республики явился выход в свет двухтомного «Словаря таджикского языка» (1969), подготовленного Институтом языка и литературы АН Таджикской ССР²³.

Завершено составление «Большого русско-таджикского словаря» (300 печ. л.), он представлен в издательство.

В последние годы издан ряд терминологических словарей: «Русско-таджикский юридический терминологический словарь» (С. А. Раджабов, А. Л. Бухари-заде, С. М. Касымов, А. М. Мавлянов, Ш. Р. Разыков, О. У. Усманов, Р. Н. Хамракулов, М. М. Муллоев), «Русско-таджикский терминологический словарь по химии» (Л. Ш. Раджабов, А. Р. Рахманов), «Русско-таджикский термино-

ҳои ҳарбӣ (солҳои 1940—1945), Душанбе, 1970; е го же, Обогащение словарного состава современного таджикского литературного языка в советский период. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1965.

¹⁹ Т. Бердыева, Арабские заимствования в таджикском языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969; М. Юнусов, Тюркские (узбекские) слова в таджикском языке. Автореф. канд. диссерт., Баку, 1971 г.

²⁰ Э. Н. Кушлина, Таджикские и узбекские слова в русском языке, Душанбе, 1968; И. Л. Николаев, К вопросу об упорядочении заимствований в русском языке из таджикского, «Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию „Основные проблемы эволюции языка“», ч. II, Самарканд, 1966; е го же, Русский и таджикский, «Русская речь», 1968, 1.

²¹ См. рецензию С. В. Хушеновой на этот словарь: ВЯ, 1969, 2.

²² См.: Х. Маджидов, Лексико-семантические особенности глагольных фразеологических единиц современного таджикского литературного языка. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1968; С. В. Хушенова, Изафетные фразеологические единицы таджикского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1966.

²³ См. рецензию Т. Абдуджаббарова на этот словарь: ВЯ, 1971, 2.

логический словарь по географии» (Х. Рахматуллаев), «Латино-русско-таджикский анатомический словарь», «Русско-таджикский терминологический словарь по философии», «Словарь литературных терминов»²⁴. Вышел в свет словарь-справочник, содержащий русские существительные, оканчивающиеся на -ь, и их таджикские соответствия²⁵. Сдан в печать «Русско-таджикский лингвистический словарь» (В. Капранов, Я. Калантаров).

Большую помощь составителям словарей самых разных типов оказывает глубокое изучение истории лексикографии, лексики и строения дореволюционных словарей, известных под общим названием «фарханги». Х. Раунов, исследуя «Фарханги Джахонгири» как источник таджикско-персидской лексикографии, определил источники словаря, его структуру и содержание, изучил основные лексикографические принципы (подача слов и толкование значений, система помет, иллюстративный материал и т. д.), показал его влияние на дальнейшее развитие таджикско-персидской лексикографии; изложены также грамматические воззрения составителя словаря²⁶.

Сравнительно недавно обратились лингвисты ТаджССР к исследованию языка и стиля писателя, вопросов культуры речи. В монографии Р. Гафарова «Язык и стиль Рахима Джаляила»²⁷ и Б. Камоллидинова «Язык и стиль Хакима Карима»²⁸ рассматриваются идейно-художественная роль языковых средств и индивидуальные особенности мастерства этих таджикских советских писателей в использовании богатств родного языка. Тематически сюда же примыкают работы о лексике и фразеологии в языке Джалоло

Икрами и о языковых особенностях прозы начала XX в.²⁹

В работе М. Шукурова «О культуре речи» анализируются типичные ошибки в употреблении слов, словосочетаний и предложений, даются практические рекомендации, попутно излагаются и некоторые вопросы пунктуации³⁰. Вплоть до последнего времени пунктуация таджикского языка не была упорядочена, что вызывало множество затруднений в школьном преподавании, в работе издательств. Упорядочению пунктуации во многом способствовала также работа Х. Хусейнова «Основные правила пунктуации таджикского языка»³¹.

В самостоятельную отрасль языкознания в Таджикистане выросло сопоставительное изучение языков — в основном русского и таджикского³². Сопоставительное изучение дает возможность с наибольшей полнотой описать соотношенность отдельных языковых категорий, необходимость чего вызвана прежде всего потребностями преподавательской, переводческой и лексикографической работы.

В минувшем пятилетии продолжалось изучение говоров таджикского языка. М. Эшниязов в монографии «Говор хардур»³³ исследовал говор одной из наименее известных этнических ираноязычных групп, проживающей в Кашка-Дарьинской области УзССР. Описание характерных фонетических, граммати-

²⁹ И. Хасанов, Лексика и фразеология романа Джалоло Икрами «Духтари оташ». Автореф. канд. диссерт., Пенджикент, 1966; С. Ходжиев, Языковые особенности прозы начала XX в. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1967.

³⁰ М. Шукуров, Харсухан чоеву хар нукта макоме дорад, Душанбе, 1968.

³¹ Х. Хусейнов, Қоидаҳои асосии истифодаи аломатҳои китобати дар забони тоҷик, Душанбе, 1966.

³² См.: А. И. Королева, Имя прилагательное в русском и таджикском языках. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1966; И. Б. Мошоев, Система изывательного наклонения в русском и таджикском языках. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1966; С. Д. Холматова, Способы передачи русских префиксальных глаголов на таджикский язык. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969; Х. А. Артыкова, Пространственные и временные значения, выражаемые первообразными предлогами русского языка, и их эквиваленты в таджикском языке. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1969. Ср. также: Г. Б. Баракаева, Принципы составления таджикско-английского словаря и вопросы таджикской и английской лексикографии. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1968.

³³ М. Эшниево, Шеваи хардурӣ, Душанбе, 1967.

²⁴ «Луғати русӣ-тоҷикӣ терминологияи юридикӣ», Душанбе, 1965; «Луғати русӣ-тоҷикӣ терминологияи химия», Душанбе, 1967; «Луғати русӣ-тоҷикӣ терминологияи география», Душанбе, 1968; Х. Х. Мирзоев, Латино-русско-таджикский анатомический словарь, Душанбе, 1966; М. Осимӣ, М. Бачаев, М. Диноршоев, Луғати русӣ-тоҷикӣ терминологияи философия, Душанбе, 1966; Р. Ходизода, М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов, Фарханги истилоҳоти адабиётшиносӣ, Душанбе, 1966.

²⁵ А. Халилов, И. Николаев, Луғати русӣ-тоҷикӣ исмҳои бо -ь тамомшаванда, Душанбе, 1967.

²⁶ Х. Раунов, «Фарханги Джахонгири» как источник таджикско-персидской лексикографии. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1966.

²⁷ Р. Гафаров, Забон ва услуби Раҳим Ҷалил (дар асоси романи «Пӯлод ва Гудрӯ»), Душанбе, 1966.

²⁸ Б. Камоллидинов, Забон ва услуби Ҳаким Карим, Душанбе, 1967.

ческих и лексических особенностей говора хардури дается на широком сравнительном фоне (с привлечением данных современного таджикского литературного языка, других таджикских говоров и близкородственных иранских языков, а также таджикско-персидского языка классического периода).

М. Эшнйезов издал первое в республике пособие для вузов «Практические занятия по таджикской диалектологии»³⁴, которое состоит из упражнений по фонетике, лексике, синтаксису и образцов текстов северных, центральных, южных, юго-восточных говоров, а также включает образцы таджикских говоров Кашка-Дарьинской и Сурхан-Дарьинской областей УзССР.

Вышел в свет первый научный сборник, посвященный вопросам изучения говоров таджикского языка, — «Вопросы таджикской диалектологии»³⁵. В семнадцати статьях сборника освещены различные стороны малоизученных и еще не изученных говоров таджикского языка.

Монографически описаны говоры таджиков Фориша, Шаартуза, окрестностей Андижана³⁶.

В центре Таджикской республики, в долине реки Ягноб, живет около двух тысяч горных таджиков, говорящих на таджикском языке и ягнобском. Ягнобский диалект — потомок согдийского языка; его изучение представляет большой интерес для филологической науки. В Таджикистане исследованием ягнобского языка занимается А. Л. Хромов³⁷. По

мнению А. Л. Хромова, в топонимии и микротопонимии исследованного района, а также в субстратной лексике, сохранившейся в таджикских говорах, отражился процесс вытеснения согдийских говоров таджикскими, происходивший в течение многих веков, но так и не завершившийся окончательно. Топонимические данные подкрепляют вывод историков о почти неизменном этническом составе населения Верхнего Зеравшана. Данные топонимии дают возможность определить территорию распространения говоров в прошлом и более того, как подчеркивает автор, установить хронологию процесса взаимодействия согдийско-ягнобских и таджикских говоров (во всяком случае для Ягноба и долины реки Фан-Дарья). Сопоставление материала ягнобского языка с материалом сохранившихся памятников согдийской письменности позволило определить диалектную основу прото-ягнобского как одного из согдийских диалектов Уструшаны, который отличался рядом черт от согдийского языка Самарканда, легшего в основу письменного согдийского языка.

Медленно, но все увереннее проникают в таджикское языкознание точные методы исследования. Так, Т. Н. Хаскашев сделал удачную попытку на основе орфографических данных определить фонетическую природу ударения в таджикском языке, а также уточнить, какой из компонентов ударения при выделении ударного слога (гласного) в слове для таджикского языка является основным и главным³⁸.

Издаются учебники таджикского языка для высших учебных заведений³⁹.

А. М. Мирзоев, И. Л. Николаев

Верхнего Зеравшана. Автореф. докт. диссерт., Душанбе, 1970.

³⁸ Т. Н. Хаскашев, Фонетическая природа ударения в двусложном изолированно произнесенном слове в таджикском языке, «Сборник работ аспирантов [Таджикск. гос. ун-та им. В. И. Ленина]», 6, Душанбе, 1968.

³⁹ С. А. Рзуманов, О. Чалолов, Забони тоҷикӣ, Душанбе, 1969, «Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис», изд. 2, Душанбе, 1970.

³⁴ М. Эшнйезов, Машгулиятҳои амалӣ аз шевашиносии тоҷик, Душанбе, 1959.

³⁵ «Масъалаҳои шевашиносии тоҷик», И. Душанбе, 1970.

³⁶ В. Касимов, Говоры таджиков Фориша. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1966; Н. Мурватов, Говоры таджиков окрестностей города Андижана. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1968; К. Саидова, Говор таджиков Шаартуза. Автореф. канд. диссерт., Душанбе, 1965; Г. Джуроев, Говоры таджикоязычных арабов. Автореф. канд. диссерт., Тбилиси, 1969.

³⁷ См.: А. Л. Хромов, Историко-лингвистическое исследование Ягноба и

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25—26 марта в Лейпциге проходила национальная ономастическая конференция ГДР на тему «Вклад в марксистско-ленинскую ономастику», которая была организована Секцией теоретического и прикладного языкознания Лейпцигского университета им. К. Маркса и проблемной группой «Ономастика», объединяющей лингвистов Лейпцига и Цвикау. Конференция ознаменовала новый этап ономастической работы в ГДР. От региональных исследований, посвященных топонимии небольших территорий, специалисты ГДР перешли к широкому ареальному изучению топонимии и антропонимии. Лингвистические методы исследования дополняются социолингвистическими и историко-этнографическими. Возрос интерес к теоретическим проблемам ономастики. С докладами и сообщениями, а также в дискуссии по докладам выступило 40 человек.

Руководитель Лейпцигской ономастической группы и организатор конференции Э. Эйхлер в своем вступительном докладе «Задачи и перспективы ономастических исследований в ГДР» подчеркнул важность нового этапа разработки ономастических проблем, необходимость освоения новых методов ономастических исследований и остановился, в частности, на роли социолингвистики в связи с различиями в типах именований у представителей разных социальных групп. Он призвал ономастов творчески осваивать тот большой материал, имеющий непосредственное отношение к ономастическим исследованиям, который содержится в работах классиков марксизма-ленинизма и который еще недостаточно полно проанализирован лингвистами.

Генеральный секретарь Международного комитета ономастических наук Г. Драе (Бельгия, Лувен) в докладе, посвященном целям и задачам работы Международного комитета ономастических наук, подчеркнул специфику ономастического материала, испытывающего на себе интерференцию языков, благодаря чему необходимы особые методы его изучения. Он считает ономастику многообещающей и перспективной областью, в которой должны объединиться усилия

многих специалистов, и полагает, что применение счетных машин для ономастических исследований может дать положительный результат.

За два года, в течение которых Г. Драе руководит Международным комитетом ономастических наук (после смерти проф. Ван де Вейера), был проведен X Международный конгресс ономастических наук (Вена, 1969) и опубликованы его материалы, а также изданы труды предыдущего IX конгресса (Лондон, 1966). По инициативе проф. Г. Драе к основной тематике следующего, XI конгресса (София, 1972): «Ономастика и историческая география» и «Транскрипция собственных имен» добавляется третья проблема: «Ономастика и лингвистика».

Интересный доклад о значении ономастических работ Ф. Энгельса для марксистско-ленинской ономастики сделал К. Хенгст (ГДР, Цвикау), с содокладом о работах Энгельса выступил Х. Шультхайс (ГДР, Лейпциг).

Интерференция языков в области ономастики и образование гибридных именных моделей — явление очень типичное для территории ГДР, где до сих пор сохранилось абортинное славянское население (сорбы, или лужичане). Приведенный К. Хенгстом пример гибридной именной модели *Bojandorf* вызвал оживленную дискуссию. Современное немецкое словообразование требовало бы модели *Bojansdorf* с посессиивным *-s-* у первого компонента. В. Шпербер (ГДР, Лейпциг) высказал предположение, что первый компонент сложения мог иметь йотовый суффикс, как это было типично для средневековых славянских названий. Однако, как представляется, йотовый суффикс у первого компонента мог быть лишь в том случае, если второй компонент сложения был также славянским. Возможно, компонент *-dorf* мог оказаться вторичным, калькирующим первичный славянский элемент с близким значением.

Х. Вальтер (ГДР, Лейпциг) показал связь общественного прогресса и исторического развития словарного состава языка, а также параллелизм в развитии общего лексикона и ономастикона.

На социальных моментах в нижнелужицком ономастиконе остановился Ф. Редлих (ГДР, Лейпциг). Населе-

ние областей, где живут лужичане, двуязычно. В антропонимии их отчетливо просматриваются славянские и германские пласты. Сорбы в массе своей крестьяне; заселившие их территории помещики, главным образом — немцы средних классов, принесли с собой германские имена и фамилии. Здесь поэтому типичны фамилии *Шульце* «сельский староста», *Тишлер* «столяр», но не *Ризтер* «судья» (последнюю мог принести с собой выходец из высших классов, которые не участвовали в заселении территории лужичан). В то же время у лужичан отчетливо прослеживается пласт старых крестьянских фамилий, как правило, славянских.

В. Бланар (Чехословакия, Братислава) продолжает большую работу, посвященную функциям антропонимов в обществе и основным характеристикам, заключающимся в антропонимических моделях и основах. Наибольший интерес для его исследования представляют «живые» имена, т. е. несущие реальную характеристику самого человека или его положения в коллективе. Однако, как представляется, указанные характеристики чаще оказываются ретроспективными. Переживая эпоху и своих создателей, имя служит скорее памятником породивших его социальных факторов, нежели их непосредственным отражением. Этой проблематике был посвящен доклад А. В. Суперанской (СССР, Москва) «Изучение лексических основ антропонимов». Сопоставляя лексемы, представленные в именах разных народов, она показала типологическое сходство и различие их именников.

Варьированию собственных имен были посвящены доклады В. Флейшера (ГДР, Лейпциг) и В. Э. Сталтмане (СССР, Москва). В. Флейшер различает для имен около 20 типов вариантов, обычно не имеющих социального или стилистически значимого различия: *ГДР* и *Германская Демократическая Республика*, *Лисси* и *Лиззи*, *Эльбзандштайн-гебурге* и *Саксонская Швейцария*, и дублеты, наделенные подобными различиями: *Вольфганг* и *Вельфген*, *Петер* — *Пьер* — *Пер* — *Пётр*, *Зауседлицц* (зау «свинья») — *Шёнседлицц* (шён — «прекрасный»).

В. Э. Сталтмане сравнивает роль неофициальных вариантов личных имен в русской и латышской языковой среде и показывает лингвистическое отличие их путем сопоставления со словообразовательной системой апеллятивов.

Т. Витковский (Берлин) затронул важную тему о взаимовлиянии письменной традиции и диалектного произношения в топонимии, показав, что письменная фиксация топонимов стремится к регулярности и грамматической и

орфографической «правильности», а устная диалектная форма, особенно в случае двуязычия, точнее сохраняет систему соответствий и звуковых замен в контактирующих языках. Чрезвычайно ценны результаты сопоставительного анализа письменных памятников, отражающих диалектные черты, современных устных диалектных форм и официальных письменных источников.

Й. Каваль (Лейпциг) выступил с анализом словообразовательных моделей названий жителей в русском языке, показав, с какими топонимическими основами сочетаются какие суффиксы.

Оживленный интерес вызвал доклад И. А. Воробьевой (Томск), посвященный социолингвистическому анализу диалектной и ономастической лексики сибирского говора. Топонимия анализируемой территории складывалась вместе с говором переселенцев. С середины XIX в. памятники фиксируют осознанность отличий этого говора от литературного языка (ср. в списке 1859 г.: с. *Мартелово*, т. е. *Маркелово*). В после-революционный период наблюдается значительное приближение диалектных норм к нормам литературного языка. Процесс этот распространяется и на топонимы, неравномерно охватывая разные их типы: названия поселений скорее приближаются к нормам литературного языка, в микротопонимии диалектные черты сохраняются дольше. В. Шпербер отметил аналогичные явления в немецких диалектах, указав на влияние речи старшего поколения на младшее и ее отличие от речи среднего поколения.

Я. Скутил (Чехословакия, Брно) сделал доклад об именах в средневековых памятниках; В. Шпербер — об этимологии этнонима *славяне*, считая наиболее вероятным происхождение его от лексемы *слово*, т. е. человек, слово которого можно понять (ср. *немец* — человек, речь которого не понятна).

Таким образом, в числе наиболее актуальных проблем современных ономастических исследований, помимо творческого овладения наследством классиков марксизма-ленинизма, были названы следующие: сопоставительный анализ литературных и диалектных, устных и письменных, современных и древних форм имен; социальное обследование ономастических систем и вопрос о варьировании имен; ономастические модели и лексемы-наполнители; интерференция языков в ономастике; сходства и различия в развитии лексикона и ономастикона. В этих направлениях специалисты продолжат свою работу в ближайшие годы.

А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане
(Москва)

*

12 и 13 января в Ленинграде состоялись очередные чтения по проблеме «Типология предложения», посвященные памяти академика И. И. Мещанинова. Чтения открыла А. В. Десницкая (Ленинград).

В. З. Панфилов (Москва) в докладе «О типологии предложения» отметил, что типологическая классификация языков, разработанная И. И. Мещаниновым в последнее десятилетие его жизни, основывалась на тех отличиях в структуре предложения, которые свойственны синтаксическому уровню членения предложения, дал на широком языковом материале анализ других сторон структуры предложения, которые наряду с его синтаксической структурой должны быть предметом типологических исследований. На материалах языков различных типов в докладе было показано, что существенные отличия в структуре предложения выявляются не только на синтаксическом уровне, но и на его логико-грамматическом уровне — в способах выражения логико-грамматического членения предложения и функционирующих на этом уровне категорий (предикативности и модальности), а также в характере соотношения синтаксического и логико-грамматического членения предложения. Исследование этих аспектов структуры предложения имеет кардинальное значение для определения его признаков как языковой единицы и его типологической характеристики. Так же, как и на синтаксическом уровне членения, структура предложения на логико-грамматическом уровне коррелирует со структурой слова. Установление характера этой корреляции является одним из важных аспектов типологических исследований, имеющих целью выявление параметров типологической классификации языков.

И. Ф. Вардудль (Москва) в докладе «О разграничении предложения и периода» предложил разграничивать предложение как предикативную единицу и предложение как самостоятельное синтаксическое целое. Понятие «предложение» следует расценивать, по мнению докладчика, на два понятия: «предложение» и «период» (sentence и clause). Предложение следует рассматривать как целую (предикативную) единицу синтаксического яруса. Она делится на члены предложения (или состоит из одного члена предложения). Период является высшей единицей того же яруса и в свою очередь делится на предложения (или состоит из одного предложения). В зависимости от места в составе периода предложение может быть простым или сложным, главным или придаточным, сочиненным или несочиненным.

С. Д. Кацнельсон (Ленин-

град) в докладе «О понятии субъекта предложения» рассмотрел два вопроса: о соотношении понятий логического и грамматического субъекта и о формах его выражения. Широко распространенное разграничение «логического» и «грамматического» субъектов, по его мнению, не имеет под собой реальных оснований. Принятое в традиционной (аристотелевской) логике понятие субъекта, в сущности, совпадает с грамматическими понятиями «господствующего» и «зависимого состава», «темы» и «ремы» (последние не имеют прямого отношения к логике и носят скорее ситуативно-коммуникативный характер). На собственно мыслительном уровне следует различать лишь предикат и неразрывно связанные с ним «аргументы» (или, в терминологии Л. Теннера, «актанты»).

Универсальной формой выражения субъекта как актанта, наделенного функцией «темы», является первое место в предложении (т. е. место впереди других актантов). Это правило действительно не только для аналитических языков, но и для языков синтетического строя. В падежных языках наряду со словопорядком в качестве средства выражения субъекта употребляются специальные падежи, но они являются при этом дополнительным средством выражения субъекта. Они могут поэтому не только дублировать функцию порядка слов, но в ряде случаев вступать с ней в конфликт. В безличных предложениях в роли субъекта выступает форма косвенного падежа. В языках эргативного строя — формы косвенных падежей. Во всех таких случаях решающим средством выделения субъекта является порядок слов.

М. А. Кумахов (Москва) в докладе «О структуре предложения в языках полисинтетического типа» отметил, что в последнее время иногда оспаривается точка зрения, согласно которой глагол способен выполнять роль основного ядра предложения. Однако тот факт, что в полисинтетических языках именно глагол, а не другие лексико-грамматические классы слов характеризуются чрезвычайно высокой степенью синтеза, делает глагол-сказуемое основным ядром предложения. Этим определяется и своеобразие предложения, его отношение к другим языковым единицам. В языках полисинтетического типа предложение не всегда поддается дихотомическому членению, несмотря на разложимость и прозрачность его структуры. Полисинтетизм обуславливает значительный диапазон вариантности структуры предложения; вообще полисинтетизм порождает вариантность предложения в большей степени, чем агглютинация или аналитизм. Возможность чередования подлежащего и второстепенных членов предложения с нулем связана с их irrelevantностью в разных типах предложения. Этой особенностью

объясняется тот факт, что установленные в описательных грамматиках разные типы предложения при анализе их структуры часто оказываются лишь вариантами одного типа предложения. В заключение докладчик отметил, что новые и новейшие синтаксические теории строятся без привлечения материала языков с высокой степенью синтеза.

В докладе Ю. А. Попашова (Ленинград) «О местоименных показателях объектных отношений в балканских языках» были рассмотрены функции кратких форм личных местоимений в современных литературных балканских языках с точки зрения грамматикализации кратких местоимений в этих языках. Потребность в специальных показателях объектных отношений в балканских языках, по мнению докладчика, вызвана синтаксической омонимией — формальным совпадением дополнения с другими членами предложения. Выступая в качестве таких показателей, краткие местоимения в определенных случаях непосредственно сигнализируют синтаксические отношения в предложении. Наличие специальных грамматических показателей объекта позволяет обеспечить регулярное выражение объектных отношений. Это намного повышает способность контекста разрешать омонимию и в тех случаях, когда другие средства, в том числе и сами краткие местоимения, в ее разрешении не участвуют вследствие их отсутствия или нейтрализации.

Е. А. Крейнович (Ленинград) в докладе «Об одной каузативной конструкции сложного предложения в нивхском языке» рассмотрел каузатив в функциях сказуемого простого предложения, сказуемого придаточного предложения и обстоятельственного члена предложения. В простом предложении реальный исполнитель действия, выраженный косвенным дополнением, всегда подчинен воле субъекта действия, выраженного подлежащим. В составе сложноподчиненного предложения субъект действия сказуемого придаточного предложения, выраженного каузативом, может действовать как зависимо, так и независимо от воли субъекта действия главного предложения, но почти во всех случаях, отметил докладчик, выявляется заинтересованность последнего в действии, совершаемом первым. При этом сказуемое придаточного предложения, выраженное каузативом, согласуется не со своим субъектом действия, а с субъектом, действия главного предложения, принимая его личный (деепричастный) показатель. Такое же грамматическое оформление получают сказуемые придаточных предложений, выраженных каузативом, при сказуемых главного предложения, представленных глаголами восприятия (видения, слышания).

В докладе Н. Д. Андреева (Ленинград) «Лексико-синтаксические ва-

лентности в их отношении к понятийным категориям» были рассмотрены такие вероятностные дифференциальные признаки, которые противопоставляют один лексический класс другому по устойчивым статистическим различиям в дистрибуции синтаксических связей, т. е. через проявления их лексико-семантических свойств на грамматическом уровне.

Т. А. Бертагаев (Москва) в докладе «Типы предложений в монгольских языках» разделил монгольские предложения по составу и структуре на следующие типы: 1) простые, 2) предложения с оборотом, 3) сложные, 4) осложненные, 5) суперсложные (смешанные). Простые включают: а) подлежащие, б) бесподлежащие-безличные, в) обобщенно-личные, г) предложения с субъектным именем в аблативе [в минимальном составе: субъект (имя в аблативе) плюс объект (имя в вин. падеже) плюс сказуемое (переходный глагол)]. Предложения с оборотом: в минимальном составе: субъектное имя (в им., род. или вин. падежах, в нулевой форме падежа) плюс причастие (деепричастие). Докладчик дал определение обороту как относительно замкнутой синтаксической единице, составленной из указанных выше компонентов и являющейся аналитическим составным членом предложения. Сложные предложения разделяются на сочинительные и подчинительные, союзные и бессоюзные. Из-за неизученности монгольских строевых служебных слов (союзов и союзных слов) и вследствие приравливания оборотов к придаточным предложениям, монголисты до 60-х годов отвергали наличие в монгольском языке сложных предложений. Осложненные предложения образуются из сочетания нескольких (более двух) предложений, с различными видами подчинения. Суперсложные состоят из сочетаний подчинительных и сочинительных предложений различного типа с оборотами и без оборотов.

Х. М. Есенов (Алма-Ата) в докладе «Структурная типология сложноподчиненных предложений в современном казахском языке» отметил, что в тюркских языках сказуемые придаточного предложения со своими отдельно выраженными подлежащими являются основным звеном, скрепляющим этот вид предложений с главным. В оформлении синтаксических отношений важную роль играют послелоги, соотносительные слова и некоторые слова с самостоятельным значением. Докладчик подробно анализирует способы связи придаточных предложений с главными, когда сказуемые придаточных предложений выражены причастием, деепричастием, глаголом в условном наклонении и глагольным именем. Далее Х. М. Есенов по способу выражения связи сложноподчиненных предложений выделяет три основных типа: сложноподчи-

ненные синтетического типа, в которых сказуемое придаточного выражается надежными формами причастий, деепричастиями, глаголом в условном наклонении и глагольными именами; сложноподчиненные предложения аналитического типа, синтаксические отношения в которых характеризуются относительной самостоятельностью членов предложения и связь между которыми является менее тесной, чем в предложениях синтетического типа; сложноподчиненные предложения аналитико-синтетического типа образуются средствами связи как синтетического, так и аналитического типа. В заключение докладчик приходит к выводу, что казахский язык по структурной типологии сложноподчиненных предложений ближе всего стоит к иберийско-кавказским и палеоазиатским языкам, и, прежде всего, к языкам эскимосско-алеутской группы.

Е. В. Пузицкий (Москва)

*

С 13 по 15 января 1971 г. в Киеве проходила Юбилейная научная сессия Академии наук УССР, посвященная столетию со дня рождения академика АН УССР Агафана Ефимовича Крымского. В ее работе приняли участие ученые Украины, Москвы и целого ряда союзных республик.

Во вступительном слове президент АН УССР акад. Б. Е. Патон, отметив роль А. Е. Крымского в деле организации Украинской Академии наук, указал на значение его многосторонней научной деятельности для развития мировой цивилизации. Юбилей академика А. Е. Крымского внесен в 1970 г. в утвержденный XVI сессией Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО перечень выдающихся событий, которые отмечаются во всем мире.

Глубокий анализ научной, педагогической и общественной деятельности А. Е. Крымского дал в своем докладе «Творческий подвиг ученого» вице-президент АН УССР акад. АН УССР И. К. Белодед. Он подчеркнул, что А. Е. Крымскому принадлежит значительное место в истории филологической науки XIX—XX вв. Один из основателей Украинской Академии наук, первый ее непреходящий секретарь, выдающийся организатор, теоретик украинского языкознания, первый директор научного языковедческого учреждения на Украине, А. Е. Крымский, осуществляя принципы ленинской национальной политики, заложил фундамент украинского советского языкознания.

В докладе А. Е. Засенко (Киев) «А. Крымский — исследователь и критик украинской литературы» обстоятельно освещен вопрос идейно-политической эволюции взглядов А. Е. Крымского в области истории и критики древней и новой украинской литературы. Докладчик

особо подчеркнул значение творческой дружбы А. Е. Крымского с И. Франко, М. Драгомановым, М. Павличком, Лесей Украинкой и другими передовыми деятелями.

И. М. Смилянская (Москва) в докладе «А. Е. Крымский как востоковед и арабист», отметив, что одной из важнейших линий научного творчества А. Е. Крымского было изучение проблемы культурно-исторического взаимодействия народов на материалах Ближнего и Среднего Востока, выделила то новое, что внес ученый в ориенталистику (важные открытия в области изучения так называемых «бродячих сюжетов» в литературе, попытки вскрыть социальные корни в оппозиционных течениях религиозно-философской мысли Востока и др.) и остановилась на значении фундаментального рукописного труда «История новой арабской литературы», определив его как исследование, опередившее на несколько десятилетий мировую науку.

На заседаниях Секции украинистики было прослушано 13 докладов.

Чл.-корр. АН УССР И. А. Гуржий (Киев) в докладе «А. Е. Крымский о некоторых проблемах истории Украины» охарактеризовал важные проблемы истории Киевской Руси и Украины — этногенез украинского народа, этническое единство восточных славян, связи Киевской Руси с Ираном эпохи саманидов, возникновение казачества на Украине и др., которые затрагиваются в трудах А. Е. Крымского.

Анализу литературно-художественного творчества А. Е. Крымского посвятили свои доклады А. А. Каспрук (Киев) «Поэтическое творчество А. Е. Крымского» и П. И. Колесник (Киев) «Роман А. Е. Крымского „Андрій Лавовський“».

А. И. Дей (Киев) в докладе «А. Е. Крымский — исследователь украинского устного народного творчества», рассмотрев труды А. Е. Крымского по фольклористике, выразил пожелание, чтобы ценные рукописные фольклорно-этнографические материалы ученого были опубликованы в серии «Памятники украинского фольклора», к изданию которой приступил Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР.

В докладе М. А. Жовтубрюха (Киев) «Проблемы исторической фонетики в работах А. Е. Крымского» подчеркивалось, что ученым, существенно расширившим круг вопросов в области исторической фонетики украинского языка, которые требуют исследования, были сформулированы некоторые закономерности фонетических изменений так, как они формулируются и в настоящее время; для многих фонетических процессов оп-

ределены условия, в которых они происходили (например, для изменения *е* в *о* после шипящих и после *й* в украинском языке определено обязательное условие — исконная твердость следующего за *й* согласного). Положительной особенностью работ А. Е. Крымского является стремление к хронологизации исторических явлений в развитии звуковой системы украинского языка (например, падение редуцированных *ъ* и *ь*, появление вторичного *і* и др.). Проследивая реализацию того или иного фонетического явления в территориальных диалектах, исследователь устанавливал время его распространения в украинском языке в целом. А. Е. Крымский точнее, чем его предшественники и современники, с которыми он полемизировал, определял фонетические особенности украинского языка на разных этапах его развития (в частности, такие, как переход *о* в *е* в различных условиях, переход *о* в *е* и некоторые другие).

Лингвистические работы ученого отличаются большим количеством фактических данных из письменных памятников украинского языка на протяжении всей истории его развития. Заслуживают внимания его замечания о необходимости критического отношения к тем или иным фактам, отраженным в памятниках. Исследования А. Е. Крымского в области исторической фонетики украинского языка являются важной вехой в науке, во многом они не утратили своей научной ценности и в наше время.

В. М. Русановский (Киев) в докладе «Вопросы исторической грамматики в работах А. Е. Крымского» отметил, что истолкование фактов истории грамматической структуры ученых подчинял освещению истории древнейшего периода в истории восточнославянских языков, представленного письменными памятниками XI—XIV вв., уделяя большое внимание периоду общерусского единства и его распада, началу и интенсификации дивергентных процессов в восточнославянском языковом мире, которые, в конечном счете, привели к возникновению трех восточнославянских языков. В докладе рассмотрена концепция происхождения восточнославянских языков, выдвинутая А. Е. Крымским, который не раз решительно высказывался за существование периода восточнославянского языкового единства.

Представляют интерес соображения А. Е. Крымского о происхождении отдельных форм в украинском языке. Рассматривая вопрос о причинах распространения надежных окончаний мн. числа из парадигмы имен существительных с основой на *-а-* в парадигму *ѣ-* основ и основ на *-й-*, А. Е. Крымский в связи с тем, что соответствующие формы не фиксируются украинскими грамотами, пришел к выводу о том, что они были

заимствованы украинским языком из белорусского в XV в.

Как и большинство современных исследователей, он объяснял появление глагольных форм прошедшего времени на *-ѣ-*, постепенно вытеснявших формы на *-лѣ-*, влиянием старых причастий на *-ѣ-*; отклоняла предположение о фонетических причинах образования форм прошедшего времени на *-ѣ-*, исследователь привлекал для сравнения материал сербско-хорватского языка. Докладчик признал значительным вклад А. Е. Крымского в историческую грамматику украинского, а также русского и белорусского языков. О неутомимой организационной деятельности А. Е. Крымского в области украинской лексикографии и его лексикографических трудах говорилось в докладе С. И. Головащук (Киев) «А. Е. Крымский как лексикограф».

В докладе П. Д. Тимошенко (Киев) «Вопросы развития украинского литературного языка в трудах А. Е. Крымского» отмечается, что, обсуждая вопросы, связанные с нормализацией украинского литературного языка, А. Е. Крымский всегда выступал за развитие украинского литературного языка на восточно-украинской диалектной основе, поскольку говоры Поднепровья сравнительно однородны и попятны для носителей других украинских говоров.

В докладе А. А. Москаленко (Одесса) «Роль А. Е. Крымского в истории украинской орфографии» освещено активное участие А. Е. Крымского в работе по созданию орфографических кодексов украинского языка; особое внимание уделено критике А. Е. Крымским проекта украинской орфографии, утвержденного в 1928 г.

В. В. Нимчук (Киев) в докладе «Памятники украинского языка в трудах А. Е. Крымского» отметил, что традицию издания памятников успешно продолжает Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР.

И. Г. Матвеев (Киев) в докладе «Вопросы украинской диалектологии в работах А. Е. Крымского» подчеркнул, что вопросы исторической диалектологии ученых рассматривались в двух планах: 1) определялось диалектное членение южнорусских (протоукраинских) говоров в древнерусский период, а также диалектные особенности украинского языка в более поздние периоды; кроме того, рассматривалась проблема диалектного членения современного украинского языка; 2) делались попытки проследить отдельные явления современных диалектов в письменных памятниках разных столетий и, наоборот, обнаружить в современных украинских говорах соответствия определенным аномалиям, зафиксированным в письменных памятниках.

Место и роль ономастики в работах А. Е. Крымского осветил в докладе «Оно-

мастика в трудах А. Е. Крымского К. К. Целуйко (Киев), который призвал учитывать два основных направления деятельности А. Е. Крымского в данном аспекте — научное и литературно-художественное. Докладчик подчеркнул, что ученый часто использовал ономастический материал как источник для тех или иных теоретических обобщений и выводов.

А. В. Непокупный (Киев) в докладе «Полесье в лингвистических интересах А. Е. Крымского» констатировал, что начало целенаправленным исследованиям лексики Полесья положил А. Е. Крымский, предвосхитив тем самым разработку той области советского славяноведения, которая плодотворно исследуется в последние годы.

В заключительном слове руководитель Секции В. М. Русановский отметил, что Юбилейная сессия является началом большой и серьезной работы по изучению богатого научного наследия выдающегося украинского филолога, историка и писателя академика АН УССР А. Е. Крымского.

На заседаниях Секции востоковедения было прослушано и обсуждено 22 доклада. Из них 9 докладов было посвящено различным, прежде всего историко-филологическим и историко-культурным аспектам научной, научно-педагогической и литературно-критической востоковедной деятельности замечательного ученого.

В докладе Г. И. Никulina (Киев) «А. Е. Крымский — исследователь языков Ближнего и Среднего Востока» представлена общая характеристика некоторых важнейших лингвистических проблем, связанных с изучением природы взаимодействия близкородственных и разнородных языков, общих и частных, внутренних и внешних причин и факторов языковых эволюций, в том числе — процессов формирования литературных языков, в таких широко известных трудах, как «Семитские языки и народы» Т. Нёльдеке в обработке А. Е. Крымского (с участием акад. П. К. Коковцева), «Тюрки, их мови та літератури» и в неопубликованной работе А. Е. Крымского «Лінгвістична приналежність хазарів (і однововних з ними булгарів) як хронологічний ключ для їх найдавнішої історії, зхорашейся в Рукописном фонде Центральної научної бібліотеки АН УССР».

Как известно, подавляющее большинство работ А. Е. Крымского посвящено специальным исследованиям в области истории (в том числе — истории религии), этнографии, культуры и просвещения семитских, иранских и тюркоязычных народов Ближнего и Среднего Востока. Отдельные аспекты этой необычайно широкой ориенталистической проблематики нашли отражение во многих докладах

Секции востоковедения. Так, Н. А. Кузнецова (Москва) в докладе «Труды А. Е. Крымского по иранистике», отметив энциклопедическую широту иранистических интересов ученого, подчеркнула его роль в развитии комплексного подхода к исследованию иранской проблематики с позиций историко-географических и историко-филологических, литературоведческих и философских, религиозных и культурно-просветительских. Особенно значителен вклад А. Е. Крымского в изучение иранского элемента в истории культур и народов Средней Азии, Кавказа и Причерноморья, в развитии и формировании цивилизации на Ближнем и Среднем Востоке в древности и в средние века. В частности, основные причины возникновения суфизма и роль персов в разработке идеологии этого мистико-аскетического направления исламизма, а также социальная оценка возникновения исмаилизма и бабизма намечены А. Е. Крымским в «Очерке развития суфизма». Ученый в своих работах последовательно развивал тезис о многонациональности арабоязычной литературы, так называемой «мусульманской» и «иранской» культуры, не раз подчеркивая участие персов, арабов, тюрков, сирійцев и других народов в создании средневековой культуры на Востоке.

А. И. Ганусец (Киев) в докладе «А. Е. Крымский — талантливый украинский переводчик и исследователь литератур народов Востока» обратил внимание на то, что А. Е. Крымский впервые в истории украинской культуры перевел на украинский язык непосредственно с языка оригинала турецкие народные песни, персидские стихи Омара Хайяма, Хафиза, Саади, важнейшие разделы эпопеи Фирдоуси «Шах-наме» и др. Много и плодотворно ученый работал над исследованиями в области истории турецкой, персидской и особенно арабской литературы — им были написаны фундаментальные труды и сотни научных статей, заметок, посвященных творчеству лучших поэтов различных народов Востока. Эта же тема исключительно на материале новой арабской литературы была представлена в докладе Ю. Н. Кочубея (Киев) «Вклад А. Е. Крымского в изучение новой арабской литературы». Собственно исторической проблематике в востоковедном наследии ученого посвящен был доклад А. Г. Зыбиной (Киев) «А. Е. Крымский — выдающийся исследователь истории арабского Востока». В докладе И. Ф. Черникова (Киев) «А. Е. Крымский и разработка вопросов истории Турции» на материале целого ряда широко известных трудов [«История Турции и ее литературы (от возникновения до начала расцвета)», «История Турции и ее литературы от расцвета до начала упадка», «История Туреччины», «История Туреччины та її

письменства», «Вступ до історії Туреччини» и др.] характеризуется комплекс важнейших проблем, связанных с результатами глубоких исследований А. Е. Крымского в области изучения социально-экономической природы причин, обусловивших успехи турецких завоеваний в XIV—XVI вв., рост и расцвет Османской империи, а затем — упадок и, в конечном итоге, разложение этого деспотического государства.

В сообщении С. М. Алиева (Москва) «Вклад А. Е. Крымского в изучение истории культуры Азербайджана» отмечено, что А. Е. Крымский был первым советским ученым, опубликовавшим оригинальные исследования по истории Кавказской Албании. Он создал ряд работ, посвященных малоизвестной истории североазербайджанских городов Шеки и Кабала, и раскрыл некоторые неизвестные страницы истории Северного Азербайджана II—X вв. н. э. В докладе были охарактеризованы также взгляды А. Е. Крымского на персональную литературу Азербайджана эпохи сельджукидов, при этом особое внимание уделялось его неопубликованной монографии «Низами и его современники».

На материале интересных архивных данных было построено сообщение А. П. Базиянца (Москва) «Научная и педагогическая деятельность А. Е. Крымского в Лазаревском институте восточных языков». В докладе Н. А. Баскакова (Москва) «К столетию академика АН УССР А. Е. Крымского (из писем А. Е. Крымского к В. А. Гордлевскому)» на широком культурно-историческом фоне показаны важнейшие этапы научно-педагогической деятельности этого крупнейшего слависта и ориенталиста широкого профиля.

Целый ряд докладов Секции востоковедения Юбилейной сессии представляет собою разработку отдельных вопросов, связанных с проблематикой III Всесоюзного симпозиума «Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках», который был создан по инициативе Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Института языкознания АН СССР и Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР и приурочен к столетию со дня рождения А. Е. Крымского.

Здесь были прослушаны и обсуждены доклады и сообщения, посвященные в основном историко-этимологическому изучению тюркских лексических элементов восточнославянских языков, теории и практике составления национальных, региональных, ареально-профессиональных и лексико-тематических словарей тюркизмов; а также — обидеингвистическим проблемам и обобщающим по-

строениям в области теории языковых контактов и взаимодействий, билингвизма и полилингвизма, фонетико-морфологических субституций и собственно семантических ассимиляционных сдвигов в условиях иноязычного заимствования на материале тюркских лексических элементов славянских языков.

Наиболее общие вопросы, связанные с различными аспектами теории и практики историко-этимологических исследований в области проблемы Turco-Slavica и Slavo-Turcica, рассмотрены были в коллективном докладе Н. А. Баскакова, Р. В. Болдырева (Киев), И. Г. Добродомова (Москва) и А. Е. Супруна (Минск) «Проект инструкции для составления национальных словарей тюркизмов».

Специфике и «моделированию» лингвистической интерференции языковых контактов в связи с теоретическими изысканиями в области общей интерлингвистики был посвящен доклад А. М. Рота (Ужгород) «Проблемы восточнославяно-тюркских языковых контактов и взаимодействия языков и диалектов Карпатского ареала». В докладе указывалось, в частности при характеристике взаимосвязанности типа языковых контактов с динамичной лингвистической интерференции, на необходимость расчленения тюркских лексических элементов в восточных и западных славянских языках и диалектах по их «первичным историческим» и «историческим» источникам заимствования.

В. Д. Аракин (Москва) в докладе «Тюркские лексические элементы в древнерусских повестях и сказаниях XIII—XV вв.», основываясь на проведенном им историко-этимологическом анализе, убедительно показал, что обнаруженные в текстах памятников тюркские лексические элементы в основном представляют собой заимствования из кыпчакского языка населения Золотой Орды. Докладчик подробно остановился на вопросах ассимиляции древнерусским языком тюркизмов в различных сферах — фонетико-морфологической и синтаксико-лексической.

Некоторым общим и частным вопросам историко-этимологического изучения тюркских лексических элементов в белорусском языке посвящен был доклад А. К. Антоновича (Вильнюс) «К вопросу о татаризмах, проникших в белорусский язык из татарско-мусульманской письменности на белорусском языке» и сообщение М. Г. Булахова (Минск) «Из истории тюркизмов в белорусском языке».

Различные аспекты историко-этимологической и ареально-функциональной характеристики тюркских лексических элементов в русском языке представлены были в докладах Г. Н. Асланова (Баку) «Тюркизмы в первых академиче-

ских словарях русского языка», В. Д. Бондалетова (Пенза) «Состав, функционирование и ареалы распространения тюркизмов в русских арг», Э. Н. Кушлиной (Душавбе) «О принципах составления словаря ареальных тюркизмов русской речи» и Д. С. Сетарова (Карпи) «Тюркизмы в русских названиях хищных животных».

Сложный комплекс вопросов, связанных с многоплановым изучением проблемы восточнославянского-булгарских языковых контактов, нашел отражение в докладе И. Г. Добродомова (Москва) «О булгарских элементах украинского языка». С докладом «Тюркские лексические элементы в „Літописи“ С. Величко» выступил Г. И. Халимоненко (Москва).

Г. Ф. Благова (Москва) предприняла попытку ареального изучения семантики одновременных заимствований из различных тюркских языков в русском языке, с привлечением показаний других славянских и иносистемных языков. Характеристике различных по своей природе и направлению семантических процессов, сопутствующих переходу слов из тюркских языков в русский, посвящен был доклад К. Р. Бабаева (Бухара) «Семантические изменения тюркизмов при их заимствовании».

Состоявшийся на заседаниях Секции востоковедения обмен мнениями по проблемам, относящимся к различным, в том числе и культурно-историческим, аспектам изучения научного и литературно-критического востоковедного наследия А. Е. Крымского, был бесспорно

полезен не только для действительно широкой и многоплановой популяризации его работ, для дальнейшего углубленно-всестороннего ознакомления с истинные титанической по масштабам замыслов и осуществлению деятельностью выдающегося ученого, но и для объективно-критического осмысления целой эпохи в развитии отечественной ориенталистики конца XIX — середины XX вв., имя которой — Агафангел Ефимович Крымский.

Широко обсуждались также на заседаниях Секции востоковедения доклады и сообщения по проблемам тюркологического симпозиума, посвященного памяти академика А. Е. Крымского. Выступавшие в прениях участники сессии (В. Д. Аракин, Н. А. Баскаков, А. Е. Супрун, М. А. Рот, В. Д. Бондалетов, И. Г. Добродомов, Р. В. Болдырев и др.), рассматривая различные вопросы, связанные с многосторонней характеристикой тюрко-славянских взаимодействий, подчеркивали важность и полезность объединения усилий тюркологов и славистов Советского Союза при разработке теории и практики историко-лингвистических исследований в области глубокого и всестороннего изучения тюркских лексических элементов в восточнославянских языках. Итоги работы Секции востоковедения были подведены в заключительном слове Н. А. Баскакова.

Материалы Юбилейной научной сессии АН УССР будут опубликованы в специальных сборниках.

Р. В. Болдырев, Г. И. Никулин (Киев)

Articles: V. Z. Panfilov (Moscow). The categories of thinking and language. Formation and development of the quantity-category in language; S. A. Mironov (Moscow). F. Engels and the study of the history of the Netherlandish language; **Discussions:** M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). Labelling and cognition in the theory of grammar; V. G. Admoni (Leningrad). Classification of grammatical theories in modern linguistics; V. B. Kasevič (Leningrad). Some logical aspects of the phoneme; E. M. Mednikova (Moscow). On the lexical-morphological categories; E. A. Zemskaja (Moscow). Russian colloquial speech; **Materials and notes:** L. S. Kovtun (Leningrad). On the latent semantic changes; V. E. Ušakov (Yoškar-Ola). Old Russian accentuated language-monuments of the middle of the XIV century; **Critics and bibliography; Scientific life:** A. M. Mirzoyev, I. L., Nikolayev (Dušanbé). The development of linguistics in Tadzhikistan during 1965—1970.

SOMMAIRE

Articles: V. Z. Panfilov (Moscou). Catégories de la pensée et de la langue. Formation et développement de la catégorie de quantité dans la langue; S. A. Mironov (Moscou). F. Engels et l'étude de l'histoire de la langue néerlandaise; **Discussions:** M. I. Steblin-Kamenskij (Léningrad). Appellation et connaissance dans la théorie grammaticale; V. G. Admoni (Léningrad). Classification des théories grammaticales dans la linguistique moderne; V. B. Kasevič (Léningrad). Quelques aspects logiques de la notion de la phonème; E. M. Mednikova (Moscou). Sur les catégories lexico-morphologiques; E. A. Zemskaja (Moscou). Le langage parlé russe; **Matériaux et notices:** L. S. Kovtoun (Léningrad). Les changements sémantiques latents; V. E. Oušakov (Yoškar-Ola). Les monuments accentués vieux-russes de la moitié du XIV siècle; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** A. M. Mirzoyev, I. L. Nikolayev (Doušanbé). Le développement de la linguistique au Tadzhikistan pendant 1965—1970.

Технический редактор Н. А. Колгурина

Сдано в набор 29/VI—1971 г.	T-13093	Подписано к печати 26/VIII-1971 г.	Тираж 6800 экз.
Зак. 2566	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5,0	Уч.-изд. л. 17,1

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10